

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ГОД ИЗДАНИЯ
XI

1

~~ЯНВАРЬ~~ — ФЕВРАЛЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
МОСКВА—1962

РЕДКОЛЛЕГИЯ

О. С. Азманова, Н. А. Васяков, Е. А. Бокарев, В. В. Виноградов (главный редактор),
В. М. Жирмунский (зам. главного редактора), *А. И. Ефимов,*
Н. И. Конрад (зам. главного редактора), *М. В. Панов, Г. Д. Санжеев,*
Б. А. Серебрянников, Н. И. Толстой (и. о. отв. секретаря редакции),
А. С. Чикобава

Адрес редакции: Москва, К-31, Кузнецкий мост, 9/10. Тел. Б 8-75-55

**XXII СЪЕЗД КПСС И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ
РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЯЗЫКОВ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА**

1

В решениях XXII съезда Коммунистической партии Советского Союза намечена грандиозная программа коммунистического строительства в нашей стране. Указаны пути и направления советской науки, призванной сыграть огромную роль в хозяйственном и культурном строительстве.

«Интенсивно должна развиваться, — говорится в новой Программе партии, — исследовательская работа в области общественных наук, которые составляют научную основу руководства развитием общества. Главным в этой области является изучение и теоретическое обобщение практики коммунистического строительства, исследование основных закономерностей экономического, политического и культурного развития социализма и перерастания его в коммунизм, разработка проблем коммунистического воспитания»¹.

В программе КПСС нашла свое углубленное развитие ленинская теория нации и национальных культур, указаны конкретные пути дальнейшего развития социалистических наций: «Широкий размах коммунистического строительства и новые победы идеологии коммунизма обогащают социалистическую по содержанию, национальную по форме культуру народов СССР. Усиливается идейное единство наций и народностей, сближение их культур. Исторический опыт развития социалистических наций показывает, что национальные формы не окостеневают, а видоизменяются, совершенствуются и сближаются между собой, освобождаясь от всего устарелого, противоречащего новым условиям жизни. Развивается общая для всех советских наций интернациональная культура. Культурная сокровищница каждой нации все больше обогащается творениями, приобретающими интернациональный характер»².

В Программе партии уделено большое внимание новому этапу в развитии национальных и языковых отношений в СССР. Для советского языкознания приобретает огромную важность незамедлительное и всестороннее изучение закономерностей развития национальных языков в связи с развитием социалистических наций.

Среди вновь созданных в системе АН СССР 27 научных советов образован Научный совет и по этой проблеме, который определит конкретные способы и принципы разработки узловых проблем этого направления: закономерности взаимодействия и развития языков в социалистическом обществе; русский язык и советское общество; принципы нормализации языка и культура речи.

2

Проблема «Закономерности развития национальных языков в связи с развитием социалистических наций» предполагает всесторонний анализ

¹ «Программа Коммунистической партии Советского Союза», М., 1961, стр. 127—128.

² Там же, стр. 115.

языковых явлений нашей социалистической современности, изучение тех процессов, которые характеризуют формирование, развитие и взаимодействие современных национальных языков Советского Союза.

В нашей стране представлено свыше 130 языков. Бурное развитие СССР как социалистического государства выдвинуло целый ряд мощных факторов, обусловивших особые закономерности развития социалистических наций и их языков. С развитием социалистических наций происходит изменение и обогащение общественных функций языков, обслуживающих эти нации. Иногда процессы не совпадают, и потому разработка этой темы требует глубокого и тщательного исторического обоснования литературно-языковых явлений нашего времени, внимательного изучения исторического развития разных национальных литературных языков нашей страны. Культурное и экономическое развитие наций сопровождается сложными процессами языковых взаимоотношений и взаимодействий. Кроме того, развитие разных национальных языков не находится на одинаковом этапе, и их общественные функции постоянно изменяются в зависимости от конкретных условий. Создаются сложные взаимоотношения между литературными языками и диалектами, между бесписьменными языками и языками, имеющими письменность, между разными национальными языками и русским языком как языком межнационального общения. Русский язык имеет огромное влияние на языки народов СССР. Это влияние наблюдается в разной степени в разных языковых сферах — в области словарного состава, терминологии, синтаксиса, стилистики, речевой идиоматики и фразеологии. Подобная роль русского языка во всей ее широте детально и конкретно еще не изучена.

Необычайное разнообразие процессов, происходящих в настоящее время в языках народов Советского Союза и характеризующих общие закономерности их исторического развития, нуждается, естественно, в тщательно организованном специальном и дифференцированном изучении их и теоретических обобщениях. Советские языковеды, исходя из основных задач строительства коммунизма, должны уделять особое внимание изучению закономерностей развития языков народов СССР, обусловленных их различными общественными функциями на разных этапах развития советского государства, закономерностей взаимодействия языков советских народов в современную эпоху, которая характеризуется в большинстве случаев бурным развитием и обогащением литературных языков, а также развертыванием процессов добровольной языковой смены у бесписьменных народностей.

Важнейшая задача состоит в том, чтобы понять место и роль русского языка в общем процессе развития языков нашей страны. В конкретных исследованиях на фактическом материале следует раскрыть содержание термина «второй родной язык». Должны быть выяснены реальные исторические условия, при которых происходит разграничение общественных функций русского языка и иного национального языка или взаимодействие русского языка с языками других народов нашей страны. Ведь разные языки имеют разное культурно-общественное значение, различны и возможности вступления их в круг основных международных языков современной мировой цивилизации и культуры. Тут возникает много сложных и трудных — и научно-теоретических и чисто практических вопросов, — связанных со сложными судьбами многочисленных народов Советского Союза.

Вопросы языкового строительства в таком многонациональном государстве, как наше, составляют одну из важнейших и вместе с тем сложнейших проблем, которые необходимо разрешить в должной мере в процессе общего коммунистического строительства. Решение языковой проблемы в нашей стране осуществляется на основе прочного фундамента ленинской национальной политики, полного равноправия всех народов и языков в СССР.

За годы Советской власти около 50 национальностей получили впервые письменность на своем родном языке. На большинстве из этих языков создана своя литература. В Советском Союзе развивается более 130 наций, народностей и этнических групп, говорящих на различных языках. Встает законный вопрос: какова дальнейшая судьба этих языков, одинаковы ли перспективы их дальнейшего развития? Самый общий ответ на поставленный вопрос, пожалуй, не вызывает особых споров. Кажется весьма очевидным, что, несмотря на равноправие всех языков народов Советского Союза, сфера их дальнейшего функционирования далеко не одинакова.

Есть среди них языки с богатой литературной традицией. Это прежде всего великий русский язык, а также языки наций, составляющих союзные республики, такие, как армянский, грузинский, латышский, литовский, эстонский и др. Они выполняют весь комплекс функций литературных языков, т. е. обслуживают все сферы жизни и деятельности данных народов. Однако существуют языки, функции которых не вышли за круг локальной производственной и семейной сферы. Наряду с такими языками их носители в качестве орудия общения употребляют другие, более распространенные языки. Так, многие народности Памира (баргангцы, вахэнгцы, зебаки, ишкапимцы, рушанцы, сарыкольцы, язгулямцы и др.) в таджикском языке обрели вторую родную речь. Для большинства народностей нашей страны вторым родным языком стал русский.

Существует еще и третья группа языков, которые, с одной стороны, за годы Советской власти достигли довольно высокого уровня развития, с другой стороны, также довольно ограничены в перспективах дальнейшего расширения сферы своего употребления. Сюда относятся прежде всего языки многих наций и национальностей, входящих в Российскую федерацию, такие, как аварский, адыгейский, башкирский, ингушский, кабардинский, карачаевский, коми, кумыкский, мордовские, ногайский, осетинский, чеченский, чувашский и др. Характерным для их развития является дальнейшее обогащение и совершенствование литературных языков. Вместе с тем и для этих народов русский язык становится вторым родным языком. В результате между родным и русским языком в их устах произошло своего рода «разделение труда». При более пристальном наблюдении над их речевой практикой нетрудно заметить существование некоторых наиболее общих закономерностей в пользуетвании двумя языками.

Значительная часть государственной и общественно-политической деятельности в республиканском (областном), а нередко и районном масштабах осуществляется на русском языке. Это значит, что различного рода съезды, конференции, собрания проводятся главным образом на русском языке. На нем же чаще всего ведется официальная документация и деловая переписка. Это положение не исключает, разумеется, фактов выступлений на отдельных собраниях, а также случаев написания трудящимися заявлений и писем в различные организации на родном языке. Главная функция самих родных языков заключается в том, что они остаются основной формой национальной культуры. Это значит, что национальная художественная литература существует и развивается на национальном литературном языке. На нем же складываются народные песни и ставятся спектакли в национальных театрах, частично ведется (в начальной школе) преподавание, делопроизводство, ведутся передачи по радио и т. д. Еще более прочные позиции занимают национальные языки в быту, где также выступают в диалектах и говорах.

В оценке изложенных бесспорных фактов у специалистов-филологов, а также среди более широких интеллигентских кругов наблюдаются значительные расхождения. Существуют и крайности. Это иногда происходит оттого, что термин «второй родной язык» многие склонны воспринимать лишь как образное выражение, гиперболу и не задумываются над теми сложными языковыми процессами в самой жизни, которые породили это

явление. Значение русского языка для народов Советского Союза не ограничивается и ролью межнационального языка. Внутри многих советских наций русский язык обслуживает определенные (кстати сказать, наиболее важные) сферы деятельности общества. Н. С. Хрущев в своем докладе о Программе КПСС остановился на этом положении: «Нельзя не отметить растущее стремление нерусских народов к овладению русским языком, который стал фактически вторым родным языком для народов СССР, средством их межнационального общения, приобщения каждой нации и народности к культурным достижениям всех народов СССР и к мировой культуре. Происходящий в жизни процесс добровольного изучения русского языка имеет положительное значение для развития межнационального сотрудничества»³.

3

Изучение закономерностей развития языков в социалистическом обществе является одной из основных проблем советского языкознания. Для осуществления этой задачи очевидна необходимость тщательного и всестороннего наблюдения над изменениями в общественных функциях разных языков народов СССР и их соотношениях. В этой связи Научный совет по изучению закономерностей развития национальных языков социалистических наций, в задачу которого входит организация и координация исследовательской работы в области изучения процессов, происходящих в языках народов СССР, и общих закономерностей их развития, предлагает следующую предварительную проблематику в области исследования языков народов СССР и современного русского языка.

I

Проблемы и задачи изучения современного состояния развития и взаимодействия языков народов СССР

1. Теоретические и исторические вопросы возникновения и развития литературных языков в СССР.
2. Роль русского языка в формировании и развитии национальных литературных языков.
3. Основные вопросы взаимодействия литературного языка, общенародного разговорного языка и диалекта в социалистическом обществе.
4. Общественные функции двуязычия (и многоязычия) в условиях многонационального Советского государства.
5. Вопросы стилистической дифференциации языков народов СССР.
6. Общий лексический фонд в языках народов СССР и перспективы упорядочения и межнационального сближения научной и общественно-политической терминологии.
7. Основные вопросы унификации алфавитов и усовершенствование орфографий младописьменных языков народов СССР.
8. Принципы составления сопоставительной грамматики русского и национальных языков.
9. Принципы составления стилистик национальных языков.
10. Принципы составления разных типов толковых словарей.
11. Актуальные вопросы культуры речи.
12. Процессы смешения диалектов.
13. Изучение взаимодействия языков в смешанных населенных пунктах.

В связи с перечисленными проблемами Научный совет по изучению закономерностей развития национальных языков социалистических наций предложил предварительную анкету-вопросник, которую предполагается распространить среди специалистов-языковедов, педагогов и в широких кругах советской интеллигенции.

³ Н. С. Хрущев, О Программе Коммунистической партии Советского Союза, М., 1961, стр. 90.

1. Распространено ли двуязычие или многоязычие в вашей республике (в городах, сельских местностях и т. п.)? Каков характер этого двуязычия (многоязычия)? Все ли в одинаковой степени владеют русским языком, есть ли районы, где русским языком владеют слабо или почти совсем не владеют?

2. Какие важнейшие мероприятия в области языковой политики в вашей республике вы считаете необходимым осуществить в первую очередь?

3. В какой мере и какие диалектные особенности исчезают под влиянием литературного языка? Что из диалектных особенностей проникает в систему литературного языка?

4. В каких областях общественной жизни употребляется родной литературный язык и не ограничено ли его функционирование в каких-либо сферах употреблением русского (или другого) языка?

5. Ведется ли в вашей республике научно-исследовательская работа в области изучения взаимоотношений между русским и родным национальным языками? Если такая работа в настоящее время не ведется, то какие имеются возможности для ее организации?

6. Наблюдается ли взаимовлияние между разными литературными языками, употребляемыми в вашей республике?

7. Какое количество языков в вашей республике, не имеющих письменности, и какие это языки?

8. Какие функции выполняют сейчас языки, не имеющие письменности? Остаются ли они на положении чисто бытовых разговорных языков? Подвергаются ли влиянию русского (или какого-нибудь другого) языка, употребляемого в данной республике в качестве литературного языка?

9. Какими способами создается терминология в литературном национальном языке вашей республики?

10. Каковы перспективы и возможности объединения близкородственных литературных языков?

11. Какие конкретные мероприятия считаете вы целесообразными для налаживания так называемой «службы информации», для регистрации новых явлений в национальном языке вашей республики? Возможно ли широкое привлечение к выполнению этой задачи местной интеллигенции?

II

Задачи и проблемы изучения современного русского языка, его развития и функций

1. Современная русская диалектология, несмотря на то, что она занимается изучением состояния современных диалектов, имеет ясно выраженный ретроспективный характер — диалекты изучаются как материал для истории языка. Между тем чрезвычайно существенным является изучение перспектив развития и дальнейшей судьбы современных русских диалектов, создание своего рода перспективной диалектологии, которая должна заниматься следующими вопросами, имеющими большое теоретическое значение для понимания процессов, происходящих в современном русском национальном языке:

1) типы неустойчивых диалектных элементов, утрата которых ведет к потере диалектом специфических черт и, следовательно, к сближению его с общим языком;

2) типы устойчивых диалектных элементов, которые по своей структурной близости к общему языку и при благоприятных общественных условиях могут войти в общий язык;

3) сравнительная интенсивность процессов диалектных изменений в различных сторонах языка: фонетической, грамматической, лексической;

4) протекание этих процессов в местностях с компактным однородным

диалектным населением, со смешанным (например, в Сибири), с перемещающимся иноязычным населением (например, в Казахстане), в соседстве с крупными культурно-промышленными центрами и в районах с местной промышленностью, обслуживаемой коренным населением;

5) роль народно-диалектной фразеологии и других выразительных средств в обогащении общего языка;

6) характер отношения языка разных жанров современного фольклора (песни, частушки, сказки и др.) к диалекту и к общему языку.

2. Изучение современного русского языка ведется обычно в плане исследования языковых структур. Между тем чрезвычайно существенным является изучение развития современного русского национального языка во всем его речевом многообразии:

1) развитие современного русского литературного языка после Великой Октябрьской социалистической революции (изменения в лексике, фразеологии, морфологии, синтаксисе и стилистике в условиях развития советского общества);

2) развитие живой русской речи в разных сферах общения (коммуникации): бытовой, общественной;

3) процессы развития живого разговорного языка: а) в старых русских городских центрах в условиях компактного однородного диалектного окружения; б) в старых городских центрах в условиях родственно-языкового окружения (например, в городах Украины и Белоруссии); в) в старых городских центрах в условиях иноязычного окружения (например, в городах Грузии, Азербайджана, Средней Азии); г) в новых городах со сложившейся традицией двух-трех поколений (например, Комсомольск-на-Амуре, Магнитогорск) и во вновь созданных (например, Братск); д) в новых массовых поселениях совхозных хозяйств (например, в Целиноградском крае);

4) современная реалистическая художественная литература как материал и источник для изучения процессов развития живой разговорной речи;

5) процессы развития русского национального языка и его стилистики, отраженные в «деловой» письменной и устной речи (газетной, публицистической, ораторской, судебной и т. п.);

6) стилистические разновидности и стилистические средства современного русского национально-литературного языка;

7) проблемы нормализации современного русского литературного языка;

8) вопросы повышения культуры речи на основе изучения закономерностей развития национального русского языка.

3. Пути образования интернационального фонда (общего и региональных) в языках народов Советского Союза; специфика развития русского словарного состава в национальных республиках Советского Союза: сравнительная употребительность различных категорий русской лексики. Типы отклонения от нормального русского словоупотребления.

4. Характер влияния родственных и неродственных русскому языку языков народов Советского Союза на русский общенародный язык; взаимоотношения между говорами (диалектами) русского языка и местными национальными языками в Советском Союзе (например, между русскими диалектами и башкирским, карельским, татарским языками и языками народов Севера и т. п.).

*

Естественно, что для обобщения процессов, происходивших и происходящих в кругу разных языков народов Советского Союза, не только важны, но и необходимы наблюдения, с одной стороны, над закономерностями развития национальных языков европейских стран народной демократии, а с другой стороны — над явлениями, связанными с формированием национальных литературных языков у народов Азии и Африки, особенно у тех, которые освобождаются от ига колониализма. И тут возникает ряд чрезвычайно интересных проблем.

III

Проблемы и задачи изучения современного состояния развития и взаимодействия языков народов Азии и Африки

1. Междialeктные региональные языки (койне) и их взаимоотношение с ведущими диалектами или говорами. Диалекты данного языка и районы их распространения. Художественная литература (фольклор) на диалектах и койне и наличие в ней установившихся норм и традиций.

2. Национальный литературный язык и роль диалекта или диалектов в его формировании. Национальный литературный язык и койне.

Соотношение национального литературного языка с диалектами и койне. Распространение норм национального литературного языка в диалектах. Обогащение национального языка за счет диалектов.

3. Классический письменный язык и его роль в формировании национального литературного языка.

4. Функции национального литературного языка (особенно его роль в литературе, театральном искусстве, в технике письма, школе, публицистике, делопроизводстве и т. д.).

5. Международные региональные языки и их роль в формировании национальных литературных языков соответствующего культурно-языкового круга.

6. Типы двуязычия среди народов Азии и Африки.

7. Многоязычие в районах проживания национальностей (китайцы в странах юго-восточной Азии, пуштуны в Пакистане, индийцы в Южно-Африканской Республике и т. д.). Взаимовлияние языков в районах многоязычия.

8. Роль языков капиталистических стран — бывших метрополий — в странах, сбросивших колониальное ярмо. Взаимоотношения западных языков (английского, французского, голландского и др.) и национальных литературных языков и распределение между ними их общественных функций (западный язык как официальный государственный).

9. Языковая политика разных стран Азии и Африки. Вопросы национальной письменности и ее реформы, работы по нормализации литературного языка, вопросы разработки терминологии, служба информации и использование в ней местной интеллигенции и т. д.

10. Бесписьменные языки и их функции как предмет исследования в советской и мировой науке.

*

В связи с историческими решениями XXII съезда КПСС и указаниями принятой на съезде Программы партии по коммунистическому строительству с особенной остротой, силой и настоятельностью требуют разрешения перечисленные выше проблемы и задачи советского языкознания.

Организованный Президиумом АН СССР в числе прочих советов по главным проблемам советской науки Научный совет по изучению закономерностей развития национальных языков в связи с развитием социалистических наций вправе ожидать от каждого советского лингвиста, от всех языковедческих учреждений Советского Союза — институтов союзных академий и филиалов АН СССР, научно-исследовательских институтов автономных республик и областей, от филологических факультетов университетов и педагогических институтов и других научных учреждений — самого активного участия в разворачивающейся работе, упорного, целеустремленного труда по намеченным проблемам.

В. И. ГРИГОРЬЕВ

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ РУССКИХ ГЛАСНЫХ
/У, Ы, И/

1. Дифференциальные признаки и статистическое распознавание

В настоящее время в работах по автоматическому распознаванию звуков речи развиваются два теоретических направления — теория статистического распознавания и теория дифференциальных признаков.

Теория статистического распознавания развилась из теории обнаружения сигнала в присутствии помех, представленной работами В. А. Котельникова, Д. Мидлтона, П. М. Вудворта и других авторов, и заимствовала из нее солидный математический аппарат. В основе статистического распознавания лежит представление о звуке речи как о смеси сигнала, передающего фонему, и помехи, причем к помехе относятся также индивидуальные особенности произношения звука данным диктором. Параметры речевого сигнала из-за присутствия помехи могут принимать различные случайные значения и характеризуют сигнал только в вероятностном смысле. Для статистического распознавания из всей совокупности параметров речевого сигнала выбираются такие параметры, которые отличаются статистически неоднородным распределением своих значений относительно фонем языка. Такие параметры называются различающими параметрами. Задача распознавания сводится при этом к тому, чтобы по заданной (наблюдаемой) комбинации значений различающих параметров $x_1, x_2, \dots, x_i, \dots, x_m$ и экспериментально установленным распределениям вероятностей их значений для каждой из фонем языка $A_1, A_2, \dots, A_k, \dots, A_n$ выбрать фонему, вероятность появления которой в этих условиях $P_{x_1, x_2, \dots, x_i, \dots, x_m}(A_k)$ будет максимальной. Экспериментальные распределения вероятностей значений различающих параметров для фонем языка могут рассматриваться как статистические эталоны фонем, и в этом случае сам процесс распознавания может быть описан как процесс сравнения входного сигнала со статистическими эталонами фонем, заложенными в память устройства¹.

Теория дифференциальных признаков подходит к задаче распознавания с иных позиций, а именно с позиций структуры языкового кода. По существу теория дифференциальных признаков является теорией построения многоэлементных кодов (т. е. кодов с большим основанием) с использованием минимального числа различающих параметров. В основе этой теории лежит классификационный принцип, согласно которому дифференциальный признак не определяет индивидуальной фонемы (элемента кода), а разбивает все множество фонем (элементов кода) на непрерывающиеся классы. Применение следующего дифференциаль-

¹ См.: Л. А. Чистович, Применение статистических методов к определению фонетической принадлежности индивидуального гласного звука, сб. «Вопросы статистики речи (материалы совещания)», Л., 1958; D. M. Green, Psycho-acoustics and detection theory, «Journ. of the Acoustical society of America» (JASA), XXXII, 10, 1960; C. P. Smith, A speech sound coder, JASA, XXVIII, 1, 1956.

ного признака дает разбиение полученных классов на подклассы, так что в результате последовательного применения всех дифференциальных признаков достигается идентификация индивидуальной фонемы (элемента кода). Теория дифференциальных признаков развивается в работах Р. Якобсона, М. Халле, Г. Фанта и других авторов².

Однако в трудах этих авторов не дается четкого определения понятия дифференциального признака. Для уяснения смысла этого понятия целесообразно обратиться к простейшим искусственным кодам. Как известно, эти коды строятся по принципу максимальной избирательности в распределении значений различающих параметров относительно элементов кода. Возьмем, например, код Морзе. Различающим параметром в этом коде является длительность элементарных посылок кода — точек и тире. При работе телеграфной аппаратуры длительности точек и тире не остаются постоянными, а колеблются в зависимости от степени износа механических деталей, от напряжения источников питания, от индивидуальных особенностей оператора и т. п. Очевидно, что в общем случае этот разброс длительностей точек и тире будет подчиняться нормальному закону распределения. Однако, если мы вычертим соответствующий график, то получим практически неперекрывающиеся кривые распределения со средним относительным значением длительности, равным единице для точек и трем для тире. Высокая избирательность в распределении значений различающих параметров гарантирует определенную помехозащищенность кода и позволяет в большинстве случаев обходиться не статистическими, а пороговыми критериями при распознавании элементов кода. В самом деле, системы телеграфной связи, как правило, работают с пороговыми критериями распознавания, и необходимость в применении статистических методов возникает лишь в случаях, когда канал связи чересчур зашумлен.

Аналогичные явления наблюдаются и в языке. Так, например, присутствие шумового источника является характерным признаком шумных фонем. Несомненно, однако, что шум присутствует и при произнесении нешумных фонем, и мы можем только говорить об избирательном распределении значений уровня шума в том и другом случае. Другим примером различающего параметра с избирательным распределением является признак основного тона, по которому фонемы языка распадаются на звонкие и глухие. Подобные факты, так же как и общая устойчивость фонем языка в условиях различного рода амплитудных и частотных искажений, заставляют предполагать, что и языковой код строится по принципу избирательного распределения значений различающих параметров относительно элементов кода — фонем языка, и, следовательно, к нему могут быть применены пороговые критерии, которые в общем-то требуют менее сложных схемных решений, чем статистические эталоны распознавания. Для применения пороговых критериев необходимо знать, какие параметры речевого сигнала обладают избирательным распределением и используются в системе языкового кода для различения фонем. В этом собственно и состоит смысл поисков так называемых инвариантных или дифференциальных признаков фонем, которые, таким образом, являются не только теоретически оправданными, но и практически необходимыми.

Итак, дифференциальным признаком называется различающий параметр с избирательным распределением значений относительно элементов

² См.: R. Jakobson, C. G. Fant, M. Halle, Preliminaries to speech analysis («Technical report», 13 [of the Acoustics laboratory of the Mass. inst. of technology], May 1952), 2-d print., [Cambridge (Mass.)], 1955; E. C. Cherry, M. Halle, R. Jakobson, Towards the logical description of languages in their phonemic aspect, «Language», XXIX, 1, 1953; M. Halle, The sound pattern of Russian, «s-Gravenhage», 1959; J. W. Forgie, C. D. Forgie, Results obtained from a vowel recognition computer program, JASA, XXXI, 11, 1959; Р. Г. Пиотровский, Еще раз о дифференциальных признаках фонемы, ВЯ, 1960, 6; В. И. Григорьев, О коде и языке, ВЯ, 1959, 6; его же [рец. на кн.:] M. Halle, The sound pattern of Russian, ВЯ, 1961, 1.

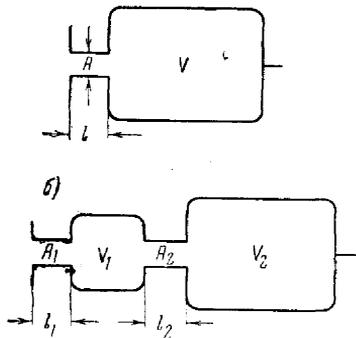
кода (фонем языка), допускающий применение пороговых критериев распознавания. Мерой избирательности может служить величина ошибки, получаемой при применении свойственных дифференциальному признаку пороговых критериев; эта ошибка должна быть достаточно малой.

В настоящее время система дифференциальных признаков фонем русского языка далеко не определена. При отсутствии достаточных сведений о дифференциальных признаках фонем большие преимущества предоставляет метод статистического распознавания, который позволяет использовать существующие корреляционные зависимости между различными параметрами речевого сигнала в целях распознавания; при этом отсутствие достаточных сведений о дифференциальных признаках компенсируется увеличением числа различающих параметров и учетом их статистического распределения относительно фонем языка. Нужно, однако, сказать, что поиски дифференциальных признаков имеют смысл и для статистического распознавания, поскольку именно дифференциальными признаками определяется тот минимум различающих параметров, которого необходимо добиваться при построении системы статистического распознавания фонем языка.

2. Три тенденции в развитии акустических исследований гласных

Исследования дифференциальных признаков гласных долгое время определялись, а во многих случаях и сейчас еще определяются двухрезонаторной моделью речевого тракта (рис. 1), согласно которой качество

гласного определяется двумя связанными резонансами передней — ротовой и задней — глоточной полости, причем каждая из указанных полостей представляется в виде резонатора Гельмгольца, несвязанная резонансная частота которого определяется объемом полости V , поперечным сечением A и длиной l горла резонатора по формуле:



$$F = \frac{c}{2\pi} \sqrt{\frac{A}{l \cdot V}},$$

Р и с. 1. Двухрезонаторная модель речевого тракта: а) единственный резонатор Гельмгольца; б) система из двух связанных резонирующих полостей

где c — скорость распространения звука. Характерные для гласных уклады речевых органов определяют параметры переднего и заднего резонаторов, а тем самым и положение резонансов на частотной шкале.

Идея эта была сформулирована еще Р. Педжетом в 1925 г.³ С развитием методов гармонического анализа осциллографических записей и применением анализаторов спектра очень рано обнаружилось наличие в спектрах гласных не двух, а нескольких резонансов или, как их стали в дальнейшем называть, формант⁴. Этот факт, однако, не привел к отказу от двухрезонаторной модели, существо которой сохраняется в положении, выдвинутом еще Д. Льюисом в 1936 г.⁵, согласно которому качество гласного определяется двумя нижними резонансами, качество голоса — верхними резонансами.

Двухрезонаторная модель, несомненно, с определенным приближе-

³ R. P a g e t, The nature of human speech, SPE («Society for pure English») tracts XXI—XXX, [Oxford], 1925.

⁴ См. А. S o v i j ä r v i, Die gehaltenen, geflüsterten und gesungenen Vokale und Nasale der finnischen Sprache, Helsinki, 1938.

⁵ D. L e w i s, Vocal resonance, JASA, VIII, 2, 1936.

нием отражала реальные языковые факты и прежде всего классическую классификацию гласных по величине и месту подъема языка, поскольку сужение, образуемое при этом между языком и верхним сводом рта, действительно делит полость рта на две части. Кроме того, как показали исследования видеограмм гласных, первые две форманты отличаются большей подвижностью, в то время как верхние форманты занимают относительно фиксированное положение и изменяются незначительно и нерегулярно при переходе от звука к звуку⁶. Наконец, важное значение для исследований дифференциальных признаков гласных имело, очевидно, не совсем обоснованное истолкование в пользу двухрезонаторной модели результатов экспериментов по синтезированию гласных техническими средствами, которыми была доказана возможность синтезирования большинства гласных при помощи одной и двух формант⁷. Вместе с тем из двухрезонаторной модели вытекал ряд следствий, которые заранее накладывали на результаты исследований серьезные ограничения.

Прежде всего, как уже указывалось, принятие двухрезонаторной модели вело к учету роли только первых двух формант в распознавании гласных. Со временем накапливались факты, свидетельствующие о недостаточности двух формант для различения гласных. Еще в 1947 г. Р. Поттер, Г. Кошп и Г. Грин, отмечая особое значение второй форманты, подчеркивали, что оно определяется ее соотношением с первой и третьей формантами⁸. Г. Петерсон в 1952 г. вводит третью форманту для различения английских гласных /i/ и /æ/. В 1953 г. Р. Миллер, работая с синтезатором на 100 гармоник, установил, что введение третьей форманты дает значительное увеличение разборчивости гласных⁹. Л. А. Варшавский и И. М. Литвак¹⁰ обнаружили невозможность качественного синтеза русской гласной /ы/ при помощи только двух формант и предположили, что эта гласная является трехформантной. В экспериментах Дж. Форджи и К. Форджи по распознаванию гласных при помощи вычислительной машины¹¹ учет верхних формант повысил эффективность программы распознавания. Эти и аналогичные им факты вызвали стремление расширить круг формант, учитываемых при анализе, распознавании и синтезе гласных, которое, в частности, проявляется также в разработке синтезаторов на 4 форманты¹² и в использовании информации от полной огибающей спектра при статистическом распознавании.

Другим важным следствием двухрезонаторной модели является тот факт, что эта модель допускает возможность настройки резонаторов на частоту, фиксированную по абсолютной шкале частот, даже при различной физиологической длине речевого тракта. Поэтому ряд исследователей, в том числе Л. Л. Мясников¹³, в своих работах исходили из предположения, что качество гласного определяется размещением формант на абсолют-

⁶ См. M. Joos, *Acoustic phonetics*, Baltimore, 1948.

⁷ См.: Б. В. Богданов, Синтез звукосочетаний при помощи стационарных по спектру отрезков, «Вопросы радиоэлектроники», Серия XI — Техника проводной связи, 3, 1960; Л. А. Варшавский, И. М. Литвак, Исследование некоторых физических характеристик и формантного состава звуков русской речи, «Научно-технич. сборник [НИИ МРТП]», 1—2 (3—4), Л., 1955; F. S. Cooper, P. C. Delattre, A. M. Liberman и др., Some experiments on the perception of synthetic speech sounds, *JASA*, XXIV, 6, 1952; R. L. Miller, Auditory tests with synthetic vowels, *JASA*, XXV, 1, 1953.

⁸ R. K. Potter, G. A. Kopp, H. C. Green, *Visible speech*, New York, 1947.

⁹ R. L. Miller, указ. соч., стр. 121.

¹⁰ Л. А. Варшавский, И. М. Литвак, указ. соч.

¹¹ J. W. Forgie, C. D. Forgie, указ. соч.

¹² См.: P. Ladefogel, D. E. Broadbent, Information conveyed by vowels, *JASA*, XXIX, 1, 1957; K. Nakata, Synthesis and perception of nasal consonants, *JASA*, XXXI, 6, 1959.

¹³ Л. Л. Мясников, Объективное распознавание звуков речи, «Журнал технической физики», XIII, 3, М.—Л., 1943; е го ж е, Звуки речи и их объективное распознавание, «Вестник ЛГУ», 1946, 3.

ной шкале частот. Однако с накоплением данных было установлено, что этот критерий имеет лишь статистическое значение и не обнаруживает характерного для элементов кода избирательного распределения значений различающего параметра¹⁴. С другой стороны, большой диапазон возможных значений основного тона, если учитывать мужские, женские, детские и певческие голоса, а также возможность перемещения спектра гласного по шкале частот путем изменения скорости воспроизведения¹⁵, и другие факты свидетельствовали об относительной независимости формантной структуры от шкалы частот и наталкивали на поиски критериев распознавания, вытекающих из соотношений внутри формантной структуры. К такому выводу приходят, например, Р. Поттер и Дж. Штейнберг, которые указывают, что для гласных характерно скорее отношение между формантными частотами, нежели их абсолютные значения¹⁶.

В рамках двухрезонаторной модели стремление использовать отношения между формантными частотами привело к введению ставшего уже классическим графика $F_2 : F_1$, который, однако, также дает значительное перекрытие характерных для различных гласных областей размещения точек на плоскости этих двух формант¹⁷. С привлечением третьей форманты соотношение $F_1 : F_2 : F_3$ в качестве критерия распознавания было предложено Оганесяном в докладе на Симпозиуме по методам спектрального анализа звуков речи (М., 1959). Из постоянства соотношений между формантными частотами исходит также М. Калфейн¹⁸, который предлагает сначала нормализовать спектр по основному тону, а затем уже строить процесс распознавания по абсолютной шкале частот. Нужно, однако, сказать, что обследованный нами материал не подтвердил возможности существования таких простых соотношений. Тем не менее сам принцип относительной оценки формантных частот, безусловно, заслуживает серьезного внимания.

Наконец, третьим важным следствием двухрезонаторной модели явилось почти полное отсутствие интереса исследователей к амплитудным характеристикам формантной структуры, которое в последнее время получило даже теоретическое обоснование в работе Г. Фанта¹⁹, доказавшего возможность построения огибающей спектра гласных только по данным о формантных частотах, правда лишь в случае, когда известны характеристики источника спектра и резонансные характеристики формант. Тем не менее в литературе имеются указания на важность амплитудных соотношений между формантами в спектре гласных²⁰. Важное значение для оценки роли амплитудных характеристик имеет также практика вокодерной техники, в которой функционалы амплитуд передаются наравне с частотными функционалами.

Таким образом, в истории развития акустических исследований гласных намечаются три важные тенденции: во-первых, тенденция расширения круга формант, учитываемых при анализе, распознавании и синтезе гласных; во-вторых, тенденция перехода от критериев распознавания по абсолютной шкале частот к выявлению частотных соотношений внутри формантной структуры, и, в-третьих, — правда, довольно слабая — тенденция к учету амплитудных характеристик формантной структуры. В

¹⁴ См.: Л. А. Варшавский, Исследование речи и характеристические параметры звуков речи, «Научно-технич. сборник [НИИ МРТП]», 3, 1957; Л. А. Варшавский, М. Ф. Деркач, Статистическое исследование характерных спектральных признаков гласных звуков русской речи, там же.

¹⁵ E. Bárány, Transposition of speech sounds, JASA, VIII, 1, 1937.

¹⁶ См. R. K. Potter, J. C. Steinberg, Toward the specification of speech, JASA, XXII, 6, 1950.

¹⁷ См. M. Joos, указ. соч.

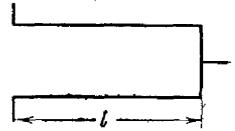
¹⁸ M. V. Kalfain, Phonetic typewriter of speech (responsive to all voices), U. S. patent № 2 921 433, 1958.

¹⁹ G. Fant, On the predictability of formant levels and spectrum envelope from formant frequencies, сб. «For Roman Jakobson», The Hague, 1956.

²⁰ См. R. L. Miller, указ. соч., стр. 421.

определенной мере все эти три тенденции нашли свое выражение в пересмотре акустической модели речевого тракта, в наметившемся в последнее время²¹ переходе от двухрезонаторной модели к модели, более соответствующей артикуляционным и спектральным данным, которая в общем виде может быть определена как однородная акустическая труба, деформированная в соответствии с тем или иным укладом артикуляционных органов речевого тракта. Однородная акустическая труба (рис. 2) имеет основной четвертьволновый резонанс и верхние резонансы, кратные нечетное число раз основному резонансу, так что

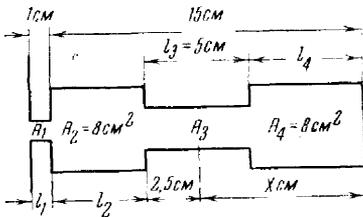
$$F_n = \frac{(2n-1) \cdot c}{4l}, \text{ где}$$



Р и с. 2. Однородная акустическая труба

F_n — частота резонанса, c — скорость звука, l — длина трубы и $n = 1, 2, 3 \dots$

Эта совокупность резонансов образует исходную формантную структуру акустической системы, близкую формантной структуре нейтрального гласного /а/. Различного рода деформация акустической трубы приводит к закономерному смещению резонансных частот и, следовательно, к образованию новых формантных структур, причем направление и величина смещения формант зависят как от характера деформации, так и от исходной формантной структуры. В наиболее простой и ясной форме модель деформируемой трубы описывается Г. Фантом²², который представляет речевой тракт в виде возбуждаемой с одного конца цилиндрической трубы, по оси которой перемещается цилиндрическая же секция меньшего сечения (рис. 3). Резонансная характеристика подобной трубы определяется тремя параметрами: 1) расстоянием средней точки сужения от конца трубы x ; 2) площадью поперечного сечения суженной цилиндрической секции A_3 и 3) эффективным выходным отверстием трубы, которое определяется величиной отношения A_1/l_1 , где A_1 — поперечное сечение выходного отверстия, а l_1 — его



Кривая	A_3	l_1
1	8	0
2	4	1
3	2	1
4	0,65	1
5	0,16	1

$A_3 = 0,65$

Р и с. 3. Трехпараметровая модель речевого тракта (по Г. Фанту)

длина по оси трубы. В книге Г. Фанта приводятся кривые изменения резонансных частот трубы в зависимости от положения суженной секции по оси трубы для различных диаметров сужения и разных величин выходного отверстия. Пример подобного преобразования формантной структуры для $A_3 = 0,65 \text{ см}^2$ и различных значений выходного отверстия приведен на рис. 4.

Модель деформируемой трубы закладывает прочное теоретическое основание для отмеченных выше тенденций в истории акустических исследований гласных. Из этой акустической модели, во-первых, непосредственно вытекает многоформантность спектров гласных. Далее, из данной акустической модели следует и относительный характер частотных характеристик формантной структуры, поскольку как положение основного резонанса, так и ширина исходной формантной структуры зависят от длины акустической трубы, которая в общем соответствует длине моделируемого речевого тракта, изменяющейся в значительных пределах от диктора к

²¹ G. F a n t, Acoustical theory of speech production («Royal Institute of technology», Report 10), Stockholm, 1958; K. N. S t e v e n s, A. S. H o u s e, Development of a quantitative description of vowel articulation, JASA, XXVII, 9, 1955.

²² G. F a n t, Acoustical theory of speech production, раздел 2.63.

диктору. Наконец, смещение формант в результате деформации приводит к нарушению баланса усиления в исходной формантной структуре и к появлению в формантной структуре составляющих с явным преобладанием. Следовательно, фактор амплитудных соотношений должен учитываться наравне с частотными характеристиками формантной структуры. Надо также отметить, что положительные результаты исследований, выполненных

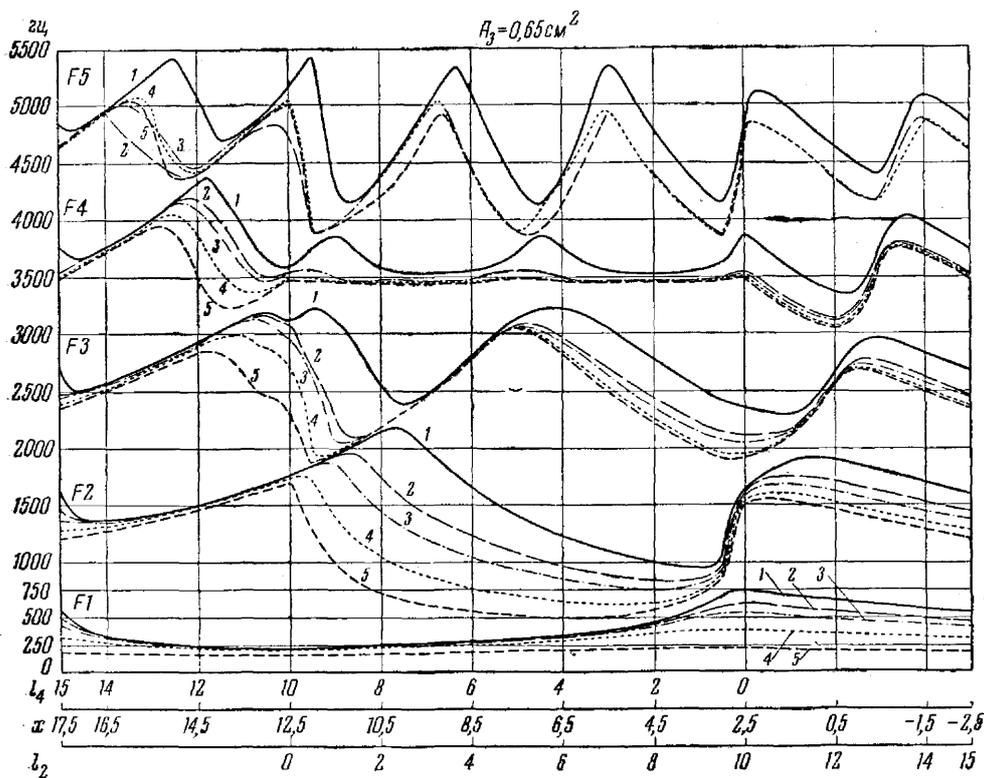


Рис. 4. Преобразование формантной структуры трехпараметровой модели речевого тракта в зависимости от перемещения суженной цилиндрической секции по продольной оси трубы (по Г. Фанту). Площадь поперечного сечения суженной секции $A_3 = 0,65 \text{ см}^2$. Кривые 1, 2, 3, 4, 5 относятся к различным значениям эффективного выходного отверстия A_1/l_1 в соответствии с данными рис. 3. l_4 — длина задней полости модели, x — координата сужения, измеряемая расстоянием от задней стенки модели до средней точки суженной секции, l_2 — длина передней полости

на основе двухрезонаторной модели, не пропадают при переходе к модели деформируемой трубы, а, как мы в дальнейшем убедимся, находят свое объяснение и в рамках новой модели в виде положения о ведущем резонаторе.

В заключение обзора необходимо остановиться на трудах представителей теории дифференциальных признаков. Впервые с понятием дифференциального признака мы встречаемся в работе Р. Якобсона, Г. Фанта и М. Халле «Preliminaries to speech analysis». В этом исследовании для различения гласных используются в основном три признака: компактность — диффузность, низкочастотность — высокочастотность (grave — acute), бемольность и ее отсутствие (flat — plain), которые определяются следующим образом.

1. Компактные фонемы характеризуются относительным преобладанием центрально расположенной формантной области или форманты, диффузные — преобладанием одной или нескольких нецентральных областей. По этому признаку наиболее компактным является гласный /a/,

наиболее диффузными — гласные /у/ и /и/. Гласные /о/ и /е/ занимают среднее по компактности — диффузности положение. В основном этот признак выявляется в положении первой форманты: чем она выше, т. е. чем ближе к третьей и более высоким формантам, тем компактнее звук.

2. Если преобладает нижняя часть спектра, то фонема — низкочастотная, если же верхняя, то фонема — высокочастотная. Этот признак устанавливает различия между /у/ и /и/, /о/ и /е/. Определяющим критерием этого признака является положение второй форманты: если F_2 близка к F_1 , то фонема низкочастотная, если F_2 близка к F_3 и верхним формантам, то фонема высокочастотная.

3. Бемольность связывается с понижением ряда или даже всех формант вследствие лабиализации.

Таким образом, определения названных дифференциальных признаков во «Введении в анализ речи» отличаются учетом полной формантной структуры, относительным характером, но вместе с тем и полной неопределенностью. В дальнейшем в работах, специально посвященных русскому языку, Г. Фант и М. Халле²³ фактически пренебрегают этими определениями и в своих формулировках учитывают только положение первых двух формант на абсолютной шкале частот, хотя сам Г. Фант отмечает, что использование только двух первых формант не может дать трех независимых дифференциальных признаков²⁴. Г. Фант связывает возрастающую компактность с повышением F_1 , уменьшающуюся низкочастотность — с повышением F_2 (или $F_{2\text{эфф.}}$) и уменьшающуюся бемольность — с возрастанием суммы $F_1 + F_2$ (или $F_1 + F_{2\text{эфф.}}$), допуская, однако, возможность и иного определения признаков и, в частности, выдвигая в качестве возможных различающих параметров разность и сумму первых двух формант: $F_2 - F_1$ и $F_2 + F_1$. М. Халле использует для различения русских гласных только первые два параметра (разбивая признак компактный — диффузный на два самостоятельных, но зато бинарных, признака: компактный — некомпактный, диффузный — недиффузный) и относит фонему к диффузным /у, и/, если $F_1 \leq 350$ гц (450 гц для женских голосов), к компактным /а/, если $F_1 > 650$ гц (750 гц для женских голосов) и к низкочастотным /у, о/, если $F_2 < 1300$ гц (1400 гц для женских голосов). Таким образом, в части, касающейся дифференциальных признаков русских гласных, в работах этих исследователей наблюдаются тенденции в некотором смысле обратные тем общим тенденциям в истории акустических исследований гласных, которые были отмечены выше.

3. О критериях выделения группы русских гласных /у, ы, и/

В артикуляционном плане русские гласные различаются по величине подъема языка, по ряду и по наличию или отсутствию лабиализации (огубления). По величине подъема различаются гласные верхнего, среднего и нижнего подъема. Величиной подъема языка в общем определяется поперечное сечение полости рта в месте сужения, образуемого приподнятой частью языка и верхним сводом. Все три гласные исследуемой группы относятся к гласным верхнего подъема и противостоят по этому признаку гласным среднего подъема /о/ и /е/ и гласной нижнего подъема /а/. Рядом определяется положение места сужения вдоль продольной оси речевого тракта. К гласным переднего ряда относятся /и/ и /е/, к гласным среднего ряда /ы/ и /а/ и к гласным заднего ряда /у/ и /о/.

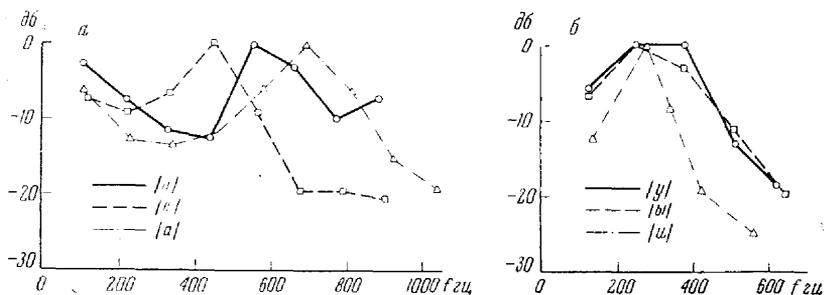
Таким образом, рассматриваемые гласные отличаются от остальных гласных верхним подъемом языка и различаются между собой по признаку ряда. Кроме того, гласный /у/ (а также /о/) отличается наличием лабиализации (огубления). Однако, как показывает анализ трехпараметровой

²³ См.: G. Fant, Acoustical theory of speech production; M. Halle, The sound pattern of Russian.

²⁴ К такому же выводу приходит и Р. Г. Пиотровский (см. указ. соч.).

модели речевого тракта, с точки зрения формирования спектра гласного лабиализация действует в том же направлении, что и смещение места сужения в направлении к гортани. В принципе /y/ может быть произнесено и без лабиализации при более заднем положении языка. Однако последняя артикуляция является необычной и несколько затруднительной.

В акустических исследованиях эта группа русских гласных определяется более низким по сравнению с остальными гласными положением первой форманты. В названных трудах Л. А. Варшавского, И. М. Литвака, М. Ф. Деркача и в работе Н. П. Просвирякова²⁵ область положения первой форманты для всех трех гласных определяется в пределах 200—400 гц. М. Халле относит эти гласные к диффузным, устанавливая



Р и с. 5. Типичные огибающие измеренных спектров в области первой форманты для шести русских гласных, произнесенных мужским голосом.

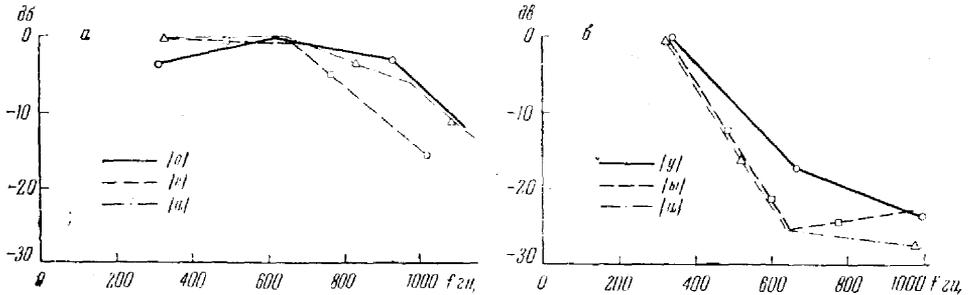
верхний предел для F_1 , равный 350 гц для мужских и 450 гц для женских голосов. Как уже указывалось выше, подобные критерии имеют лишь ограниченную статистическую значимость и не обнаруживают достаточной избирательности в распределении значений различающего параметра. Ясно, например, что при основном тоне выше 400 гц первая форманта F_1 не может оказаться в области 200—400 гц, которая выдвигается в качестве критерия распознавания.

Для уяснения роли первой форманты в распознавании русских гласных автором было проведено исследование спектров гласных в области первой форманты. Анализ спектров шести русских гласных в области первой форманты для 10 мужских, 10 женских и 2 певческих (мужского и женского) голосов позволил установить для первой форманты F_1 признаки, которые остаются инвариантными с увеличением частоты основного тона F_0 и могут служить критерием распознавания группы гласных /y, ы, и/. А именно, при увеличении частоты основного тона первая форманта гласных /y, ы, и/, значительно перемещаясь по шкале частот, неизменно сохраняет положение на нижнем краю спектра, определяемом частотой основного тона. При низком основном тоне форманта имеет полную форму, и ее нижнее крайнее положение выявляется в том, что основной тон непосредственно вписывается в огибающую форманты [рис. 5(б)]. При высоком основном тоне форманта усекается и ее положение на нижнем краю спектра выражается в резком спаде огибающей, начиная от уровня основного тона [рис. 6(б)].

Первая форманта гласных /o, a, e/ при повышении основного тона неизменно занимает положение, смещенное вверх по отношению к нижнему краю спектра. Это некрайнее положение первой форманты при низком основном тоне выражается в перепаде огибающей между основным тоном и максимумом форманты [рис. 5(а)], а при высоком основном тоне — в почти горизонтальном ходе огибающей спектра в полосе частот, значительно превышающей возможную ширину первой форманты [рис. 6(а)].

²⁵ Н. П. П р о с в и р я к о в, Опыт построения устройства для автоматического различения звуков речи, «Научно-технич. сборник [НИИ МРТН]», 3, 1957.

На основании этих фактов была выдвинута гипотеза, что положение первой форманты относительно нижнего края спектра является дифференциальным признаком, действующим в системе русских гласных. По этому признаку русские гласные распадаются на две группы. В первую группу входят гласные /у, ы, и/, у которых первая форманта занимает нижний край спектра, определяемый основным тоном. Эти гласные могут быть названы гласными нижнего края или просто крайними гласными. Во вторую группу входят гласные /о, а, е/, первая форманта которых смещена вверх по отношению к нижнему краю спектра. Эти гласные могут быть названы некрайними гласными.



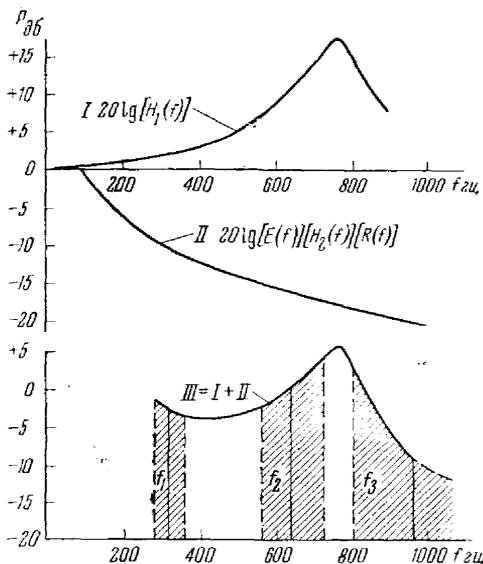
Р и с. 6. Типичные огибающие измеренных спектров в области первой форманты для шести русских гласных, произнесенных женским голосом.

В своем чистом виде признак крайнего и некрайнего положения первой форманты в полученных спектрограммах выявляется при низких частотах основного тона, когда имеет место достаточно плотное заполнение спектра гармониками основного тона, обеспечивающее хорошее описание резонансной характеристики первой форманты. При высоком основном тоне, когда составляющие спектра далеко отстоят друг от друга, резонансная характеристика первой форманты в статических спектрах, записанных при помощи спектрографа, описывается всего лишь двумя-тремя точками. В этом случае огибающая измеренного спектра приобретает сглаженную форму и может возникнуть неоднозначность в определении положения первой форманты относительно нижнего края спектра. Для разрешения этой неопределенности необходимо восстановить истинную огибающую спектра, которая бы хорошо описывала резонансную характеристику первой форманты. Это, очевидно, можно сделать, если будет задана ширина полосы первой форманты, влияние верхних формант и характеристики источника и излучения, найдена средняя частота форманты, определяемая максимумом ее резонансной характеристики, после чего будет восстановлена огибающая спектра в области первой форманты по известным формулам, которые, в частности, приводятся в книге Г. Фанта «Acoustical theory of speech production». В ходе исследования был выполнен расчет истинной огибающей спектра для звука /е/, произнесенного женским голосом с основным тоном 320 гц. Как это видно на графике рис. 7, в результате расчета явным образом обнаруживается некрайнее положение первой форманты для этой спектрограммы, тогда как по сглаженной огибающей судить о положении первой форманты было бы трудно.

Естественно, что подобный расчет имеет смысл лишь для статических спектров. В реальной речи в течение длительности звука положение составляющих спектра не остается постоянным, а колеблется в широких пределах в такт изменениям частоты основного тона. Поэтому в динамике речи резонансная характеристика первой форманты, а следовательно, и положение ее относительно края спектра обнаруживаются непосредственно. Можно полагать, что большая динамичность спектра высоких женских

голосов служит своеобразным средством компенсации потерь информации о форме огибающей, обусловленных недостаточно плотным заполнением спектра.

Очевидно, что признак положения первой форманты относительно нижнего края спектра обладает некоторыми преимуществами. Он, во-первых,



Р и с. 7. Восстановление истинной огибающей в области первой форманты для звука /e/ по первым трем составляющим $f_1 = 320$ гц, $f_2 = 640$ гц и $f_3 = 960$ гц

- I. Резонансная характеристика первой форманты $F_1 = 765$ гц, $B_1 = 100$ гц
- II. Суммарная характеристика источника спектра и излучения плюс влияние второй форманты $F_2 = 2000$ гц, $B_2 = 100$ гц
- III. Восстановленная огибающая спектра.

нее в диапазоне до 2000 гц. Такой подход представляется закономерным. Он оправдывается большой ролью первой форманты в распознавании гласных, на которую указывали многие исследователи. Тем не менее учет только первой форманты, естественно, накладывает определенные ограничения на результаты анализа. Ясно, что положение первой форманты не только определяет форму огибающей между основным тоном и максимумом форманты, но и существенным образом влияет на всю формантную структуру гласного. В частности, смещение форманты вниз на одну октаву приводит к понижению уровня верхних формант в среднем на 12 дб. Поэтому можно полагать, что гласные с крайним нижним положением первой форманты должны в общем иметь более низкие уровни верхних формант, чем гласные с некрайним положением первой форманты.

Другим следствием положения первой форманты является относительное расстояние между первой формантой и третьей и четвертой формантами. Это следствие представляется важным, поскольку, как известно из литературных данных и как показало обследование спектров русских гласных, снятых при помощи динамического спектрографа, для данного диктора третья и особенно четвертая форманта занимает достаточно постоянное положение на частотной шкале; поэтому изменение положения первой форманты должно соответственно выражаться в изменении относительного расстояния между первой и этими верхними формантами.

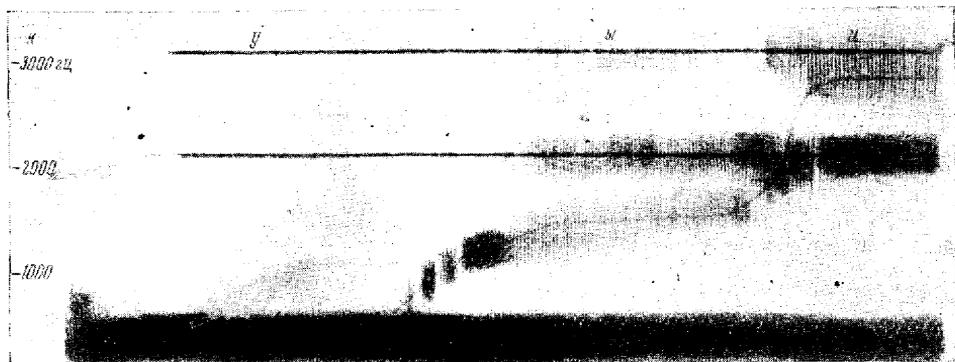
имеет относительный характер и не связан с абсолютной частотной шкалой. Вместе с тем его использование избавляет от неопределенности, присущей определениям типа: первая форманта ниже для таких-то гласных и выше для таких-то гласных. В общем виде некрайнее положение первой форманты определяется наличием минимума функции огибающей $P(f)$ в интервале между основным тоном и максимумом форманты $F_0 < f < F_1$, когда первая производная функции $P'(f) = 0$, а вторая производная $P''(f) > 0$. При неудовлетворении этого условия положение первой форманты определяется как крайнее. Для практических целей, естественно, должны быть установлены допуски на отклонения огибающей от расчетной формы, учитывающие возможные неравномерности в характеристике источника спектра и в частотной характеристике речевого тракта.

Признак положения первой форманты относительно нижнего края спектра был установлен на основе анализа спектров гласных в области первой форманты, точ-

Таким образом, вопрос о критериях выделения группы гласных /у, ы, и/ требует дополнительного рассмотрения с учетом полной формантной структуры. Для целей настоящего исследования, однако, можно пока ограничиться следующей общей формулировкой: дифференциальным признаком группы русских гласных /у, ы, и/ является крайнее нижнее положение первой форманты. В такой общей формулировке этот дифференциальный признак будет, очевидно, охватывать все известные, в том числе и статистические критерии распознавания гласных исследуемой группы.

4. Динамика спектра в последовательности /у → ы → и/

Исследование группы гласных /у, ы, и/ производилось на динамическом спектрографе в диапазоне 4 кгц и 8 кгц. Для выявления характера преобразований формантной структуры при переходе от гласного к гласному



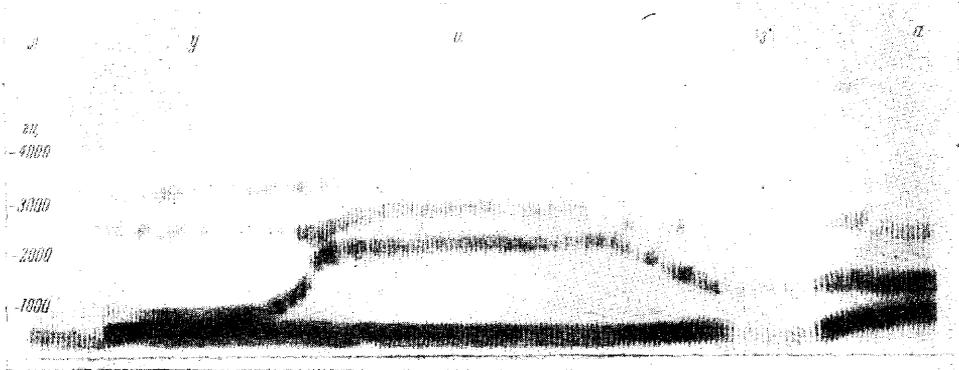
Р и с. 8. Видеограмма сочетания *куыи*.

были произведены записи видеограмм слов, содержащих последовательности гласных, типа *Луиза, фиалка, сюита* и бессмысленных сочетаний типа *куыи, шыула* и др. Для более детального анализа спектров были произведены записи спектрограмм исследуемых гласных в словах: *пики, тыква, тупо, мил, мыл, мул, крик, рык, рук* в общей сложности для 10 мужских и 10 женских голосов. При анализе записей в основном учитывались амплитудные и частотные характеристики первых четырех формант. Это ограничение с чисто практической точки зрения определялось характеристиками и, в частности, динамическим диапазоном используемого прибора, а в теоретическом плане — указанием Г. Фанта на то, что ложные связки и шунтирующие полости в области гортани действуют как фильтр низкой частоты с частотой среза порядка 5000 гц²⁶.

Для спектров последовательностей русских гласных /у, ы, и/ характерны соотношения, наблюдаемые на типичной видеограмме бессмысленного сочетания *куыи*, приведенной на рис. 8. Эти соотношения могут быть описаны следующим образом: для данного диктора и регистра голоса первая форманта F_1 и четвертая форманта F_4 занимают в спектре последовательности /у → ы → и/ практически фиксированное положение на шкале частот. В последовательности /у → ы/ третья форманта F_3 также занимает достаточно устойчивое положение. Прямым продолжением этой третьей форманты является вторая форманта F_2 гласной /и/. Указанные форманты в спектре последовательности /у → ы → и/ образуют три статичные формантные линии, занимающие на видеограмме почти горизонтальное положение. На видеограмме рис. 8 ввиду малых уровней F_3 и F_4 на участке /у/ не проработались, однако снятые для этого звука спектрограммы подтвержда-

²⁶ G. Fant, Acoustical theory of speech production, стр. 187.

ют постоянство указанных формантных линий и на участке /у/. Следует также оговориться, что видеограмма рис. 8 была снята в условиях, когда диктору была дана специальная инструкция выдерживать основной тон по возможности постоянным. При отсутствии такого ограничения статичные формантные линии могут смещаться при переходе от гласного к гласному, тем не менее общие соотношения, как это видно из видеограммы для слова *Луиза*, приведенной на рис. 9, сохраняются. Мы пока отвлечемся от подобных возможных смещений статичных формантных линий и рассмотрим более подробно случай, приведенный на рис. 8, который не только является типичным, но и проливает свет на характер преобразования формантной структуры в последовательности гласных /у → ы → и/.



Р и с. 9. Видеограмма слова *Луиза*.

Нужно сказать, что статичность формантных линий F_1 и F_4 для исследуемых гласных так или иначе отмечалась в литературе. Выше мы уже ссылались на работы Л. А. Варшавского и других авторов, в которых определяется одна и та же полоса размещения первой форманты для всех трех гласных /у, ы, и/. Многие авторы отмечают, что F_4 для всех гласных, произнесенных одним диктором, занимает фиксированное положение на шкале частот, хотя значительно изменяется от диктора к диктору, а также при переходе на другой регистр голоса. В четырехформантных синтезаторах F_4 , как правило, делается неподвижной. В ряде работ отмечается также относительная неподвижность F_3 для большинства гласных. На возможность совпадения F_3 с F_2 гласной /и/ не обращалось внимания. Единственное указание на этот факт мы находим в работе В. С. Соколовой²⁷, которая отмечает, что третья форманта французских гласных /e/ и /a/ совпадает со второй формантой гласной /i/. Однако в эксперименте Г. Фанта F_3 для гласного /у/ равна 2500 гц, для гласного /ы/ — 2230 гц²⁸. Эти значения весьма близки к частоте F_2 гласной /и/, которая равна 2250 гц ($F_3 = 3200$ гц). Интересно также отметить, что в синтезаторе Кацуо Наката $F_3 = 2500$ гц и постоянна для всех гласных, кроме /и/, для которой $F_3 = 3000$ гц²⁹. Однако оптимальное значение F_2 для /и/ оказалось равным 2290 гц, т. е. всего на 8% ниже F_3 для остальных гласных.

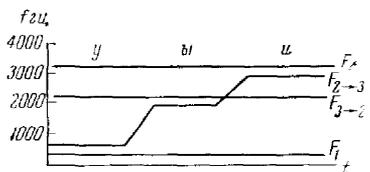
Поскольку F_1 , F_3 с продолжением в виде F_2 и F_4 имеют статичный характер и практически не изменяют своего положения при переходе от гласного к гласному в последовательности /у → ы → и/, частоты этих формант, естественно, не могут служить различающим параметром для данной

²⁷ В. С. Соколова, Спектральный анализ французских гласных фонем /i-e-a-o-u/ в различных фонетических позициях, «Уч. зап. [1-го МГПИИЯ]», XX. Экспериментальная фонетика и психология речи, 1960.

²⁸ G. Fant, Acoustical theory of speech production, стр. 190.

²⁹ K. Nakata, Synthesis and perception of nasal consonants, стр. 664.

группы гласных. В последовательности /у → ы/ динамичной является F_2 , которая на участке /у/ расположена близко к F_1 и может совмещаться с ней, а при переходе к /ы/ перемещается к F_3 и во многих случаях может также сливаться с этой формантой. В последовательности /ы → и/ такой же динамичностью отличается F_3 , которая при переходе к /и/ смещается вверх к F_4 и во многих случаях объединяется с последней, причем движение третьей форманты при переходе к /и/ образует естественное продолжение движения второй форманты на предыдущих участках спектра. Таким образом, если F_1, F_3 с продолжением в виде F_2 гласной /и/ и F_4 составляют статику спектра рассматриваемой последовательности гласных /у → ы → и/, то F_2 с продолжением в виде F_3 гласной /и/ образует единую линию динамики спектра и, следовательно, несет функциональную различающую нагрузку. Схематически размещение формантных линий в последовательности /у → ы → и/ изображено на рис. 10.



Р и с. 10. Схема преобразований формантной структуры в последовательности гласных /у → ы → и/.

Непрерывность формантной линии F_3 с продолжением в виде F_2 гласной /и/ и линии F_2 с продолжением в виде F_3 гласной /и/ может быть объяснена из рассмотрения закономерностей преобразования формантной структуры трехпараметровой модели, изображенной на рис. 3. Как указывалось выше, в артикуляционном плане рассматриваемые гласные различаются положением места сужения между языком и верхним сводом рта, которое в последовательности /у → ы → и/ перемещается из заднего в переднее положение. В трехпараметровой модели этот процесс моделируется перемещением суженной секции по продольной оси трубы из правого в левое положение. Как это видно из графика (рис. 4), в интересующем нас интервале значений координаты сужения ($4,5 < x < 14,5$) при перемещении суженной секции справа налево положение F_1 и F_4 остается практически постоянным, если не принимать во внимание кривую 1, действительную только для случая отсутствия выходной секции, имитирующей губы.

Движение F_2 от правого минимального положения до максимума определяется передней полостью модели, которая, таким образом, является ведущей полостью второй форманты на данном участке. В этом же интервале ведущей полостью F_3 , начиная от максимума, является задняя полость модели. При перемещении суженной секции из заднего в переднее положение перераспределяются объемы полостей модели, причем объем передней полости уменьшается, а объем задней пропорционально возрастает. Вследствие этого ведомые данными полостями резонансы движутся навстречу друг другу и максимально сближаются в точке, в которой несвязанные резонансы полостей совпадают. При дальнейшем продвижении суженной секции происходит смена ведущих резонаторов F_2 и F_3 , а именно, ведомой формантой передней полости становится F_3 , а ведомой формантой задней полости — F_2 . Таким образом (как это вытекает из рассмотренной модели), в спектре последовательности гласных /у → ы → и/ линия F_2 с продолжением в виде F_3 гласной /и/ является линией резонанса, ведомого передней полостью, которую мы для краткости будем называть линией переднего резонанса. Линия F_3 с продолжением в виде F_2 гласной /и/ в основном является линией резонанса, ведомого задней полостью, или линией заднего резонанса.

При сопоставлении измеренных спектров с акустической моделью следует иметь в виду, что в отличие от модели при произнесении последовательности /у → ы → и/ происходит не просто перераспределение объемов переднего и заднего резонаторов, но и возникают не связанные изменения объемов резонаторов за счет дополнительных артикуляционных факто-

ров. Так, например, при переходе от /ы/ к /и/, по артикуляционным данным, приведенным в книге Г. Фанта «Acoustical theory of speech production», объем задней полости практически не изменяется и для /ы/ равен 72 см^3 , для /и/ — 73 см^3 . В то же время объем передней полости, который для /ы/ равен 27 см^3 , за счет только подъема передней части языка уменьшается до 6 см^3 . При переходе от /ы/ к /у/ изменение объемов полостей также является непропорциональным, в частности, непропорционально уменьшается объем задней полости. Эти дополнительные артикуляционные факторы должны оказывать стабилизирующее влияние на линию заднего резонанса, которая в модели претерпевает значительные смещения.

Итак, наблюдаемые в спектрах последовательности /у → ы → и/ соотношения можно кратко сформулировать следующим образом: F_1 , F_3 с продолжением в виде F_2 гласной /и/ и F_4 составляют статичную структуру спектра и задают своеобразную масштабную сетку — три масштабные линии — для различающего параметра — линии переднего резонанса, образуемой F_2 и продолжающей ее движение F_3 при переходе к гласной /и/. Размещение масштабных формантных линий не связано с абсолютной частотной шкалой, а является в определенных пределах произвольным и зависит от длины надставной трубы и других особенностей речевого тракта диктора, так же как от частоты основного тона. Качество гласного определяется положением линии резонанса, ведомого передней полостью, относительно масштабных формантных линий. Сближение этой динамической линии с первой (нижней) масштабной линией F_1 дает формантную структуру гласной /у/. При сближении линии переднего резонанса со второй (средней) и с третьей (верхней) масштабными формантными линиями мы получаем, соответственно, формантную структуру гласных /ы/ и /и/ (рис. 10).

Конечно, формулировки типа «линия переднего резонанса ближе к первой форманте» и т. п. страдают большой неопределенностью, которая требует своего разрешения. Эта неопределенность была бы снята, если бы удалось установить хотя бы относительные пределы расстояний линии переднего резонанса от масштабных формантных линий. При анализе записанных спектров обнаруживается значительный разброс в величинах этих расстояний. Динамичная форманта во многих случаях совмещается с масштабной формантной линией и образует с ней единую область усиления. В других же случаях расстояние между ними составляет сотни герц. Поэтому из анализа видеограмм мы можем сделать только лишь неопределенное заключение, что в спектре /у/ линия переднего резонанса сближается с нижней масштабной линией и каким-то образом выделяет или отмечает ее. В спектрах /ы/ и /и/, соответственно, отмечаются средняя и верхняя масштабные линии. Очевидно, что физический смысл такого выделения состоит в усилении области спектра, занимаемой масштабной формантой, поскольку при сближении формант они взаимно усиливают друг друга и при их совмещении коэффициенты усиления соответственно перемножаются. Следовательно, для разрешения неопределенности, вытекающей из анализа видеограмм, которые дают нам только информацию о положении формант на частотной шкале, необходимо обратиться к амплитудным соотношениям внутри формантной структуры и для начала рассмотреть закономерности распределения усиления в формантной структуре принятой нами акустической модели.

5. Наклон формантной структуры и величина преобладания

Как уже говорилось выше, частотная характеристика однородной акустической трубы характеризуется равномерным распределением резонансов по оси частот. В идеализированном случае, когда все форманты

такой исходной структуры имеют одинаковую ширину полосы, усиление в акустической системе распределено равномерно по формантным областям, как это показано на рис. 11 (а). Такую структуру мы будем называть сбалансированной относительно усиления. В результате деформации акустической трубы исходная формантная структура претерпевает закономерные преобразования. Рассмотрим простейший случай такого преобразования, когда все форманты, за исключением второй, остаются неподвижными, а вторая форманта смещается вниз по направлению к первой форманте и в результате занимает положение, изображенное на рис. 11 (б). Очевидно, что при этом баланс усиления, характерный для исходной формантной структуры, нарушается и в частотной характеристике системы появляется формантная область с преобладанием по усилению, в данном случае с нижним преобладанием.

Таким образом, в результате смещения одной из формант мы получили из сбалансированной структуры формантную структуру с нарушенным балансом усиления, которую мы будем называть структурой с преобладанием. Если спектр источника, возбуждающего акустическую модель, является равномерным, то величину преобладания можно определить, измерив уровень (или мощность) в полосе преобладания и сравнив его с уровнем (или мощностью) остальных формант. Но, как известно, спектр голосовых связок не является равномерным, а имеет спад к верхним частотам, который в среднем составляет 6 дБ на октаву. При измерении величины преобладания этот спад спектра источника можно было бы учесть путем введения соответствующим образом выбранных коэффициентов. К сожалению, однако, спад спектра голосовых связок относится к числу наиболее нерегулярных параметров речевого сигнала³⁰. Спад спектра голосовых связок изменяется в широких пределах от диктора к диктору и в речи одного диктора в зависимости от основного тона, громкости речи и других факторов. Наклон спектра резко меняется при переходе к шепотной речи и может подвергаться значительным изменениям искусственным путем при помощи соответствующих электрических схем. Это обстоятельство делает прямое измерение величины преобладания в формантной структуре практически невозможным. Нужно, следовательно, искать другие косвенные способы измерения величины преобладания.

Зададим акустической модели спектр возбуждающего источника со спадом 6 дБ на октаву. В таком случае исходная формантная структура модели примет форму, изображенную на рис. 12 а. Очевидно, что подобное преобразование не затрагивает характера распределения усиления в акустической модели. Формантная структура остается сбалансированной относительно усиления, хотя теперь уровни формант последовательно уменьшаются. Проведем на графике линию, соединяющую вершины формант, и назовем ее функцией наклона формантной структуры $\varphi(F)$, которая в первом приближении может быть представлена линейной зависимостью типа:

$$\varphi(F) = a + k \log \frac{1}{F}, \quad (1)$$

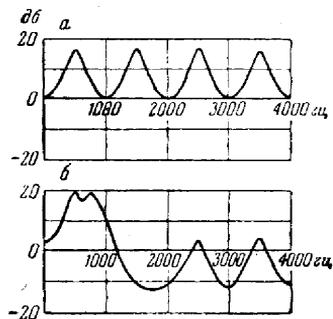
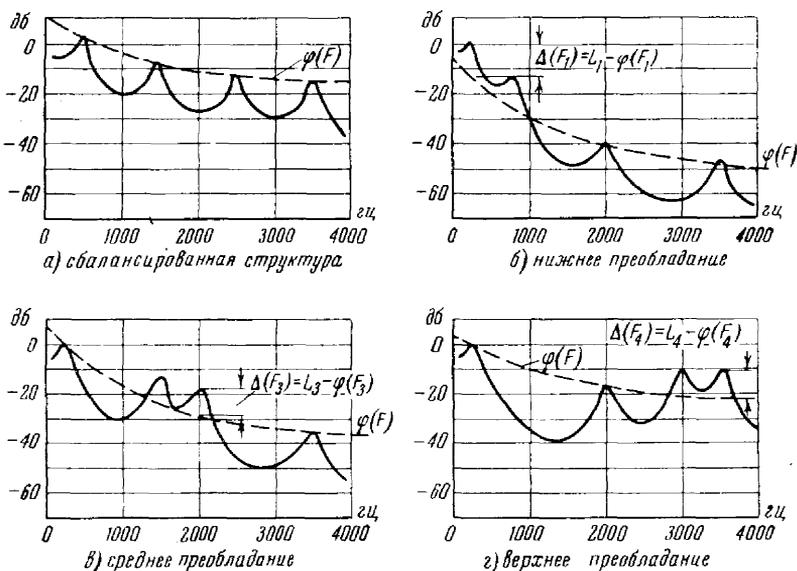


Рис. 11. Формантная структура акустической модели, возбуждаемой равномерным спектром: а) сбалансированная структура, б) структура с нижним преобладанием.

³⁰ См. R. L. Miller, Nature of the vocal cord wave, JASA, XXXI, 6, 1959.

где F — частота форманты. В идеализированном случае, когда форманты исходной структуры размещены с равными интервалами и имеют одинаковую ширину полосы, а спектр возбуждающего источника имеет равномерный спад к верхним частотам, функция наклона формантной структуры $\varphi(F)$ будет непосредственно совпадать с функцией огибающей спектра источника $E(f)$. Однако в общем случае эти функции не совпадают и $\varphi(F)$ должна рассматриваться как самостоятельная функция. Более того, можно управлять функцией $\varphi(F)$ независимо от характеристики источника спектра, например размещая форманты с пропорционально возрастающими или убывающими интервалами.



Р и с. 12. Формантная структура акустической модели, возбуждаемой спектром со спадом 6 дБ на октаву.

Возбуждая однородную акустическую трубу спектром с иным спадом или даже с подъемом к верхним частотам, мы каждый раз будем получать иную функцию наклона формантной структуры и при этом распределение усиления в акустической системе будет оставаться неизменным. Очевидно, что и перераспределение усиления в акустической системе может не затрагивать функции наклона формантной структуры в целом. Рассмотрим случай, когда F_2 смещается вниз, а F_1 , F_3 и F_4 занимают фиксированное положение, характерное для формантной структуры исследуемой группы гласных. При таком смещении доля усиления, приходящаяся на область первой форманты, возрастает, и получается структура с нижним преобладанием, изображенная на рис. 12б. Уровни верхних формант понижаются, однако отношение этих уровней в общем отражает тенденцию к наклону, характерную для исходной формантной структуры. Поэтому по уровням F_3 и F_4 можно определить функцию наклона формантной структуры $\varphi(F)$, для чего достаточно вычислить коэффициент k в выражении (1), который, очевидно, равен:

$$k = \frac{L_3 - L_4}{\log \frac{1}{F_3} - \log \frac{1}{F_4}}, \quad (2)$$

где L_3 и L_4 — уровни соответствующих формант. Полученная таким образом функция $\varphi(F)$, изображенная на рис. 12б пунктиром, и может служить

линией отсчета для измерения величины преобладания Δ_F , которая определяется разностью между уровнем в полосе преобладания $L_{пр}$ в данном случае уровнем F_1 , и значением функции $\varphi(F_{пр.})$ на частоте преобладания:

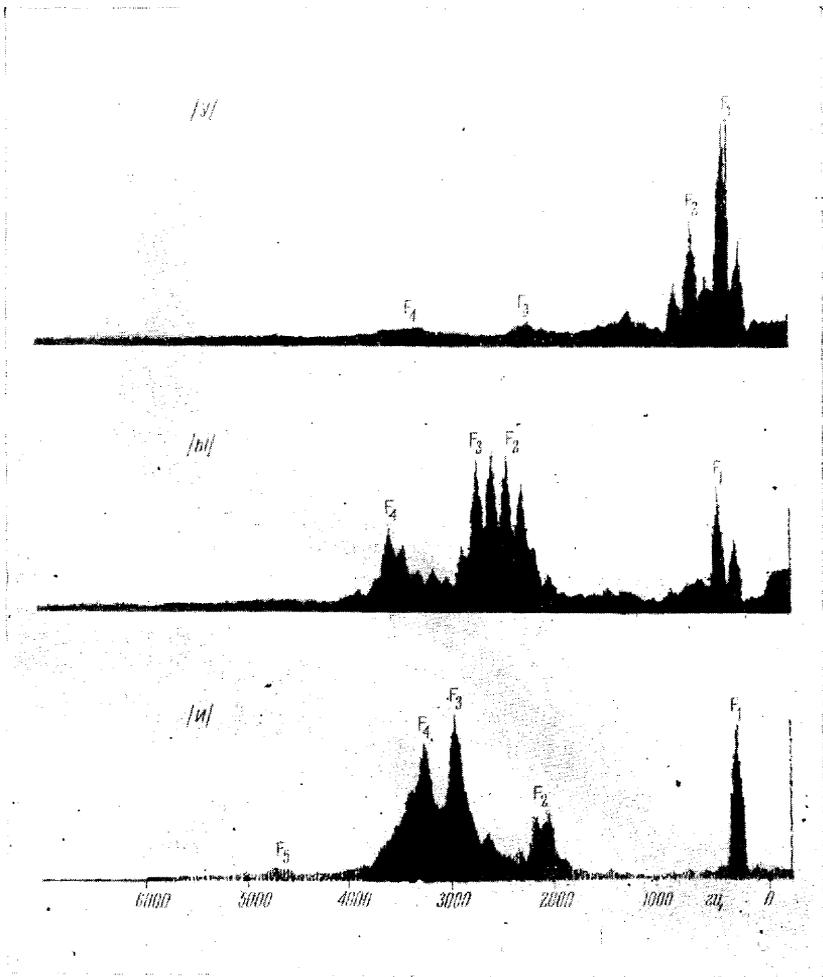
$$\Delta_F = L_{пр.} - \varphi(F_{пр.}). \quad (3)$$

Аналогичным образом при сближении второй динамичной форманты с третьей получается структура со средним преобладанием, изображенная на рис. 12в. В этом случае функция $\varphi(F)$ задается уровнями первой и четвертой форманты и величина преобладания определяется относительно значения $\varphi(F)$ на частоте преобладающей форманты F_3 . Наконец рассмотрим случай, когда F_2 при своем движении вверх по шкале частот совмещается с F_3 и остается в этом положении, а F_3 продолжает ее движение и смещается в область четвертой статичной форманты. В результате такого преобразования получается формантная структура с верхним преобладанием, изображенная на рис. 12г; величина преобладания здесь будет определяться относительно функции $\varphi(F)$, задаваемой уже уровнями первой и второй формант.

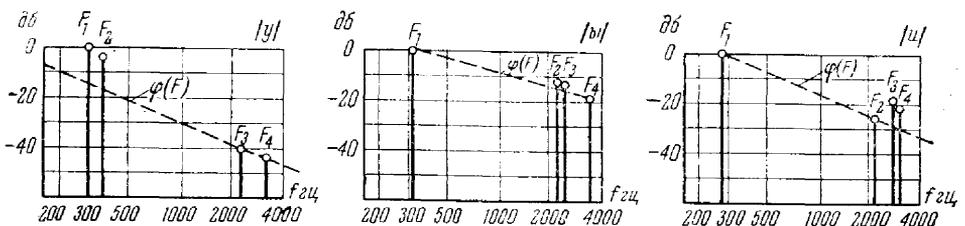
Очевидно, рассмотренные преобразования формантной структуры трехпараметровой акустической модели имеют прямое отношение к изменениям, наблюдаемым в спектре последовательности гласных /у → ы → и/. Сближение динамичной линии переднего резонанса с масштабной формантной линией, как это следует из спектрограмм рис. 13, создает в области этой масштабной форманты преобладание по уровню, величина которого измеряется относительно функции наклона формантной структуры, задаваемой уровнями неотмеченных формант. Тем самым снимается неопределенность, вытекающая из учета только частотных характеристик формантной структуры: расстояние между динамичной формантой и масштабной формантной линией должно быть таким, чтобы обеспечивалось заметное преобладание этой формантной области в описанном выше смысле. Движение по спектру линии переднего резонанса в полосе от F_1 до F_4 приводит к переходу преобладания с одной масштабной форманты на другую.

Размещение преобладания по частоте относительно масштабных формантных линий является различающим параметром в группе гласных /у, ы, и/. Как показывает обследование записанных спектрограмм, этот различающий параметр отличается достаточной степенью избирательности и может быть признан дифференциальным признаком, действующим в этой группе гласных. Дифференциальный признак преобладания имеет три значения, по которым различаются формантные структуры исследуемых гласных, а именно: нижнее преобладание для гласного /у/, среднее — для гласного /ы/ и верхнее — для гласного /и/ (см. рис. 13). Для измерения величины преобладания значения спектральных уровней формант переносились на график с логарифмической частотной шкалой. Пересечение прямой линии, проведенной по уровням неотмеченных формант, с преобладающей формантой дает на таком графике значение функции $\varphi(F)$ на частоте преобладания. Величина преобладания может быть при этом считана непосредственно по децибелльной шкале, отложенной на оси ординат. Примеры таких графиков для гласных /у, ы, и/ приведены на рис. 14. Величина преобладания в этих примерах оказалась равной для /у/ порядка 15 дб, для /ы/ — 4—5 дб и для /и/ — 10 дб. Следует сказать, что при наличии в спектре гласного пятой и более высоких формант, как, например, в спектрограмме для /и/ на рис. 13, последние могут участвовать в задании функции наклона формантной структуры, и поэтому ограничение анализа только четырьмя нижними формантами является в определенной мере искусственным.

В ряде случаев использование спектрального уровня для измерения величины преобладания является явно недостаточным. Например,



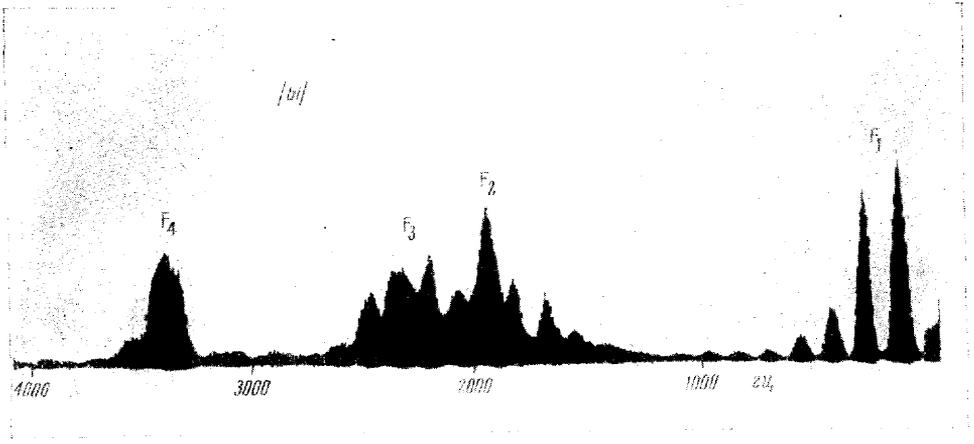
Р и с. 13. Спектрограммы гласных /у/, /ы/ и /и/, снятые при помощи динамического спектрографа. Частотная характеристика прибора имеет подъем к верхним частотам. Амплитудная характеристика с подчеркиванием больших уровней.



Р и с. 14. Примеры графиков для расчета величины γ преобладания.

в спектре гласного /ы/, приведенном на рис. 15, отсутствует заметное преобладание по спектральному уровню. Однако скопление составляющих с большим уровнем в средней части спектра должно дать характерное для /ы/ среднее преобладание по уровню суммарной мощности. Представляет интерес также определение величины преобладания по уровню громкости, т. е. с точки зрения слухового восприятия. В ходе исследования был выполнен пробный расчет спектра громкости для гласного /ы/

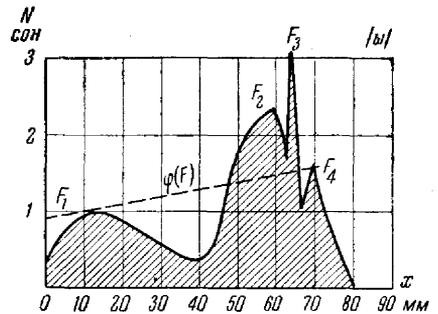
в соответствии с методикой расчета громкости сложного тона, изложенной в книге Г. Флетчера³¹. Огибающая рассчитанного спектра громкости приведена на рис. 16. Величина преобладания по спектральному уровню громкости превысила в этом случае 10 фон.



Р и с. 15. Спектрограмма гласного /у/ без выраженного преобладания по спектральному уровню.

Таки образом, функция наклона формантной структуры $\varphi(F)$ позволяет получить величину преобладания Δ_F , которая практически не зависит от характеристики источника спектра. Увеличение или уменьшение величины спада спектра голосовых связей вызывает согласованные изменения уровней всех формант, и величина преобладания Δ_F остается при этом инвариантной. Вместе с тем из выражения (3) вытекает, что преобладание является функцией двух величин — относительного уровня в полосе преобладания $L_{пр}$ и наклона формантной структуры $\varphi(F)$, т. е. $\Delta_F = g(L, \varphi)$, и, следовательно, независимые изменения как уровня $L_{пр}$, так и наклона формантной структуры $\varphi(F)$ способны в равной мере изменить величину преобладания. Относительно независимые изменения функции наклона $\varphi(F)$ можно получить, меняя расстояние между формантами, задающими $\varphi(F)$. Поэтому наблюдаемые в спектрах последовательностей /у → →ы → и/ смещения масштабных формантных линий с точки зрения дифференциального признака преобладания не только являются допустимыми, но и могут оказаться целесообразными, если они приводят к подчеркиванию величины преобладания.

В заключение следует сказать, что факты, известные из экспериментов по синтезированию гласных техническими средствами, достаточно хорошо вписываются в предлагаемое определение дифференциального признака преобладания. Выше отмечалось, что в измеренных спектрах



Р и с. 16. Огибающая спектра громкости гласного /у/, рассчитанная в соответствии с методикой расчета громкости сложного тона; x — координата точки возбуждения на мембране улитки (является функцией частоты), N — интенсивность возбуждения или громкость в фонах.

³¹ H. Fletcher, Speech and hearing in communication, Toronto — New York — London, [1953].

гласных /у, ы, и/ динамичная форманта во многих случаях совмещается с масштабной формантой и образует с ней единую область усиления, которая при соответствующем подборе уровней, естественно, может быть синтезирована при помощи только одной форманты. Поэтому трехформантный синтез гласных не представляет сколько-нибудь существенного отклонения от наблюдаемых в речи соотношений. Одноформантный синтез гласных /у, и/ по существу состоит в синтезировании области преобладания, которое в этом случае является абсолютным по уровню и высоким или низким по частоте. Невозможность одноформантного синтеза гласной /ы/ можно объяснить отсутствием критерия, по которому можно было бы определить среднее положение преобладания. Отчасти таким критерием служит расстояние между первой и второй формантами при двухформантном синтезе, при котором величина преобладания определяется относительно «обычного» среднестатистического наклона формантной структуры. Однако, судя по экспериментам Л. А. Варшавского и И. М. Литвака, и этот критерий для гласного /ы/ является недостаточным; для его качественного синтеза требуется третья форманта, которая бы определяла преобладание как среднее. С областью преобладания связаны, очевидно, и некоторые характерные тоны гласных, отмечавшиеся в ранних работах по акустической фонетике³².

³² В. А. Богородицкий, Фонетика русского языка в свете экспериментальных данных, Казань, 1930; Л. В. Щербачева, Русские гласные в качественном и количественном отношении, СПб., 1912.

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Е. КУРИЛОВИЧ

О НЕКОТОРЫХ ФИКЦИЯХ СРАВНИТЕЛЬНОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ

Для структурального подхода к языковым явлениям характерен поиск оснований этих явлений в системе данного языка без предварительного непосредственного сопоставления их с подобными фактами родственных языков, также объясняемыми внутриязыковыми соответствиями. Как известно, сравнение, например, др.- инд. *jána-* и греч. *ῥόνος* совсем не доказывает существования слова **ǵónos* уже в индоевропейском, так как это образование, продуктивное до исторической эпохи, могло возникнуть в любой момент предыстории индийского или греческого языка. Для реконструкции доисторических систем являются ценными немотивированные в историческом развитии языков факты. Ср., например, для индоевропейского исход имен среднего рода на *-r/-n-* типа др.- инд. *yákṛt*, *yaknāh*, греч. ἦκταρ, ἦκτατος, лат. *iesur*, *iesinoris*, хет. *yatar*, *yetenāš* и т. д., считающийся во всех этих языках архаизмом. Как сказал Мейе, сравнительная грамматика (индоевропейских языков) строится не на правилах, но на исключениях реально засвидетельствованных языков.

В традиционном языкознании индоевропейских языков сопоставление родственных форм долгое время предпочиталось внутриязыковому анализу. Последствия этого в некоторых случаях оказались злополучными в двойном отношении: с одной стороны, факты получали ошибочную хронологическую отнесенность, так как индоевропейскому приписывались формы, возникшие в отдельных языках; с другой стороны, до некоторой степени подменялись исследования в области отдельных языков, так как специалисты считали необходимым базироваться на предпосылках сравнительной грамматики. Больше того, поверхностное сравнение фактов родственных языков привело к созданию фиктивных фонем или прозодем и т. п. Так, например, после сравнения А. Беценбергером акцентуации литовских и греческих окончаний в индоевропейском, балто-славянском и даже германском языкознании было принято за аксиому существование в индоевропейском интонационных различий в конечных слогах. Следование этой точке зрения доводило и до противоречий. Ср., например, законы Лескина и де Соссюра о безударных акутовых слогах, т. е. о безударных с второй подударной морой¹.

Здесь будет сделано несколько замечаний о другой фикции славянской акцентологии, а именно об интонации кратких подударных гласных. Не только для общеславянского языка, но даже и для чакавского и словенского принимается различие нисходящей и восходящей интонации кратких гласных *e* и *o*. Доказательством этого считаются следующие факты: 1) непосредственно возможность существования такого различия представлена в штокавском; ср. *vǵdu* (вин. падеж ед. числа): *vǵda* (им. падеж ед. числа), как *rǵku* : *rǵka*; *ǵ* соответствует нисходящей интонации в *rǵku*, *ǵ* — восходящей в *rǵka*; 2) опосредствованно разница интонаций как будто засвидетельствована в случаях вторичного продления кратких

¹ Автор настоящей статьи уже неоднократно выступал с критикой названной традиционной доктрины и последний раз — в книге «L'accentuation des langues indo-européennes», 2-е éd., Kraków, 1958, стр. 168 и сл. и 205—212.

гласных; ср. чакав: *dvór* (род. падеж *dvorà*), *dim* (род. падеж *dima*), род. падеж *stárca* (от *stàrac*) и т. п., но *bôg*, *bôga* и т. п.

Для штокавского также древней интонацией объясняются случаи типа *bôg* (род. падеж *bôga*) с продлением гласного под древней нисходящей интонацией, но *kônj*, *kônja*, *dîm*, *dîma* с отсутствием долготы на месте древней восходящей интонации. И для русского языка принимается дифференциация подударного *о* на *о* и *ô* в зависимости от былой интонации; закрытое качество *ô* объясняется древней восходящей (новоакутовой) интонацией². Не входим здесь в трактовку украинских полногласных форм, представляющих материал мало определенный и недостаточно благонадежный³.

Начнем критику этих утверждений с пункта 1. Поскольку интонация представляет собою выдвигание одной из двух мор долгой гласной (или дифтонга типа *ei*, *er* и т. п.) за счет другой, т. е. дифференцирует моры (составные части) долгой гласной или дифтонга, говорить об интонации гласных кратких, содержащих только одну мору, нельзя. Как же в таком случае следует понимать противоположность *vôdu* : *vôda*? Различие *ô* : *ò* относится не к области интонации, но к области а к ц е н т у а ц и и, так как оно может выступать только в дву- и многосложных словах, т. е. при условии по крайней мере одного следующего слога. Фонологический контраст *ô* : *ò* не существует в формах односложных; этим он т и п о л о г и ч е с к и сходен со пиведскими или норвежскими а к ц е н т у а ц и я м и. В этих языках различие между акцентом I и акцентом II также проявляется только в более чем односложных формах.

Подлинная интонация охватывает и односложные слова с долгим гласным (или дифтонгом); ср. чакав. и словен. *grâd* : *krâlj*. Здесь интересно вспомнить, что фонологическая категория интонации сложилась (по крайней мере в балто-славянских языках) на базе акцентных различий. Если в системе противопоставлений *â* + x : *à* + x (ср. штокав. *vôdu* : *vôda*), *â* + x : *á* + x (ср. штокав. *rûku* : *rûka*) исчезнет разница между *â* + x и *à* + x (такое положение наблюдается в разных сербскохорватских говорах⁴) и останется лишь противопоставление долгих гласных (*â* + x : *á* + x), категория акцентуации перейдет в категорию интонации. Этим названные говоры отличаются в структурном отношении от литературного (штокавского) языка⁵.

Подобное развитие приходится принять и для так называемой новоакутовой интонации позднего периода славянской языковой общности. Здесь следует различать две стадии: а) стадию ослабления конечных -ъ, -ь с последовательным передвижением ударения на предшествующий слог; например: вин. падеж ед. числа *stol'ъ* > *st'olъ*, *grêx'ъ* > *gr'êxъ* с новой акцентуацией, первоначально отличающейся от акцентуации слов *p'olъ* и *m'êxъ*; б) стадию отождествления акцентуаций в *st'olъ* (**stôlъ*) и *p'olъ* (**pôlъ*) и возникновения новой восходящей интонации в *grêxъ* в противоположность типу *mêxъ* (нисходящая интонация или, фонологически, отсутствие интонации). Это означает, что краткие подударные слоги сами по себе никогда не различались интонацией. Они могли только входить в состав дву- и многосложных слов, отличающихся между собою а к ц е н т у а ц и е й.

² См. Л. А. Булаховский, Отражения так называемой новоакутовой интонации древнейшего славянского языка в восточнославянских, сб. «Исследования по лексикологии и грамматике русского языка», М., 1961.

³ См. там же, стр. 3—4.

⁴ См. А. Leskien, Grammatik der serbo-kroatischen Sprache, 1, Heidelberg, 1914, стр. 214 и сл.

⁵ Описанный П. Ивичем тип сербскохорватских говоров, различающих три интонации (*â* : *á* : *à*), совмещает категории акцентуации и интонации: *â* (= *âa*) и *ā* (= *āâ*) : *á* (= *áâ*) — противопоставление акцентуаций; *â* (= *âa*) : *ā* (= *āâ*) — противопоставление интонаций (ср. Р. Ivić, Die Hierarchie der prosodischen Phänomene im serbokroatischen Sprachraum, «Phonetica», III, 1, 1959, стр. 28).

Обратимся теперь к рассмотрению пункта 2, т. е. опосредствованных доказательств существования интонационных различий подударных кратких. Чакавская восходящая интонация типа *dvôr* (род. падеж *dvorâ*) или *dîm* (род. падеж *dîma*) обычно связывается с продлением гласного перед закрывающими слог *r*, *l*, *n*, *m*, *j*, *v*, причем в типе *dîm* речь идет о древней акутовой долготе, сокращенной в общесербскохорватский период на всей территории сербскохорватского языка (штокав. *dîm*).

Однако в переходе чакав. **dvôr > dvôr*, **dîm > dîm* играли роль два фактора: продление гласной объясняется фонетически, интонация же (т. е. выбор второй моры как места ударения) — морфологически. В существительных типа **dvôr*, **dîm* ударение следует считать конечным (а, например, не начальным), так как в склонении этих типов ударение соответствовало ударению в таких словах, как, например, **kotâl*, род. падеж *kotlâ* (**dvôr: dvorâ*) или **gospodîn*, род. падеж *gospodîna* (**dîm: dîma*). После продления кратких гласных получается форма *dîm* с восходящей интонацией по образцу формы *gospodîn*, которая в свою очередь обязательно получает восходящую интонацию в связи с местом ударения. Нисходящая интонация \frown , как известно, могла выступать только в начальном слоге. Подобным же образом *dvôr* (род. падеж *dvorâ*) по образцу *kotâl* (род. падеж *kotlâ*).

Существует и другая мотивировка интонации в *dvôr*, *dîm*. В оборотах с предлогом типа **na dvôr*, **na dîm* и т. п. продление влекло за собой восходящую интонацию, опять-таки связанную с местом ударения. Отсюда также *n'a môt*⁶: *môt = na dvôr: dvôr*.

Ввиду того что в односложных формах происходит синкретизм начального, внутреннего и конечного ударения, акцентуация их основывается на акцентуации дву- и многосложных форм того же типа склонения и на акцентуации оборотов с предлогами. Чтобы определить функциональный характер ударения односложных форм, надо их сопоставить с многосложными, принадлежащими к идентичному образцу склонения и имеющими тот же тип ударения, и с оборотами с предлогом.

Со строго фонологической точки зрения восходящая интонация типа чакав. *kotâl*, *gospodîn* является простым ударением, не обладающим свойствами интонации, поскольку в этом положении нисходящая интонация первоначально недопустима. С фонетической же точки зрения интонация в слове *gospodîn* вполне сходна с интонацией *i* в чакав. *vîna* (мн. число от *vînd*), контрастирующей с \frown , например в *pîvo*.

Роль морфологического фактора в возникновении форм *dvôr*, *dîm* ясна. Ведь сама по себе нисходящая интонация продленного *o* в односложных формах также допустима; ср., например, *bôr*, *bôra*. Но в *kotâl*, *gospodîn* восходящая интонация обусловлена фонологической системой языка, в то время как в формах *dvôr*, *dîm* она объясняется структуральным подчинением односложных форм дву- и многосложным.

Сказанное выше относится, разумеется, и к случаям типа чакав. *stârac*, род. падеж *stârca* и под. В сочетаниях типа **na stârca* продление ударного *a* могло дать только *â*, так как *â* во внутренних слогах не существовало. В противоположность многосложным формам, в которых ударение передвигается на предлог, род. падеж **stârca* является словом с внутренним ударением (в обороте **na stârca*), не допускающим нисходящей интонации.

В большинстве посавских говоров представлен чисто фонетический результат заместительного продления: продленная гласная имеет, по Ившичу, нисходящую интонацию (*dvôr*, *dîm*, *stârca*)⁷. Так как для

⁶ Безударную долготу часто обозначают знаком \frown , употребляющимся и для обозначения долготы с нисходящей интонацией.

⁷ Ср. А. Бел и Ћ, О чакавској основној акцентуацији, «Глас[СРА]», CLXVIII, Други разред, 86, Београд, 1935, стр. 40.

чакавского следует принять $o > \bar{o}$ (фонологическое продление) и отсюда $\bar{o} > \acute{o}$ (морфологически обусловленная интонация), область посавских говоров с чисто фонетическим, видимо, отражением продления ($\bar{o} > \acute{o}$) можно считать исходной территорией этой эволюции. Трудно принять гипотезу Белича, по которой первичное **stār̄ьсь* (краткая с восходящей интонацией) в посавских говорах в начале текущего тысячелетия сначала перешло в **stār̄ьсь* (краткая с нисходящей интонацией) и только затем подверглось продлению (откуда, по Беличу, разница между чакав. *stārca* и посав. *stārca*).

Миф об интонированных кратких гласных применялся и при объяснении общесербскохорватской (и даже словенской) разницы *mōst* (род. падеж *mđsta*), но *pđp* (род. падеж штокав. *pōpa*), *plūg* (род. падеж *plūga*). И здесь *opinio communis* славистов приписывает продление действую и н с х о д я щ е й интонации (в **mđst > mōst*) при неизменяемости восходящей краткости. Изолированные примеры, противоречащие этому мнимому закону, менее важны, чем возражения общего характера.

При объяснении этого явления следует обратиться к многосложным формам; ср. штокавские противопоставления типа *pđklōn : zāklōn* ($< *zāklōn$), *kāmēn : jēlen* ($< *jēlen$), *tđpōt : život* ($< *živōt$) и т. д. Для них общий закон формулируется правильно: перед исчезающим -ь, -ь долгота возникает только в первоначально безударном слоге (формы типа *đtok* и т. п. всеми признаются вторичными исключениями). Исходя из этого, продление безударного *o* в оборотах с предлогом (ср. **nā most > nā mōst*) следует признать закономерным. Отсюда: *nā mōst : mōst*, как *nā rjeku : rjeku* или *dđ mosta : mđsta*. Но: *do pōpa : pōpa* ($< *pōpā$), *nā plug* ($< *nā plūg$): *plūg*. Таким образом, фонетическим следует считать продление в *nā mōst*, морфологическим в изолированной форме им.-вин. падежа *mōst*.

Итак, заместительное продление, возникающее вследствие исчезновения -ь, -ь, первоначально характерно для неударяемых слогов многосложных форм (включая сюда и обороты с предлогом). Это, так сказать, первый, чисто фонологический, слой новых долгот, из которого уже путем морфологическим возникает второй, именно в формах односложных. Так как в многосложных формах существует контраст между ударными и безударными слогами, в односложных же он автоматически устраняется (**nā most : *mōst*; **na plūg : plūg*), направление аналогического воздействия представляется ясным: процесс продления, начинающийся в безударных слогах многосложных форм (**tđpōt > tđpōt*, **nā most > nā mōst*), охватывает затем односложные формы (*mđst > mōst*), которые функционально можно считать безударными.

Фонетического различия между **mđst* и **pđp* не было и не могло быть. Здесь приходится признать один из важнейших принципов общего языкознания: совпадение форм вторично, основным является их различие. Например, в фонологической системе русского языка основными для *т*, *д* являются те употребления или позиции, в которых они противопоставляются (например, *та : да*, *тр : др*; ср. *там : дам*, *трать : драць*), конечное же их положение, в котором -*д* совпадает с -*т* (например, *пруд = прут*), надо считать вторичным. На основании этого выделяются две фонемы /т/, /д/, совпадающие в определенном положении, а не единственная /т/, распадающаяся на *т* и *д* в других положениях. В отношении ударения односложных форм такой основной позицией следует считать обороты с предлогом, так как в этом положении совпадающие в изолированном употреблении формы им.-вин. падежа (**mđst = pđp = plūg*) различаются (**nā most*, но *na plūg* и т. д.). Следовательно, а к ц е н т у а ц и о н н о е влияние происходит в направлении от форм с предлогом к формам изолированным.

Такая постановка вопроса имеет непосредственное отношение и к интерпретации русского *ô*, объясняемого до сих пор восходящей интонацией,

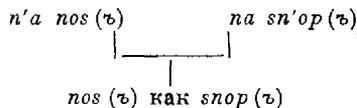
когда-то исчезнувшей в течение истории русского языка. После описания и объяснения в 1913 г. А. А. Шахматовым фактов лекинского говора картина первоначального распределения *o* и *ô* представляется довольно ясной⁸: во внутренних и конечных подударных слогах — только *ô*, в начальных слогах — *o* и *ô*; противоположность эта появляется и в односложных формах. При этом отражением славянского *ъ* может быть только *o*, но не *ô*⁹.

Проводя точку зрения, принятую нами для сербскохорватского продолжения типа *tǫrôt*, *môst*, можно убедиться, что для правильной интерпретации как новорусских, так и старорусских фактов достаточно исходить из славянской акцентуации (т. е. места ударения), не обращаясь к славянским интонациям как таковым.

Схематически развитие *ô* в говорах лекинского типа представляется следующим образом: а) фонологическое совпадение слав. *ъ* и *o* в безударных слогах (в других говорах это совпадение происходит во всех положениях, т. е. и в подударных слогах) при одновременном сохранении различия *ъ* и *o* в подударных слогах; рефлексом этого противопоставления является *o* : *ô* (*o* с «каморой»); б) перенесение *o* из позиций основных в позиции вторичные, т. е. из оборотов с предлогом, в которых *o* безударно, в изолированные формы; так, *n'a nos* с правильным *o* дает *nos*, но ср. *na st'ôl* и *st'ôl*.

Таким образом, *ô* появляется во всех внутренних и конечных слогах, распределение же *o* и *ô* в начальных слогах происходит в связи с акцентуационным выравниванием изолированной формы по модели полных комплексов (предложные конструкции, сложения), поскольку начальное ударение изолированной формы имеет двоякую значимость — либо действительного ударения начального слога, либо заместительного ударения слога, являющегося безударным в полном комплексе. Чередования типа *n'a rověstь* : *p'ověstь* были в древнерусском языке гораздо более продуктивными и распространенными, чем в новорусском.

И сербскохорватское, и русское явление можно свести к следующей треугольной схеме:



Такое положение включает в себе потенциальную дифференциацию форм *nos*(*τ*) и *snop*(*τ*), которая может осуществиться, как только комплексные формы дадут к тому причину. Мы видели, что вторичное осложнение различия между подударными и безударными гласными повлекло за собою дифференциацию типов *nos*(*τ*) и *snop*(*τ*) под воздействием комплексных форм сербскохорв. *nôs*, но *snôp*, русск. *nos*, но *snôp*.

Решение проблемы русского *ô* без участия интонационного фактора склоняет нас к пересмотру вопроса о полногласии в восточнославянских языках. Как известно, двойной рефлекс подударного слав. *tort* и т. д., дающего или *tor'ot*, или *t'orot* и т. д., до сих пор объясняется интонацией: *tor'ot* < *tort* с восходящей (т. е. славянской акутовой или повоактовой) интонацией, *t'orot* < *tort* с нисходящей (циркумфлексовой) интонацией. Но так как рефлекс *t'orot* появляется только в начальном слоге, правильной формулой считаем: слав. безударное *tort* : вост.-слав. *t'orot*, слав. подударное *tort* : вост.-слав. *tor'ot*. Форма *t'orot* опять-таки объясняется воздействием комплексной формы: *na por'og* : *por'og* = *n'a gorod* : *g'orod*, поскольку отсутствие ударения в комплекс-

⁸ В материалах, опубликованных в «Атласе русских народных говоров центральных областей к востоку от Москвы» (М., 1957), можно встретить случаи смещения систем и междиалектных заимствований (см. карту № 20 в комментариях к ней).

⁹ Современному *ô* соответствует в древнерусских памятниках XVI и XVII вв. так называемое *o* с «каморой» (описанное в 1929 г. Л. Л. Васильевым).

ной форме заменяется начальным ударением в изолированной форме.

Итак, представляется, что для решения по крайней мере некоторых восточнославянских или русских проблем прибегают к помощи ненужного здесь фактора интонации, хотя собственно акцентные отношения оказываются вполне достаточными для удовлетворительного объяснения вопроса. Но *entia non sunt multiplicanda*. Хотя ударение типа *g'olod* может служить признаком существования на слогѣ **gold* славянского циркумфлекса, это не значит, что восточнославянское ударение продолжает здесь фонологически славянскую интонацию. Ударение в *g'olod* (так же как и о в слове *g'olod* в говорах лекинского типа) — это морфологическое следствие отношения комплексных форм к изолированным. Форма *g'olod* свидетельствует о славянской нисходящей интонации лишь косвенно, а именно посредством комплексных форм, акцентуация которых (*n'a gorod*, но *na por'og*) частично связана со славянскими интонациями.

Надо проводить строгое различие между явлениями, которые можно считать результатом чисто фонологических изменений, и такими явлениями, которые, хотя, по-видимому, и соответствуют фактам родственных языков, однако являются сложным следствием фонологических и морфологических процессов. Подобно тому как в восточнославянских языках мнимая разница интонаций сводится (по крайней мере частично) к фактору ударения, и в западнославянских наблюдаются явления, связанные с количественными отношениями, но традиционно ошибочно объясняемые славянскими интонациями.

Л. А. Булаховский вслед за Н. Ван-Вейком объясняет долготу или, точнее, продление в чешском *vûle* или в др.-чеш. *chôceš* былой восходящей (новоакутовой) интонацией¹⁰. Однако и здесь отношение к интонации только опосредствованное: ср. *střeh (u) → stráže, vel (ím) → vûle*. Сохранение долготы в *stráže* объясняется новоакутовой интонацией, но продление в *vûle* служит добавочным показателем производной формы: *střeg- (< *střg-): stráž-e = vel-: vûl-e*.

Подобным же образом польские порядковые числительные *szósty, siódmy, ósmy* с продлением старого краткого *ô (> ô > ô)* входят в серию производных форм типа (*pięć:*) *piąty*, (*dziewięć:*) *dziewiąty*, (*dziesięć:*) *dziesiąty*, которые своею долготою обязаны древней новоакутовой интонации. Отношение *pięć* (*e* = древняя краткая) : *piąty* (*a* = древняя долгая) и т. д. влечет за собой и *sześć* (*e* = древняя краткая) : *szósty* (*e > o > > ô > ô*).

Сравнительно-историческому языкознанию, если оно тщательно не учитывает внутрисистемных отношений каждого из изучаемых языков, грозят две опасности. Это, во-первых, реконструкция фиктивных элементов, которые никогда и ни в каком языке не существовали, подобных интонации на безударных или кратких гласных. Во-вторых, это установление фиктивных фонетических законов, к которому ведет нечеткое разграничение фонологических и морфологических явлений, как в случае мнимых непосредственных акцентуационных или количественных рефлексов интонаций в разных славянских языках.

¹⁰ Л. А. Булаховский, указ. соч., стр. 11.

ВЯЧ. В. ИВАНОВ

ОБ ИССЛЕДОВАНИИ ДРЕВНЕАРМЯНСКОЙ ФОНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В ЕЕ ОТНОШЕНИИ К ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ

1. После работ Э. Бенвениста и Г. Фогта можно считать установленным, что древнеармянская фонологическая система включала ряд звонких придыхательных фонем, соответствующих звонким придыхательным в древнеиндийском. Исходя из принципа простоты описания, аналогичную систему можно считать исходной и для всех современных диалектов армянского языка. С точки зрения индоевропейского сравнительно-исторического языкознания наибольший интерес представляет выяснение того, как древнеармянская система противопоставлений фонем типа $th - d - dh$ развилась из более древней индоевропейской системы, в которой имелся только один ряд придыхательных фонем, обычно по традиции определяемых как звонкие придыхательные. По соображениям типологического характера наличие звонких придыхательных можно считать вероятным в такой системе, где (как в древнеармянском или в древнеиндийском) наряду со звонкими придыхательными имеются глухие придыхательные (т.е. где есть противопоставление $th - dh$), но не в системе, где отсутствуют глухие придыхательные¹. Этот типологический вывод подтверждается, в частности, и данными армянской диалектологии, так как противопоставление типа $th - dh$ является необходимым условием наличия звонких придыхательных в армянских диалектах: имеются диалекты, где есть только глухие придыхательные и нет звонких, но отсутствуют такие диалекты, в которых имелись бы только звонкие придыхательные и не было бы глухих. Именно в этом отношении данные армянских диалектов представляют особую ценность для индоевропейского языкознания, так как они подтверждают необходимость типологической проверки вероятности реконструируемой системы. При этом то, что в древнеармянском языке имелись звонкие придыхательные фонемы, само по себе еще не дает оснований для непосредственного вывода о существовании таких же фонем в общиндоевропейском, ибо в древнеармянском (как и в древнеиндийском) эти фонемы противопоставлялись глухим придыхательным, тогда как для индоевропейского нет оснований реконструировать два ряда придыхательных фонем².

2. Таким образом, с точки зрения фонологической типологии наличие звонких придыхательных фонем в древнеармянском следует связывать с существованием глухих придыхательных фонем в этом языке. Глухие придыхательные в армянском (как и в санскрите) являются результатом позднейшего развития, осуществившегося после отделения армянского от дру-

¹ Ср. R. Jakobson, *Typological studies and their contribution to historical comparative linguistics*, «Proceedings of the Eight International congress of linguists», Oslo, 1958; Вяч. В. Иванов, *Типология и сравнительно-историческое языкознание*, ВЯ, 1958, 5, стр. 37.

² На это обстоятельство не было обращено внимания в редакционном примечании, которым открылась дискуссия об армянском консонантизме на страницах «Вопросов языкознания». Полемика с двумя указанными выше работами в этом редакционном примечании исходила из предположения, что установление фонетических характеристик армянских фонем, соответствующих древнеиндийским звонким придыхательным, позволяет без дальнейшего фонологического анализа сделать непосредственные выводы об общиндоевропейских прототипах этих фонем. В таком предположении нельзя не видеть возврата к методам компаративистики XIX в.

гих индоевропейских диалектов. В армянских словах с индоевропейской этимологией глухие придыхательные восходят к позиционным вариантам индоевропейских глухих простых смычных, спиранта *s* и, по-видимому, ларингального. В армянской глухой придыхательной фонеме $k^c = kh$ совпали отражения позиционных вариантов трех или четырех индоевропейских фонем: 1) глухого простого $*k$ (и лабиовеларного $*k^w$, если призывать его существование в качестве отдельной индоевропейской фонемы) в начальном положении в некоторых словах³ типа *k'ani* «сколько» (ср. лат. *quantus*) и, очевидно, в положении после сонанта в середине слова⁴; 2) глухого простого $*t$ и спиранта $*s$ в сочетании с последующим $*w$ в начале слова⁵; 3) ларингальной фонемы (или ларингальных фонем), если k^c в словах типа *t'uk'* «слюна» (греч. $\tau\acute{\iota}\omega$) действительно восходит к $*H^6$. Армянская глухая придыхательная фонема $t' = th$ восходит к позиционным вариантам индоевропейского глухого простого $*t$ в начальном положении перед гласным (в том числе в начальной группе $*pt$; ср. выше о слове *t'uk'*) и в положении после сонанта в середине слова. Армянская глухая придыхательная фонема $p^c = ph$ восходит к позиционному варианту индоевропейского глухого простого $*p$ в начальном положении в некоторых словах.

В других позициях (в частности, в середине слова между гласным и согласным и в интервокальном положении) отражения индоевропейских глухих простых совпали с отражениями сонантов (целевых) $*w$ и $*y$. Для армянского языка характерно также то, что отражения индоевропейских глухих простых частично совпадают с отражениями индоевропейской ларингальной (или ларингальных)⁷. В древнеармянской фонеме *h* (чередующейся с нулем) совпали отражения индоевропейского ларингального $*H$, индоевропейского $*k$ ($*k^w$) и индоевропейского $*p$ в начальном положении (в некоторых словах). Параллельное развитие в спирант глухого $*t$ (в середине слова в некоторых позициях) позволяет предположить, что в древнеармянском можно говорить о передвижении применительно к общиндоевропейским глухим смычным, которые в некоторых позициях заменились соответствующими спирантами, совпавшими с отражениями индоевропейских ларингальных или сонорных (*y*, *w*). В терминах различительных признаков речь идет об изменении по признаку прерывности-непрерывности, чему с акустической точки зрения, очевидно, соответствует изменение по признаку длительности⁸.

В. Винтер предположил, что спирантизация глухих простых осуществилась уже в протоармянский период, когда различные позиционные варианты фонем, происходящих из индоевропейских глухих простых, находились еще в дополнительном распределении⁹. В пользу гипотезы об изменении глухого простого $*p$ в спирант $*f$ (позднее развившийся в *h* или в ноль) в протоармянском могут быть приведены как некоторые доводы, основан-

³ Ср. W. Winter, Problems of Armenian phonology II, «Language», XXXI, 1—2, 1955, стр. 5 и 7.

⁴ Ср. его же, Problems of Armenian phonology I, «Language», XXX, 2, 1954, стр. 198—201. К этому же типу относятся арм. *e-lik'* «(он) оставил»; ср. греч. ἔλιξε.

⁵ Пользуясь символикой Е. Д. Поливанова для обозначения конвергенций фонем, последнюю конвергенцию можно записать как $*tw \times *sw \rightarrow k^c$.

⁶ Гипотеза В. Винтера (см. W. Winter, Armenian evidence for Proto-Indo-European laryngeals, в сб. «Evidence for laryngeals», Austin, 1960, стр. 31—32 [потрипнт]).

⁷ Отмечено В. Винтером (W. Winter, Armenian evidence for Proto-Indo-European laryngeals, стр. 30 и 32).

⁸ Это может быть подтверждено, в частности, опытами на электронном сепараторе [ср. М. Ф. Деркач, Статистика восприятия глухих взрывных и щелевых гласных в зависимости от их длительности, сб. «Вопросы статистики речи (материалы совещания)», Л., 1958, стр. 36—39]. Относительно возможности моделирования передвижения согласных при помощи сепаратора ср. Вяч. В. Иванов, Лингвистические вопросы создания машинного языка для информационной машины, сб. «Материалы по машинному переводу», I, Л., 1958, стр. 35, примеч. 1.

⁹ W. Winter, Problems of Armenian phonology II.

ные на истории армянского языка¹⁰, так и многочисленные фонетические параллели развитию $p > f > h > 0$ в различных языках мира¹¹. Армянское h , в которое в результате спирализации превращались $*k$ ($*k^w$) и $*p > *f$, часто исчезало в начальном положении; поэтому изменения $*p > *f > h > 0$ и $*k > h > 0$ могли бы существенно уменьшить различительные возможности армянской фонологической системы. Двойное отражение индоевропейских глухих простых $*p$ и $*k$ в начальном положении — как h (или 0) или как глухих придыхательных p^c и k^c ¹² — можно было бы объяснить тенденцией к замене спирантоидных отражений индоевропейских глухих простых глухими придыхательными, отличающимися значительно большей устойчивостью, чем h . Но такое двойное отражение предполагает, что в протоармянский период спиранты типа $*f$ и глухие придыхательные типа $*ph$ могли быть факкультативными вариантами фонемы, развившейся из глухого простого (типа $*p$)¹³.

Г. Фогт убедительно показал, что изменение индоевропейских глухих простых было основным фактором в развитии древнеармянской системы согласных фонем¹⁴. Изменение древних звонких непрдыхательных в глухие, осуществившееся после изменения глухих, объясняется заполнением освободившихся мест («пустых клеток») в фонологической системе, обычно развивающейся по типу самоорганизующихся кибернетических систем. Но и существование ряда звонких придыхательных фонем с точки зрения фонологической типологии следует объяснить возникновением глухих придыхательных фонем, осуществившимся после спирализации древних глухих простых (или одновременно с этой спирализацией).

3. Соображения типологического характера заставляют думать, что существование придыхательных фонем предполагает наличие в той же системе фонемы типа h ¹⁵. Поэтому особенности древнеармянской системы смычных согласных целесообразно связать с наличием фонемы h в древнеармянском. В этом отношении полезным может быть сопоставление с анатолийскими языками. Древнеармянское h в начальном положении в некоторых словах восходит к индоевропейскому ларингальному, что можно считать архаизмом, общим у армянского языка с анатолийскими; ср. арм. *hoviv* «пастух» (из сложного слова с первым компонентом $*Howi-$ «овца», иероглифич. хет. (лув.) *hawa/i-*¹⁶, лув. *hazi-* «овца»¹⁷. Общим для армянского языка и анатолийских можно признать и нововведение, благодаря которому h (в армянском в начальном положении) в ряде слов произошло из более древнего заднеязычного (ср., например, арм. *him* «почему»: лат. *quid*; палайск.

¹⁰ См. Н. V o g t, Les occlusives en arménien, «Norsk tidsskrift for sprogvidenskap», XVIII, Oslo, 1958, стр. 157.

¹¹ Анализ этого процесса как нормального (с общefonетической точки зрения) изменения p многократно давался Е. Д. Поливановым (см., например, Е. Д. П о л и в а н о в, Фонетические конвергенции, ВЯ, 1957, 3, стр. 82).

¹² Это двойное отражение отмечено В. Винтером, который, однако, не опубликовал своей гипотезы, объясняющей это явление (см. W. W i n t e r, Problems of Armenian phonology II, стр. 8).

¹³ Вполне возможно, что именно в этот период в грузинский язык проникли древнейшие армянские заимствования, где ph соответствует позднейшему армянскому h (из индоевропейского $*p$) (см. Н. V o g t, указ. соч., стр. 157).

¹⁴ См.: Н. V o g t, указ. соч., стр. 156—158; Г. Ф о г т, Заметки по армянскому консонантизму, ВЯ, 1961, 3, стр. 42—43. Существенным отличием излагаемых идей от концепции Г. Фогта является, однако, то, что он исходит из традиционного представления о четырехчленности индоевропейской системы смычных.

¹⁵ См.: R. J a c o b s o n, указ. соч.; Вяч. В. И в а н о в, Типология и сравнительно-историческое языковедение, стр. 37; Вяч. В. И в а н о в и В. Н. Т о н о р о в, Санскрит, М., 1960, стр. 72.

¹⁶ Ср. об этом армяно-анатолийском соответствии Вяч. И в а н о в, Проблема ларингальных в свете данных древних индоевропейских языков Малой Азии, «Вестник МГУ», Ист.-филол. серия, 1957, 2, стр. 35.

¹⁷ См. E. L a r o c h e, Dictionnaire de la langue louvite («Bibliothèque archéologique et historique de l'Institut français d'archéologie d'Istanbul», VI), Paris, 1959, стр. 44—45.

aku-«пить»: хет. *eku*-, лув. *aku*-¹⁸; лув. *šahuitara* «закономерный, правильный»: хет. *šakuwaššara*-¹⁹ и т. п.). Анатолийские языки, в которых сохранялась и в ряде морфем возникла фонема *h*, в древнейший период их истории могут быть причислены к числу таких индоевропейских языков, в которых отражалась тройное противопоставление смычных фонем типа **t — *d — *th* (т. е. **dh*²⁰ в традиционном обозначении). При палатализации в хеттском каждая из этих трех фонем дает различное отражение; ср. **-ti > zi* (в глагольных окончаниях 3-го лица), **di > ši* (в общеанатолийском имени бога дневного света: лув. *tiyat*-, палайск. *tijaz*, хет. *šiyatt*- «день, бог дня»), **dhi > ti* (в окончании повелительного наклонения, сохранившемся в архаичных хеттских медиопассивных формах на *-hu -ti*)²¹. Однако после действия процессов палатализации, благодаря которым увеличились различительные возможности спирантов и аффрикат, в хеттском языке древняя анатолийская система с тройным противопоставлением смычных сменилась системой, противопоставляющей только два класса смычных фонем.

4. В древнеармянском (как и в древнеиндийском, древнегреческом, окско-умбрском, латинском, венецком и германских языках, а также — косвенным образом — в анатолийских, тохарских, кельтских и древнеиранском, возможно в древних языках балканской области) отразилось архаичное противопоставление трех рядов фонем, два из которых различаются по признаку звонкости — глухости. Различительный признак, отличавший третий ряд фонем от глухих простых смычных и звонких простых смычных, мог быть либо признаком придыхательности (напряженности), либо признаком непрерывности (возможны и другие гипотезы, например о признаке глоттализации, но их нельзя доказать).

В первом случае признак глухости — звонкости для этого ряда был избыточным, но типологические соображения заставляют рассматривать его как ряд глухих придыхательных²² (ср. отражение его в греческом и отчасти в италийском). Во втором случае признак глухости — звонкости также был избыточным, но возможна реконструкция как ряда глухих, так и ряда звонких спирантов; однако для большинства языков пришлось бы предполагать позднейшее изменение спирантов в смычные²³. В обоих случаях изменение третьего ряда фонем (спирантов или глухих придыхательных) в звонкие придыхательные в древнеиндийском и древнеармянском является результатом вторичного развития, что представляет особый интерес ввиду наличия многих инноваций, общих для древнеармянского и древнеиндийского²⁴.

¹⁸ См.: В я ч. В. И в а н о в, К изучению лексики лувийского языка, «Исследования в чест на акад. Д. Дечев», София, 1958, стр. 143—145; E. L a g o s c h e, указ. соч., стр. 24.

¹⁹ См.: E. L a g o s c h e, указ. соч., стр. 135; A. K a m m e n h u b e r, *Esquisse de grammaire palaïte*, BSLP, LIV, 1, 1959, стр. 29. В лувийском (как и в армянском) *h*, происходящее из смычного, позднее может исчезнуть.

²⁰ Символы типа **dh* употребляются как общепринятое условное обозначение так называемых индоевропейских звонких придыхательных; по причинам, указанным выше, это обозначение нельзя считать удовлетворительной фонетической интерпретацией.

²¹ Таким образом, хеттский язык следует отнести к числу языков, отражающих тройное противопоставление смычных, что заставляет внести поправки в обычное изложение вопроса (ср. W. P o r z i g, *Die Gliederung des indogermanischen Sprachgebiets*, Heidelberg, 1954, стр. 68). Относительно аналогичной поправки применительно к фактам тохарских языков см. Э. Э в а н д ж е л и с т и, Индоевропейские зубные согласные и тохарские палатализации, в кн. «Тохарские языки», М., 1959.

²² В этом отношении армянские диалекты могут рассматриваться как ценный источник для типологических сопоставлений с общиндоевропейской системой, что, однако, ни в какой мере не дает оснований связывать системы этих диалектов непосредственно с индоевропейской.

²³ Сходное изменение глухих спирантов в глухие придыхательные, согласно гипотезе В. Винтера (см. выше), должно быть предположено для тех армянских диалектов, где глухие придыхательные соответствуют древнеармянским *p^h, t^h, k^h* (спирантам, по Винтеру).

²⁴ В связи с тем, что некоторые древнеиндийско-древнеармянские лексические связи могут относиться к древней ритуальной (или поэтической) лексике (ср. W. P o r

Таким образом, можно предположить следующие основные изменения протоармянской фонологической системы: 1) изменение индоевропейских простых глухих, подвергающихся спирализации, в связи с чем усиливается функциональная нагрузка фонемы *h*; 2) изменение древних звонких простых в глухие простые; 3) замена спирантов, развившихся из глухих, глухими придыхательными нового происхождения, в связи с чем древний третий ряд (глухих придыхательных или спирантов) становится рядом звонких придыхательных. Наличие фонемы *h* играет роль катализатора в процессе формирования двух рядов придыхательных.

Многие пункты, существенные для исследования этих процессов, остаются еще неясными, в частности, не выяснена природа третьего ряда индоевропейских фонем (так называемых звонких придыхательных) и относительная хронология указанных изменений в протоармянском и древнеармянском.

z i g, указ. соч., стр. 161—162), можно отметить, что в древнеиндийском имеются некоторые параллели даже такому специфическому древнеармянскому явлению, как аллитерационный стих [в стихотворении, переданном Моисеем Хоревским; ср. об этом аллитерационном стихе В я ч. В. И в а н о в, Лингвистические вопросы стихотворного перевода, в сб. «Машинный перевод» («Труды Ин-та точной механики и вычислительной техники АН СССР», 2), М., 1961, стр. 380]. Однако параллели аллитерационному стиху, которые можно обнаружить в «Ведах» (ср. W. P. L e h m a n n, The development of Germanic verse form, Austin, 1956, стр. 30) и в «Махабхарате» (например, в рассказе о Дамаянти, имя которой участвует в аллитерациях), отличаются от протоармянского стиха, где фиксированное ударение на предпоследнем слоге в двусложных словах создавало фиксированное начальное ударение, способствовавшее аллитерации: *Erkner erkin ew erkir* и т. д. Относительно ударения в протоармянском и древнеармянском ср.: Г. Б. Д ж а у к я н, Система склонения в древнеармянском языке и ее происхождение, Ереван, 1959 [на арм. яз.].

О. А. НОРК, З. М. МУРЫГИНА, Л. П. БЛОХИНА

О ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ПРИЗНАКАХ ФОНЕМЫ

(Ответ Р. Г. Пиотровскому)

Нет никакого сомнения в том, что понятие дифференциальных признаков фонемы оказалось плодотворным для языкознания. Несомненно также, что учение о дифференциальных признаках следует разработать. Ни Н. С. Трубецкой, ни его последователи¹ не сказали последнего слова в фонологии. Здесь есть еще много неясных вопросов, ожидающих своего разрешения. Очевидно, может быть дана и иная фонологическая интерпретация дифференциальных признаков, их функций в различных языках, их акустических и физиологических характеристик, чем та, которую они получили в классической фонологии Н. С. Трубецкого. Однако даже и при отказе от исходных позиций этого учения представляется необходимым интерпретировать уже имеющиеся достижения в их истинном свете, не допуская простого их элиминирования или искажения. Рассмотрим реальное содержание дифференциальных признаков в фонологическом и физиолого-акустическом аспектах в том виде, как его излагают Н. С. Трубецкой, Якобсон, Фант и Халле — авторы «Preliminaries...», а также Р. Г. Пиотровский².

Обращает на себя внимание, что описание фонологических систем различных языков авторами «Preliminaries» полностью совпадает с описанием, предложенным ранее Н. С. Трубецким. Различие заключается только в терминологии: Н. С. Трубецкой пользуется физиологическими терминами, тогда как Якобсон, Фант и Халле применяют терминологию акустическую. В качестве примера обратимся к фонологической характеристике таких языков, как латинский, русский, польский, чешский, испанский и итальянский.

По Н. С. Трубецкому, для вокализма всех этих языков характерны двухклассные треугольные системы, общим признаком которых служит признак раствора (в акустической терминологии это признак: «компактность — диффузность»). При этом для осуществления фонологических противоположений в двухклассных треугольных системах существуют три возможности. В первом случае друг другу противопоставляются лабиализованные и нелабиализованные гласные (в акустической терминологии это противопоставление по бемольной и простой тональности). В качестве примера могут быть приведены фонологические системы русского и польского языков. Во втором случае друг другу противостоят гласные переднего и заднего ряда (в акустической терминологии это противопоставление высокотональных и низкотональных звуков). В качестве примера могут быть приведены японский и словацкий языки. В третьем случае смысловоразличительным признаком является противопоставление максимально низких и максимально высоких гласных (в акустической терминологии этому соответствует противопоставление по оптимально низкой и

¹ См. R. Jakobson, C. G. M. Fant, M. Halle, Preliminaries to speech analysis, («Technical report», 13 [of the Acoustics laboratory of the Mass. inst of technology], May 1952), 2-nd printing, [Cambridge, Mass.], 1955.

² Р. Г. Пиотровский, Еще раз о дифференциальных признаках фонемы, ВЯ, 1960, 6.

оптимально высокой тональности). В качестве примера могут быть приведены испанский и итальянский языки³.

По авторам «Preliminaries», общим признаком для всех перечисленных языков является признак «компактность — диффузность» (в физиологической терминологии — признак раствора). Что же касается релевантности другого признака, то здесь называются те же три возможности: для русского и польского языка релевантен признак «бемольная тональность — простая тональность» (т. е. признак положения губ); для японского и словацкого языков — признак «высокая тональность — низкая тональность» (т. е. признак положения языка); для испанского и итальянского языков — признак «оптимально низкая — оптимально высокая тональность» (т. е. признак максимально низкого и максимально высокого подъема языка); для румынского языка — противоположение по «оптимально бемольной и оптимально простой тональности» (т. е. по максимальной огубленности и максимальной неогубленности гласных звуков)⁴. Таким образом, проделанное Р. О. Якобсоном соотнесение фонологических систем различных языков с данными акустического анализа целиком подтверждает фонологическую классификацию, предложенную ранее Н. С. Трубецким. Это совпадение не случайно; оно заставляет предположить, что конкретные языковые факты при строго фонологическом анализе вряд ли допускают какое-либо иное толкование.

Анализ фонологических позиций Р. Г. Пиотровского, иных в своей основе, показывает, что при группировке языков по признаку сходства их фонологических систем Р. Г. Пиотровский учитывает только один признак, а именно равное количество членов системы. Вследствие этого оказывается возможным объединить в одну «пятичленную систему» гласные таких языков, как латинский, русский, польский, чешский, румынский, испанский, и выделить для каждого из них в качестве различительных признаков две следующие пары: «компактность — диффузность», с одной стороны, и «высокая тональность — низкая тональность» или «бемольная тональность — простая тональность» — с другой. При этом речь идет не о трех возможностях реализации двух последних пар дифференциальных признаков в различных языках, описанных у Н. С. Трубецкого и у авторов «Preliminaries», а об одновременном их использовании в каждом языке, т. е. не либо «бемольная тональность — простая тональность», либо «высокая тональность — низкая тональность», а и «бемольная тональность — простая тональность», и «высокая тональность — низкая тональность». В этом должна убедить предлагаемая параметризация русских гласных, по которой для русского языка оказываются релевантными такие признаки, как «компактность — диффузность», с одной стороны, и «простая тональность — бемольная тональность» (или «высокая тональность — низкая тональность») — с другой⁵. Это значит, что в русском языке различительными признаками являются одновременно степень раствора, принадлежность к ряду и наличие или отсутствие лабиализации.

При таком подходе аспект фонологический подменяется аспектом фонетическим. Основываясь на фонетической характеристике гласных, Р. Г. Пиотровский и делает верный в фонетическом, но не в фонологическом отношении вывод о том, что свертывание между отдельными парами дифференциальных признаков «осуществляется обычно в определенном направлении: бемольная тональность накладывается на низкую тональность, а простая тональность (нелабиализованность) совмещается с высокой тональностью». В ряде случаев Р. Г. Пиотровский для удобства параметризации считает возможным даже изменять реальную фонологическую систему того или иного языка. В этом отношении особенно пока-

³ Н. С. Трубецкой, Основы фонологии, М., 1960, стр. 110, 112—114.

⁴ R. Jakobson, C. G. M. Fant, M. Halle, указ. соч., стр. 33—35.

⁵ Р. Г. Пиотровский, указ. соч., стр. 25.

зательна система шведского вокализма, которая из треугольной и трехклассной⁶ превращается у Р. Г. Пиотровского в четырехугольную и четырехклассную.

Для этой цели фонема *a* оставляется вообще за пределами схемы (вследствие чего фонемы *ε* и *æ* становятся звуками с максимальной степенью раствора) и вводятся «фонемные нули», появление которых вызвано необходимостью идентифицировать фонемы одинаковым количеством знаков — как по горизонтали, так и по вертикали, что для фактически существующей треугольной системы шведского языка невозможно.

Подобное «асимметричное» расположение фонем во всех четырех рядах, — пишет Р. Г. Пиотровский, — позволяет характеризовать каждый вертикальный ряд посредством определенного сочетания компактных и диффузных фонем, с одной стороны, и пустых мест (фонемных нулей) — с другой. В связи с этим каждая краткая (или соответственно долгая) фонема может быть описана посредством ее собственной компактно-диффузной характеристики (горизонтальный параметр) и указания на ее вертикальный параметр путем перечисления сверху вниз компактно-диффузных характеристик остальных фонем, принадлежащих к данному вертикальному ряду (указываются в скобках). Таким образом, каждая фонема идентифицируется исключительно в терминах „компактность-диффузность“ (+, —), сочетаемых с фонемными нулями: $i = -(\pm +)$, $y = -(0+)$, $ɥ = \pm(00)$, $u = -(\pm 0)$ и т. д. Фонема *a*, находящаяся вне рядов степеней тональности, будет характеризоваться одним знаком +. Итак, — заканчивает Р. Г. Пиотровский, — в приведенных выше случаях между дифференциальными признаками „бемольная тональность — простая тональность“, „низкая тональность — высокая тональность“, обнаруживаются определенные функциональные зависимости⁷.

Попробуем раскрыть сущность функциональной зависимости дифференциальных признаков, скрывающихся за абстрактными символами +, —, 0. Из приведенных звуковых характеристик видно, что каждая фонема в шведском языке может быть представлена исключительно в виде совокупности признаков раствора, ибо, если заменить акустическую терминологию физиологической, характеристику этих звуков следует читать следующим образом: *i* — звук высокого подъема (звук среднего подъема, звук низкого подъема); *y* — звук высокого подъема (звук отсутствует, звук низкого подъема); *ɥ* — звук среднего подъема (звук отсутствует, звук отсутствует).

В правомерности подобного утверждения, по мнению Р. Г. Пиотровского, нас должна убедить возможность определения степени раствора в результате характеристики фонемы по горизонтали и по вертикали. Поскольку речь идет о «строго фонологическом» анализе шведского вокализма, то соответственно надо полагать, что характеристика фонемы определяется из системы оппозиций. Следовательно, при этом, видимо, постулируются такие оппозиции, как, например, *i-/y-*, *y-/u-*, члены которых одинаково маркированы минимальной степенью раствора (—), или такие, как *i-/ε±*, $\epsilon\pm/\epsilon+$, где фонемы противоплагаются одновременно и по минимальной, и по максимальной степени раствора (—/±/±). Таким образом, функциональные зависимости, усматриваемые Р. Г. Пиотровским в шведском языке, дают основания рассматривать фонологическую систему этого языка как линейную систему, единственным вокалическим признаком которой является признак «компактность-диффузность» (или признак раствора).

Свое конкретное выражение мысль о функциональной зависимости трех пар дифференциальных признаков получает при рассмотрении дан-

⁶ Ср.: Н. С. Трубецкой, указ. соч., стр. 16; R. Jakobson, C. G. M. Fant, M. Halle, указ. соч., стр. 30.

⁷ Р. Г. Пиотровский, указ. соч., стр. 27—28.

ных спектрального анализа, который, как полагает Р. Г. Пиотровский, является анализом «акустико-фонологическим». Однако в действительности спектральный анализ является лишь одним из экспериментальных методов фонетического исследования звуков и — соответственно — никак не «анализом фонологическим».

Для того чтобы убедиться в этом, достаточно рассмотреть методы спектрального анализа⁸ и его результаты. Это необходимо еще и потому, что Р. Г. Пиотровский вносит в методику спектрального анализа некоторые коррективы. Как известно, все акустические дифференциальные признаки подразделяются на два класса — сонорных и тональных признаков. Первые соотносимы с просодическими признаками силы и количества, вторые близки с просодическим признаком основного тона голоса. Для измерения тональных признаков используется объем энергии, ее концентрация и разветвление во времени, тогда как для измерения признаков сонорных используется частотная характеристика концов спектра⁹.

Из трех рассматриваемых признаков «компактность-диффузность» является признаком сонорным, тогда как признаки «высокая тональность-низкая тональность» и «бемольная тональность — простая тональность» относятся к признакам тональным. Признак «компактность-диффузность» выражается в том, что у компактных фонем форманты сосредоточены в центральном районе спектра, тогда как у фонем диффузных форманты сдвинуты к периферийным районам спектра. Компактность фонем является функцией первой форманты $[C = f(F_1)]$, — чем ближе F_1 к верхним формантам, тем более компактен звук. Степень компактности фонем может измеряться или по величине F_1 (в двухформантных звуках), или по отношению F_3/F_1 (в трехформантных звуках). Измерения могут производиться как по абсолютным величинам, так и по их логарифмам.

В прилагаемой таблице даны в герцах абсолютные числовые величины трехформантных грузинских гласных в произнесении двух дикторов (Ц и О)¹⁰.

Таблица 1

Гласные	F_1		F_2		F_3		Средние величины		
	Ц.	О.	Ц.	О.	Ц.	О.	F_1	F_2	F_3
и	300	250	666	530	2200	1400	325	598	1800
о	560	400	950	810	2300	1700	480	830	2000
а	800	660	1480	1200	2350	2110	730	1340	2230
е	300	300	2380	1900	3000	2650	300	2140	2825
і	250	200	2700	2100	3252	3000	225	2400	3126

Данные таблицы позволяют произвести определение степени компактности фонем следующими тремя способами.

1. При сопоставлении абсолютных величин гласных видно, что F_1 гласного а сравнительно с F_1 других гласных в произнесении каждого из

⁸ Изложение методов спектрального анализа дается по трудам: G. Fant, Acoustic theory of speech production, Stockholm, 1958; G. F. Peterson and H. L. Barney, Control methods used in a study of the vowels, «Journ. of the Acoustical society of America», XXIV, 2, 1952; L. C. Jones, The vowels of English and Russian. An acoustic comparison, «Slavic word» (Suppl. to «Words»), XII, 2, 1953.

⁹ Характеристика признаков дается по книге Якобсона и Халле «Fundamentals of language» ('s-Gravenhage, 1956), где сравнительно с «Preliminaries» в описание признаков вносятся некоторые изменения. О необходимости таких коррективов см. в приведенной выше работе Фанта (стр. 291).

¹⁰ Величины формант даны по диссертации Т. Г. Цибадзе («Спектральные изменения грузинских гласных в соседстве с последующими согласными», Тбилиси — Москва, 1955—1956 гг.), выполненной в Лаборатории экспериментальной фонетики и психологии речи при 4-м МГПИИЯ, руководимой В. А. Артемовым.

дикторов является самой высокой (800 гц и 660 гц). Из табл. 1 видно также, что по мере убывания степени компактности гласных понижается их F_1 . На схеме 1, представляющей собой формантную схему гласных грузинского языка, видно, что самой компактной фонемой является *a*, все три форманты которой (F_1 , F_2 и F_3) локализованы в центральном районе спектра. Из схемы видно также, как в зависимости от уменьшения степени компактности звука формантные области фонем *o* и *u*, *e* и *i* смещаются к периферийным районам, в результате чего они сдвинуты на схеме влево и вправо от центра.

2. Вместо абсолютных величин F_1 в герцах в расчетах могут быть использованы их логарифмы, сопоставление которых дает те же самые результаты: $\lg F_1$ звука *u* = 2,4393; *o* = 2,6812; *a* = 2,8633; *e* = 2,4771; *i* = 2,3502.

3. При определении компактности фонем может быть использовано также отношение между формантами F_3 и F_1 , которое является числовым выражением диффузности звука. Соответственно у гласного *a* числовой показатель диффузности наименьший. Так,

$$R_3 = \frac{F_3}{F_1} \left\{ \text{для } u = 6,5; \text{ для } o = 4; \text{ для } a = 3; \text{ для } e = 9,4; \text{ для } i = 13,8. \right.$$

Признак «высокая тональность — низкая тональность» выражается в том, что у высокотональных фонем F_2 (и остальные более высокие форманты) располагаются в области высоких частот, тогда как у фонем низкотональных они располагаются в области низких частот. На схеме 1 видно, что F_2 и F_3 высокотональных фонем *e* и *i* сдвинуты вверх сравнительно с низкотональными фонемами *o* и *u*, F_2 и F_3 которых сдвинуты вниз. Определение тональности фонем может быть произведено тремя способами.

1. Тональность фонем является функцией второй форманты [$T = f(F_2)$]; соответственно этот признак определяется по ее величине. Из табл. 1 по абсолютной величине F_2

в герцах можно определить характер тональности гласных: у гласных *e* и *i* в произнесении каждого из дикторов F_2 выше, чем у гласных *o* и *u*.

2. Вместо абсолютных величин в герцах в расчетах могут быть использованы их логарифмы: $\lg F_2$ звука *u* = 2,7694; *o* = 2,9445; *e* = 3,3304; *i* = 3,3802.

3. При определении тональности фонем может быть принято отношение $\frac{F_2}{F_1} = R_1$, или, что еще более наглядно, — отношение $\frac{F_3}{F_2} : \frac{F_3}{F_1} (R_1 : R_2)$:

$$\begin{array}{lll} \frac{F_2}{F_1} & \text{для } u = 2,1 & \frac{F_3}{F_2} & \text{для } u = 3,6 \\ & \text{для } o = 1,83 & & \text{для } o = 2,2 \\ & \text{для } e = 7,1 & & \text{для } e = 1,3 \\ & \text{для } i = 10,7 & & \text{для } i = 1,3 \end{array} \quad \frac{F_3}{F_1} : \frac{F_3}{F_2} \quad \begin{array}{l} \text{для } u = 2,1/3,6 \\ \text{для } o = 1,83/2,2 \\ \text{для } e = 7,1/1,3 \\ \text{для } i = 10,7/1,3 \end{array}$$

Акустические дифференциальные признаки однотипны, т. е. они могут быть использованы для характеристики любого языка. В этом нетрудно

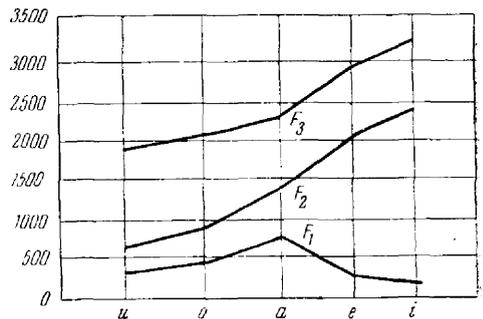


Схема 1

Форманты \ Гласные	Форманты		
	F_1	F_2	F_3
<i>u</i>	300	625	2500
<i>o</i>	535	780	2500
<i>a</i>	700	1080	2600
<i>e</i>	440	1800	2550
<i>i</i>	240	2250	3200
<i>ы</i>	300	1480	2230

Данные Г. Фанта

убедиться, если сопоставить, например, акустические характеристики грузинского и русского языков. Так, на схеме 2 приводятся формантные характеристики русских гласных, составленные на основе данных Г. Фанта¹¹.

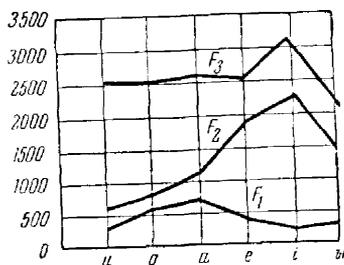


Схема 2

Из расположения формант видно, что эта схема очень похожа на схему 1 грузинских гласных, отличаясь от последней лишь отклонениями абсолютных величин отдельных формант.

Для гласных русского языка рассматриваемые дифференциальные признаки, так же как и для грузинских гласных, могут быть по описанному выше методу выражены в данных формантных характеристик. Результаты

анализа даны в виде графика (схема 3), составленного на основе абсолютных величин F_1 и F_2 .

Как видно из схемы, этот график изоморфен традиционному треугольнику гласных и, следовательно, может быть использован для характеристики любого языка, относящегося к двухклассной треугольной системе. Именно в возможности однотипной характеристики звуков различных языков и заключается универсальность дифференциальных признаков. Эта универсальность акустических характеристик звуков совершенно аналогична универсальности артикуляционной классификации гласных.

Очевидно, что из акустических характеристик звуков, так же как и из традиционного треугольника гласных, никак нельзя определить релевантность дифференциального признака в том или ином языке. Для того чтобы каждый из дифференциальных признаков стал таковым, нужно, чтобы слушающий воспринял и подтвердил его различительную функцию, т. е. необходим перцептивный анализ.

Воспринимаемый признак, слушающий должен выбирать либо между «наличием или отсутствием определенного качества, либо между двумя полярными качествами одной и той же категории»¹². Так, например, различие фонем по F_2 (признак «высокая тональность — низкая тональность») слушающий воспринимает как различие в высоте звука, а различие фонем по F_1 (признак «компактность — диффузность») — как различие в степени sonorности звука.

Перцептивный анализ, в свою очередь, предполагает анализ лингвистический. Для того чтобы слушающий мог сделать названный выбор, надо поставить его перед соответствующей альтернативой, т. е. употребить звук в определенной позиции; лингвистический анализ и строится на системе оппозиций. Не случайно, что авторы «Preliminaries» вслед за Трубецким определяют дифференциальный признак «как выбор между двумя оппозициями» (стр. 3) и отмечают, что в его характеристике лингвистический аспект является ведущим (стр. 11).

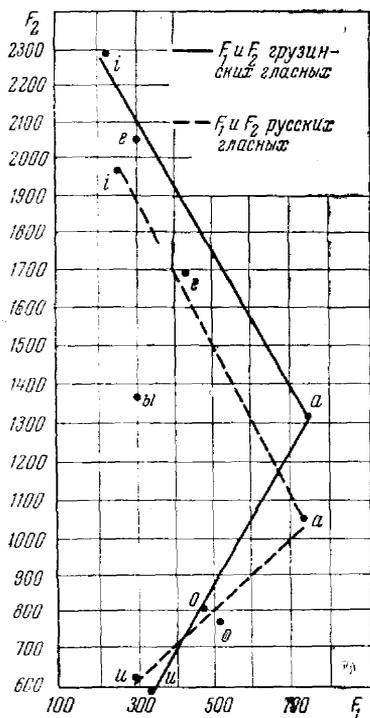


Схема 3

¹¹ G. Fant, указ. соч., стр. 190.

¹² R. Jakobson, C. G. M. Fant, M. Halle, указ. соч., стр. 3.

Посмотрим теперь, каким образом используется акустическая характеристика дифференциальных признаков у Р. Г. Пиотровского. Продолжая развивать мысль о функциональной зависимости трех рассматриваемых пар дифференциальных признаков, т. е. мысль о возможности идентификации фонем исключительно по их компактно-диффузной характеристике, Р. Г. Пиотровский раскрывает при использовании данных спектрального анализа конкретное содержание выявленной функциональной зависимости, полагая, что компактность C является функцией, а бемольность b и тональность T аргументами функций: $C = f(b)$ и $C = f(T)$. Для доказательства усматриваемой функциональной зависимости сопоставляются спектральные инварианты и дифференциальные признаки.

Основываясь на том, что спектральный анализ является анализом «акустико-фонологическим», Р. Г. Пиотровский естественно допускает, что все три различительных признака в спектре гласных представлены всегда. Соответственно, по его мнению, оказывается возможным определить, исходя из величин формант, реальное содержание каждого из признаков, которым и становится определенное числовое выражение, полученное в результате математических расчетов. В качестве примера рассмотрим анализ дифференциальных признаков, проделанный Р. Г. Пиотровским на материале русского языка.

Основываясь на данных М. Халле о формантной структуре гласных, употребленных после твердого и мягкого согласного, Р. Г. Пиотровский по величинам F_1 и F_2 определяет признаки: «компактность — диффузность», «бемольная тональность — простая тональность», «высокая тональность — низкая тональность» (см. часть таблицы с этими расчетами).

Таблица 2

Гласные и их комбинация-признака	$\frac{F_{1D}+F_{1I}}{2}$	$\frac{F_{2D}+F_{2I}}{2}$	$\frac{F_{3D}+F_{3I}}{3}$	$F_{2cp.}$	$C \cdot 10^3$	$b \cdot 10^3$	$T \cdot 10^3$
[(п) ы] орф. ны	$\frac{200+300}{2} = 250$	$\frac{1475+1700}{2} \approx 1587$	$\frac{2125+2300}{2} \approx 2212$	1800	736	112	652
[(п) а] орф. па	$\frac{700+750}{2} = 725$	$\frac{1250+1250}{2} = 1250$	$\frac{2200+2200}{2} = 2200$	1419	905	107	58
[(п') и] орф. ни	$\frac{150+175}{2} \approx 162$	$\frac{2150+2100}{2} \approx 2125$	$\frac{3000+2800}{2} \approx 2900$	2563	642	111	979
[(п') э] орф. ня	$\frac{700+800}{2} = 750$	$\frac{1375+1450}{2} \approx 1412$	$\frac{2250+2200}{2} = 2225$	1595	900	106	78

Из табл. 2 видно, что каждый дифференциальный признак имеет свое реальное математическое выражение. Так, например, в слове *ны* компактность $C \cdot 10^3 = 736$, бемольная тональность $b \cdot 10^3 = 112$, простая тональность $(T \cdot 10^3) = 652$ и т. д. Абсурдность этих расчетов очевидна. В самом деле, если считать, что реальность различительного признака определяется не его лингвистической функцией, а определенным математическим выражением, то придется допустить, что в таких оппозициях, как, например, *ны*—*ни*, *па*—*пя*, *пу*—*пю*, дистинктивными являются одновременно все три пары рассматриваемых признаков. Однако это допущение не отражает языковой действительности русского языка, ибо единственным релевантным признаком в этих противопоставлениях является палатализация (в акустической терминологии это признак «двезная тональность — простая тональность»).

Р. Г. Пиотровский придерживается иного мнения: полагая, что математическое выражение и есть реальность различительного признака, он считает, что во всех приведенных выше слогах ими являются одновремен-

но «компактность — диффузность», «бемольная тональность — простая тональность», «высокая тональность — низкая тональность». Используя полученные таким образом данные, Р. Г. Пиотровский строит графики функциональной зависимости $C = f(b)$ и $C = f(T)$ для всех рассматриваемых языков. На основе анализа графиков делается вывод о том, что «между акустическими инвариантами гласных, передающими дифференциальные признаки „компактность — диффузность“, с одной стороны, и „бемольная тональность — простая тональность“ — с другой, существует прямая зависимость. Это означает, что лабиализация гласного влечет за собой повышение его компактности»¹³. Этот вывод является следствием неверной предпосылки о возможности рассмотрения спектрального анализа как анализа «акустико-фонологического»; он возможен лишь в том случае, если допустить, что форманты, которые всегда имеются в характеристике каждого гласного, репрезентируют дифференциальный признак безусловно к возможности его противоположения в языке.

Вместе с тем некоторые расчеты спектральных параметров гласных, приводимые Р. Г. Пиотровским, как будто бы подтверждают высказанную им мысль о функциональной зависимости дифференциальных признаков, ибо действительно в ряде случаев a оказывается более компактным, чем a ¹⁴. Однако это никак не соответствует общепринятой акустической характеристике гласного a , по которой он является максимально компактным. Причины подобного несоответствия становятся ясными при анализе тех изменений, которые Р. Г. Пиотровский вносит в методику спектрального анализа при определении степени компактности гласных. Степень компактности определяется им из отношения логарифмов абсолютных величин первой и второй формант: $C = \frac{\lg F_1}{\lg F_2}$. Между тем из основных предпосылок использования спектрального анализа в лингвистических целях является необходимость четкого разграничения акустических характеристик дифференциальных признаков. Возможность выражения дифференциальных признаков «компактность — диффузность» и «высокая тональность — низкая тональность» независимыми акустическими характеристиками достигается измерением различных величин: «компактность — диффузность» определяется по величине F_1 , а «высокая тональность — низкая тональность» по величине F_2 . Именно этот метод наиболее пригоден для лингвистических целей¹⁵.

При рассмотрении изменений, вносимых Р. Г. Пиотровским в описанную ранее методику спектрального анализа, оказывается, что признак «компактность — диффузность» следует определять из отношения $\frac{\lg F_1}{\lg F_2}$, в котором этот признак утрачивает свою независимую акустическую характеристику и ставится в зависимость от признака «высокая тональность — низкая тональность».

Внесенные изменения никак не отражают реальной картины спектра. В этом нетрудно убедиться, если рассчитать по методу Р. Г. Пиотровского характеристики грузинских гласных и сопоставить результаты с характеристиками, полученными общепринятым методом. Ср:

$$\begin{array}{rcl}
 u = 880 & & u = 275 \\
 o = 800 & & o = 480 \\
 C = \frac{\lg F_1}{\lg F_2} \quad a = 850 & C = f(F_1) & a = 730 \\
 & & e = 300 \\
 & & i = 225
 \end{array}$$

¹³ Р. Г. Пиотровский, указ. соч., стр. 30.

¹⁴ Ср., например, расчеты по спектральным параметрам английских гласных, приведенные на стр. 37 статьи Р. Г. Пиотровского.

¹⁵ Ср. G. Fant, указ. соч., стр. 287.

Различие в определении степени компактности звука здесь достаточно значительно: если следовать методу Р. Г. Пиотровского, то звук *и* оказывается более компактным, чем *а*. Аналогичные результаты дает и сопоставление расчетов по степени компактности гласных других языков. Ср., например, спектральную параметризацию английских гласных по Джоунзу, где уже по величине F_1 видно, что *а* более компактно, чем *э* (для *а* $F_1 = 625$, для *э* $F_1 = 522$), и расчеты Пиотровского, по которым получается обратная картина ($C \cdot 10^3$ для *а* = 900, $C \cdot 10^3$ для *э* = 915) (стр. 37).

Основываясь на подобных расчетах, Р. Г. Пиотровский и делает вывод о том, что «во всех приведенных языках *и* по числовой величине его компактности должно быть отнесено не к диффузным, но к диффузно-компактным звукам. Аналогичным образом *о* благодаря своей лабиализации оказывается иногда более компактным звуком, чем *а*» (стр. 35). Вряд ли подобный вывод отражает реальные акустические характеристики звуков.

Сомнительно также, возможно ли всерьез принять заключительное положение Р. Г. Пиотровского о том, что «строго фонологическая (функционально-семиотическая) параметризация системы гласных дает иные результаты, чем фонетическая (спектральная, акустическая) параметризация той же системы» (стр. 35), иллюстрируемое им на примере гласных французского языка. Причины несовпадения этой параметризации становятся ясными при сопоставлении характеристики гласных французского языка, предлагаемой, с одной стороны, Н. С. Трубецким и авторами «Preliminaries», с другой — Р. Г. Пиотровским. Как известно, французский язык является такой системой, где три тембровых класса противостоят друг другу как равноправные члены оппозиции. «... нет никаких оснований допускать тесную связь „среднего“ тембрового класса с одним из „крайних“ тембровых классов», пишет Н. С. Трубецкой¹⁶. Аналогичного мнения придерживаются и авторы «Preliminaries», полагая, что во французском языке следует различать два класса высокотональных гласных, которые противопоставляются друг другу по бемольной тональности, и один оптимальный класс низкотональных гласных¹⁷.

Р. Г. Пиотровский придерживается иной точки зрения, полагая, что при строго фонологическом анализе следует поступить как раз наоборот: он соединяет «средний» тембровый класс с двумя «крайними» тембровыми классами и соответственно характеризует «средний класс» как класс «высоко- и низкотональных гласных» (стр. 26); при спектральном анализе Пиотровский считает возможным изменить характеристику звука *и* по степени раствора и классифицирует этот звук как «диффузно-компактный» (стр. 34). Вполне естественно, что такая параметризация дает и иные результаты¹⁸. Как видим, и этот вывод возможен только в результате произвольного обращения с фонологическими системами различных языков и с методикой определения акустических параметров различных признаков.

Спектральный анализ, безусловно, является новым этапом фонетических исследований. Фонология вправе на него опираться. Но один спектральный анализ не исчерпывает сущности такого весьма сложного явления, как фонема. Ее изучение возможно только при учете всех аспектов звуков речи в их взаимосвязи и взаимодействии.

¹⁶ Н. С. Трубецкой, указ. соч., стр. 116—117.

¹⁷ R. Jakobson, C. G. M. Fant, M. Halle, указ. соч., стр. 35.

¹⁸ Мысль о различных результатах фонологической и фонетической параметризации французских гласных была высказана и развита Р. Г. Пиотровским в докладе «Фонология и спектральный анализ звуков речи», который был заслушан в декабре 1959 г. в Москве в 1-м МГПИИЯ на симпозиуме по методам спектрального анализа звуков речи. А. А. Реформатский, П. С. Кузнецов, В. И. Григорьев, выступавшие по докладу Р. Г. Пиотровского, еще тогда высказали свои сомнения по этому вопросу. Материалы симпозиума по методам спектрального анализа звуков речи см. ВЯ, 1960, 3, стр. 147—149.

И. И. РЕВЗИН, В. Ю. РОЗЕНЦВЕЙГ

К ОБОСНОВАНИЮ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ПЕРЕВОДА

Можно ли в терминах современной лингвистики описать то, что происходит при переводе текстов с одного языка на другой? Потребность в такого рода описании диктуется не только практикой перевода (в том числе и машинного), методикой обучения иностранным языкам, но и внутренними потребностями лингвистики¹. Попытка лингвистического решения основных понятий теории перевода была предпринята в последние годы А. В. Федоровым². Нам представляется, однако, что в работах А. В. Федорова именно вопрос об обосновании лингвистической теории перевода поставлен недостаточно четко.

В настоящей статье будет предложен подход к теории перевода, позволяющий, как нам кажется, построить в лингвистических терминах теорию, достаточно общую и вместе с тем отвечающую разнообразным потребностям практики.

Предмет лингвистической теории перевода

Лингвистическая теория перевода не мыслится нами как нормативная, главной целью которой являлось бы установление результата процесса перевода и стремление выработать некоторые критерии оценки его качества³. К лингвистической теории перевода мы подходим как к теоретической дисциплине, призванной описать процесс перевода⁴.

Если нормативную теорию перевода в первую очередь интересуют такие вопросы, как переводимость и мера точности перевода, то для соответствующей теоретической дисциплины исследование этих вопросов может явиться не исходным пунктом, а лишь завершающим этапом. По-видимому, к строго лингвистическому исследованию этих вопросов можно будет приступать лишь тогда, когда будет выяснен основной круг исходных понятий и установлены отношения между ними.

Наука, описывающая процесс перевода, не может строиться эмпирически на основе сопоставительного анализа оригиналов и их переводов.

¹ Ср. следующее высказывание Дж. Фёрфа: «Место перевода в лингвистике не было изучено должным образом... Знаем ли мы, как мы переводим? Знаем ли мы более того, что мы переводим? Если бы мы на эти вопросы могли дать ответ в терминах науки, мы подошли бы к формулировке новой, более ясной теории языка...» (J. R. Firth, *Linguistic analysis and translation*, сб. «For Roman Jakobson», The Hague, 1956, стр. 139).

² См. А. В. Федоров, *Введение в теорию перевода*, М., 1958.

³ Ср. нормативный подход к теории перевода в следующей формулировке А. В. Федорова: «Задача теории перевода— ... обобщать в свете научных данных выводы из наблюдений над отдельными частными случаями перевода и помогать переводческой практике, которая могла бы руководствоваться ею в поисках нужных средств выражения и черпать в ней доводы и доказательства в пользу определенного решения конкретных вопросов» (указ. соч., стр. 15).

⁴ Противопоставление нормативного и теоретического подходов к переводу намечено в работе З. Клеменевича (см. Z. Klemsiewicz, *Przekład jako zagadnienie językoznawstwa*, сб. «O sztuce tłumaczenia», Wrocław, 1955, стр. 86). Ср. также А. М. Пешковский, *Объективная и нормативная точки зрения на язык*, в кн.: В. А. Звегинцев, *История языкознания XIX и XX вв.*, ч. II, стр. 231—242.

Нельзя построить никакой теории, исходя только из того, что данное явление (лексическое, грамматическое и т. п.) переводится на другой язык тем или иным способом. Вообще, чисто индуктивным способом нельзя построить никакое лингвистическое исследование, поскольку множество актов речи бесконечно.

Даже в пределах лингвистической теории мы не ставим себе задачи описать явления перевода всесторонне, во всей их сложности⁵. Мы не будем исходить непосредственно из практики перевода (тем более художественного перевода, как это сделано при определении основных понятий в цитируемой выше книге А. В. Федорова). Лингвистическую теорию перевода, как нам представляется, следует строить дедуктивно, исходя из лингвистического анализа акта коммуникации. Разумеется, такое описание перевода будет неполным, но оно может быть сопоставлено со сложным процессом, имеющим место в действительности, при условии, конечно, что элементы и отношения, описанные в упрощенной ситуации, соответствуют элементам и отношениям, существующим в переводе. Мы мыслим себе, таким образом, эту теорию как модель, отображающую некоторые существенно важные стороны реального процесса (при этом, конечно, ясно, что никакое описание не исчерпывает предмет).

Процесс перевода с лингвистической точки зрения

Мы исходим из обычного представления акта речи как процесса передачи сообщения от отправителя к адресату⁶. В таких терминах можно описать две принципиально разные ситуации, имеющие место на практике.

1. Имеется отправитель *А*, адресат *Б*, но поскольку *А* и *Б* пользуются разными системами языка, в акт коммуникации включается переводчик *П*, который одновременно является адресатом по отношению к *А* и отправителем по отношению к *Б*. *А*, пользуясь некоторой системой языка (назовем этот язык *ИЯ*), передает сообщение *С*₁ о некотором отрезке действительности *Д*₁. Переводчик, пользуясь системой *ИЯ*, соотносит *С*₁ с *Д*₁, затем, пользуясь новой системой языка (назовем этот язык *ПЯ*⁷), он строит новое сообщение *С*₂ о той же самой действительности *Д*₁ и это сообщение *С*₂ принимается адресатом *Б*, который, в свою очередь, пользуясь системой *ПЯ*, устанавливает соответствие между *С*₂ и *Д*₁ (см. схему 1).

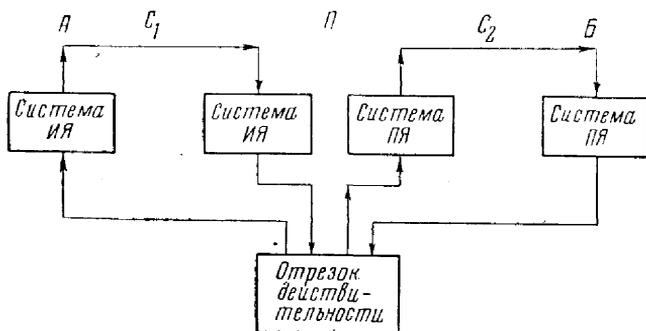


Схема 1

⁵ Хотя мы и не согласны с положением А. А. Реформатского, что наука о переводе принципиально невозможна (см. его статью «Лингвистические вопросы перевода» в журн. «Ип. яз. в шк.», 1952, 6), мы находим убедительным его замечание о том, что нельзя привести к общему знаменателю столь разные явления, как научный перевод, стихотворный перевод, составление разговорников и т. д.

⁶ См. К. Bühler, Sprachtheorie, Jena, 1934; см. также R. Jakobson, M. Halle, Fundamentals of language, 's-Gravenhage, 1956.

⁷ Термины *ИЯ* — «исходный язык», *ПЯ* — «переводящий язык» введены для перевода терминов англ. «source language», франц. «langue de départ» и англ. «target language», франц. «langue d'arrivée».

Иначе говоря, процесс выглядит так: «переводчик» воспринял некоторую речевую последовательность, от этой последовательности он переходит к действительности, рассматривает эту действительность, затем (вне зависимости от того сообщения, которое ему было передано, а только имея в виду данную действительность) сообщает об этой действительности другому лицу.

2. А передает некоторое сообщение C_1 о действительности D_1 , как и в первом случае, но Π , получив сообщение C_1 , переходит от него не к действительности, но только к системе языка $ИЯ$, и непосредственно устанавливает соответствие между элементами системы $ИЯ$ и некоторыми элементами системы $ПЯ$. С помощью $ПЯ$ он формирует сообщение C_2 , которое и информирует адресата о действительности D_1 (см. схему 2).

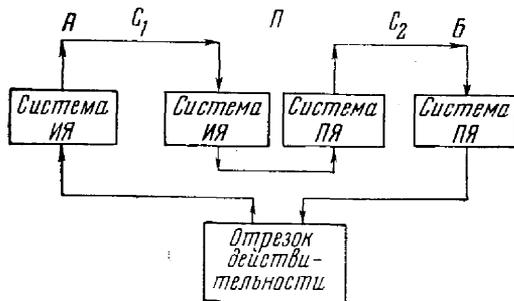


Схема 2

Вторая ситуация, как видно, является вариантом первой с тем существенным отличием, что процесс происходит без непосредственного обращения Π к действительности. Переход от одной системы языка к другой осуществляется по заранее установленной системе соответствий. Разумеется, когда эта система соответствий устанавливалась, то учитывалась та действительность, которую отражают соответствующие категории в том и другом языке. Чрезвычайно важно, однако, что это факт прошлого, а не самого процесса, рассматриваемого нами.

Процесс по схеме 1 мы будем называть интерпретацией, а процесс по схеме 2 — переводом. И то и другое имеет место в деятельности переводчиков; интерпретация чаще всего встречается при переводе художественной литературы, где ставится цель воссоздания действительности, выраженной в подлиннике, а перевод (в определенном выше смысле) четко прослеживается, например, в деятельности синхронных переводчиков. Однако перевод характерен для всех видов переводческой деятельности в обычном смысле слова, где задача состоит в замещении сообщения на одном языке к сообщением на другом.

Конечно, охарактеризованные здесь понятия в чистом виде вряд ли встречаются на практике. Так, в любом виде нехудожественного перевода, включая даже синхронный, возможны моменты, когда необходима интерпретация, т. е. обращение к действительности для нахождения соответствия, не предусмотренного правилами. С другой стороны, в художественном переводе вполне возможны закономерные соответствия, заранее установленные словарем и грамматикой, т. е. перевод в описанном выше смысле. Дело, однако, в том, что художественный перевод есть преимущественно акт творчества, воссоздание эстетически равноценного произведения, в то время как перевод нехудожественный стремится к автоматизму речи⁸.

⁸ Имеется в виду автоматизм, который характерен для человека, свободно переходящего от одного языка (родного) к другому. В этой связи полезно учесть мысль Л. В. Щербы о двуязычии (см. его работу «О понятии смешения языков», в кн. Л. В. Щерба, Избр. работы по языкознанию и фонетике, I, Л., 1958).

Из сказанного ясно, что в лингвистической теории перевода целесообразно изучать именно перевод. Таким образом, перевод как объект лингвистической теории перевода мыслится нами как процесс, при котором имеет место переход от одного сообщения, т. е. последовательности сигналов на одном языке, к другому сообщению, т. е. последовательности сигналов на другом языке, но заранее установленным соответствиями между системами двух языков (под «заранее установленными соответствиями» в этом определении понимаются соответствия, установленные путем соотнесения с действительностью).

Значение схемы 2, между прочим, в следующем. Пусть *ИЯ* совпадает с *ПЯ* (т. е. является тем же самым языком). Тогда наша схема описывает преобразование текста внутри языка, именуемое *т р а н с ф о р м а ц и е й*. Трансформационный анализ, получивший значительное распространение в последние годы, в сущности является методом анализа текста по некоторым заданным правилам перевода внутри языка.

Итак, мы определили перевод как *п р е о б р а з о в а н и е* сообщения. При всяком преобразовании всегда встает вопрос о том, что остается неизменным в процессе преобразования, или, как принято говорить в точных науках, об *и н в а р и а н т е* преобразования.

Интуитивно всегда сознавалось, что инвариантом при переводе должен быть *с м ы с л* (ср. в этой связи обычное требование «переводить не слова, а смысл» и т. п.). Дело, однако, в том, что понятие «смысл» с большим трудом поддается точному определению.

Первая трудность состоит в том, что смысл не всегда однозначно соответствует обозначаемому данным сообщением отрезку действительности (или референту). Как известно, необходимо различать *с о о б щ е н и е*, *р е ф е р е н т* (или денотат) сообщения и *с м ы с л* сообщения. Например, сообщения: *Вальтер Скотт и автор Беверлея* имеют тот же референт, но разный смысл⁹.

Заметим, что при интерпретации (схема 1) соответствие устанавливается через референт (отрезок действительности). Тожество смысла, вообще говоря, не требуется. Действительно, на практике известны случаи, когда при интерпретации референт остается тем же самым, в то время как смысл меняется. В работах по теории перевода эти случаи обычно описываются при рассмотрении способов достижения полноценного перевода¹⁰.

Что же касается процесса перевода (схема 2), то здесь несовпадение смыслов при одинаковом референте исключается. Референт вообще не участвует в схеме, а соответствие устанавливается между категориями двух систем именно так, чтобы обеспечить инвариантность смысла. Это особенно важно по следующему соображению. Интуитивное понятие смысла лучше всего определить именно через перевод. Интересно, что так и поступают в тех научных исследованиях, которые стремятся к максимальной точности¹¹.

В процессе перевода, как и в любом акте коммуникации, выделяются два принципиально различных аспекта: *а н а л и з* и *с и н т е з*. На важность выделения этих аспектов слушания (анализ) и говорения (синтез) указал Р. Якобсон. В совершенно другой связи (в связи с методикой пре-

⁹ Ср. А. Черч, Введение в математическую логику, I, М., 1960, стр. 18.

¹⁰ См. Я. И. Рецкер, О закономерных соответствиях при переводе на родной язык, сб. «Теория и методика учебного перевода», М., 1950, стр. 176, 177. Ср. там же многочисленные примеры логического развития понятия при переводе, сочетания творческих приемов и т. п.

¹¹ Ср. следующее определение, данное А. Черчем: «Смысл предложения можно описать как то, что бывает усвоено, когда понято предложение, или как то, что имеют общего два предложения в различных языках, если они правильно переводят друг друга» (указ. соч., стр. 31—32).

подавания иностранных языков) Л. В. Щерба говорил о принципиальном различии в построении грамматики в зависимости от того, направлена ли она на активное овладение языком («синтез» в наших терминах) или на пассивное («анализ») ¹².

Основная задача при анализе состоит в выделении тех единиц, на которые распадается анализируемое сообщение с точки зрения перевода ¹³. Возникает мысль о принятии слова в качестве такой единицы. Были выдвинуты, однако, серьезные возражения против принятия слова в качестве единицы перевода. Из них, по-видимому, наиболее интересным является следующее.

«Главная причина, по которой мы не можем принять слово как единицу (имеется в виду „единицу перевода“), в том, что в слове не выступает достаточно ясно двойственная природа знака, причем означающее выдвигается на первый план за счет означаемого» ¹⁴. Дело, однако, еще и в том, что преобразованный в процессе анализа текст целесообразно представлять себе состоящим не из слов, а в виде линейной цепочки лексем и граммем, каждая из которых отдельно выражает некоторое значение. В качестве единицы перевода целесообразно выделить минимальный набор лексем или граммем, который можно поставить в соответствие с некоторой лексической или грамматической категорией *ПЯ*. Иначе говоря, мы предлагаем определять единицы перевода относительно языка, на который делается перевод ¹⁵. Заметим, однако, что это определение дает нам возможность выделить единицу, не зависящую от некоторого конкретного *ПЯ*, поскольку единицы перевода можно раз и навсегда определить относительно трансформации, т. е. перевода внутри языка. Назовем теперь эквивалентом некоторую совокупность лексем или граммем в *ПЯ*, соответствующую единице перевода в *ИЯ*.

Надо отметить, что изложенная здесь теория представляет некоторую модель и что вполне мыслима модель, построенная на совершенно иных, но тоже лингвистических основаниях и столь же хорошо описывающая процесс перевода ¹⁶. В частности, мыслима модель, в которой процесс анализа идет значительно дальше. А именно: не только грамматические значения некоторого элемента представлены как разъединенные граммемы, но и лексемы, в свою очередь, разложены на совокупность отдельных дифференциальных признаков или сем ¹⁷.

Процесс перевода при таком моделировании языка будет описываться следующим образом: выделив дифференциальные признаки, соответствующие каждому отрезку текста (лексическая или грамматическая морфема), т. е. производя анализ сообщения, мы переходим к синтезу — подбираем в переводящем языке такие эквиваленты, которым соответ-

¹² Л. В. Щерба, Преподавание иностранных языков в средней школе. Общие вопросы методики, М., 1947. Ср. различие между «морфологией и синтаксисом» у О. Есперсена (см. его «Философию грамматики», М., 1958, стр. 46) и проводимое Матезиусом выделение аспектов «языковой дешифровки» и «языковой стилизации» (V. M a t h e s i u s, Obsahový rozbor současné angličtiny na základě obecně lingvistickém, Praha, 1961, стр. 10—13).

¹³ Интересно описание единиц перевода в зависимости от типа анализа в работе Т. М. Николаевой («Структура алгоритма грамматического анализа», «Машинный перевод и прикладная лингвистика», 1961, 5, стр. 27—28).

¹⁴ J.-P. V i n a y, J. D a r b e l n e t, Stylistique comparée du français et de l'anglais. Méthode de traduction, Paris, 1958, стр. 37.

¹⁵ Ср. определение идиоматичности по отношению к некоторому языку, предложенное И. А. Мельчуком («О терминах „устойчивость“ и „идиоматичность“», ВЯ, 1960, 4).

¹⁶ Возможность одинаково хорошо описывать одно и то же явление разными моделями неоднократно отмечалась в лингвистике; ср., например, Y u e n - R e n C h a o, The non-uniqueness of phonemic solutions of phonetic systems, сб. «Readings in linguistics. The development of descriptive linguistics in America since 1925», ed. by M. Joos, 2-nd. ed., New York, 1958, стр. 38 и сл.

¹⁷ См. В я ч. В. И в а н о в, Понятие нейтрализации в морфологии и лексике, «Бюлл. объединения по проблемам машинного перевода», 5, М., 1957.

ствуют множества (пучки) дифференциальных признаков, максимально совпадающие с признаками, полученными в результате анализа. Такое описание легко моделирует грамматические преобразования при переводе. Это и понятно: дифференциальные признаки грамматических категорий — их сравнительно немного — поддаются точному определению. Этого нельзя пока что сказать о лексических категориях. Предпринимаемые в последнее время попытки выделить так называемые семантические множители представляют большой интерес для теории перевода¹⁸. Эта работа, однако, еще находится в начальной стадии, и потому трудно с точностью сказать, как будет работать эта модель, т. е. насколько она поможет уточнить основные понятия теории перевода. Ограничимся поэтому здесь рассмотрением другой, более простой модели.

Типы реализации процесса перевода

В теории перевода издавна рассматриваются такие понятия, как «буквальный», «адекватный», «вольный» перевод и т. п. Эти понятия не построены по единому критерию: с одной стороны, они обозначают явления языковые (соответствие или несоответствие того или иного элемента *ИЯ* элементу *ИЯ*), с другой — явления художественные (соответствие или несоответствие образа, жанровых или индивидуальных особенностей и т. п.). При построении более строгой теории эти понятия хотелось бы заменить более точными.

Перед тем как перейти к изложению этих новых понятий, полезно будет, однако, выяснить, какой смысл вкладывался традиционно в термины «буквальный», «адекватный», «вольный» перевод, с тем, чтобы попытаться сохранить то ценное с лингвистической точки зрения, что в них содержалось. Мы будем исходить из анализа термина «буквальный перевод», поскольку в него чаще вкладывался лингвистический смысл.

Термин «буквальный перевод» употребляется многозначно:

1. Он обозначает «чужезычность» перевода, т. е. перенос поэтических, жанровых, индивидуальных особенностей оригинала литературно-художественного текста, противоречащих эстетическим нормам литературы, к которой приобщается переводимое произведение. В этом смысле термин «буквальный перевод» противопоставлен так называемому «склонению на свои нравы», т. е. такому переводу, при котором переводимое произведение приспособляется к нравам, обычаям и литературным традициям соответствующего народа. В дальнейшем это противопоставление, не изменив своей литературной сущности, вылилось в противопоставление буквального и вольного перевода.

2. Он обозначает поэментный перевод (пословный¹⁹, посинтагменный и т. п.). Иногда здесь говорят о «дословном переводе». В этом смысле термин «буквальный перевод», по-видимому, употребляется лишь для случая, когда поэментное соответствие установлено незакономерно, в нарушение определенных норм языка, стиля, жанра и т. п. Противопоставлен же он в этом значении термину «адекватный перевод», где под адекватным понимается перевод с учетом широкого контекста (обычно не только лингвистического).

Что же касается случая, когда поэментный перевод не противоречит никаким нормам, то термин «буквальный» здесь или совсем не употребляется или же употребляется, наряду с термином «дословный», лишь для случая, когда единицей перевода является лексема.

¹⁸ См. сб. «Essays on and in machine translation by the Cambridge language research unit», Cambridge, 1959 [ротацинт]. Ср. также А. К. Жолковский, Н. Н. Леонтьева, Ю. С. Мартеньянов, О принципиальном использовании смысла при машинном переводе, сб. «Машинный перевод» («Труды Ин-та точной механики и вычислительной техники АН СССР», 2), М., 1961, стр. 17—47 [ротацинт].

¹⁹ Термин «пословный перевод» (word-for-word translation) был введен в машинном переводе.

3. Он обозначает перевод слово в слово для случая, когда происходит перенос лексико-грамматических норм одного языка в другой и в этом, по-видимому, противопоставлен переводу грамотному, выполненному с учетом норм языка. Разумеется, все это не точные определения, а лишь приблизительные описания, являющиеся попыткой как-то уточнить существующие словоупотребления.

Теперь мы перейдем к введению некоторых терминов, уточняющих ряд из перечисленных выше. Эти термины будут описывать разные типы реализации основной схемы перевода в зависимости от характера тех заранее заданных соответствий, которые ею предполагаются. Прежде всего заметим следующее. Соответствия между знаками одной языковой системы и знаками другой системы могут быть взаимнооднозначными и не взаимнооднозначными²⁰. Введем теперь некоторое вспомогательное понятие, а именно понятие «суперкатегории».

Мы будем говорить, что две единицы перевода, из которых одна выделена в *ИЯ* относительно *ПЯ* и другая выделена в *ПЯ* относительно *ИЯ*, относятся к одной суперкатегории, если существуют такие подъязыки²¹ в *ПЯ* и *ИЯ*, что в них между данными единицами можно установить взаимнооднозначное соответствие, и к разным суперкатегориям, если такого соответствия установить нельзя. Например, нем. *Wandzeitung* и стенная газета принадлежат к одной суперкатегории, а *yum* и франц. *confort* к разным суперкатегориям.

Возьмем теперь два языка и выделим все единицы перевода относительно них. Каждая из единиц перевода принадлежит к какой-то суперкатегории, построенной на основании анализа соответствий между этими двумя языками. Некоторые суперкатегории включают единицы перевода двух языков, другие же включают единицы перевода только одного из двух языков. Мы получили два множества суперкатегорий, которые, вообще говоря, пересекаются (см. схему 3).

В заштрихованной части находятся суперкатегории, включающие единицы *ИЯ* и *ПЯ* или, иначе говоря, единицы, между которыми можно установить взаимнооднозначное соответствие.

Рассмотрим теперь процесс перевода с *ИЯ* на *ПЯ*. Возможны два принципиально различных типа перевода:

1. Элемент α входит в общую часть двух языков *ИЯ* и *ПЯ*, которую мы будем называть ядром по отношению к *ИЯ* и *ПЯ*. Поскольку в суперкатегорию элемента α входит некоторый элемент β (при этом между α и β установлено взаимнооднозначное соответствие), то переход от α к β является простым перекодированием. Такой перевод мы будем называть интерлинейарным. Частный вид интерлинейарного перевода, а именно случай, когда единицей перевода является лексема, представляет дословный перевод.

2. Элемент α не входит в общую часть двух языков *ИЯ* и *ПЯ*. Здесь положение сложнее и возможны три разных подтипа:

а) Процесс перевода осуществляется так, как будто элемент входит в общую часть двух языков, т. е. считается, что можно установить взаимнооднозначное соответствие между α и каким-то γ в *ПЯ*. Иначе говоря,

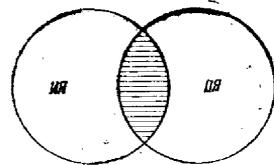


Схема 3

²⁰ Напомним, что предложенная нами модель рассматривается здесь применительно к лексическим единицам языка. Взаимнооднозначное соответствие может быть установлено, однако, и между граммемами. См. в этой связи понятие изограмматизма в статье: Zb. Golab, Some Arumanian-Macedonian isogrammatism and the social background of their development, «Word», XV, 3, 1960.

²¹ Под «подъязыком» здесь понимается минимальное множество слов и грамматических конструкций, необходимое для описания некоторой ограниченной предметной области. Эти конструкции можно представлять себе как ядерные предложения в трансформационной модели.

здесь расширяется система *ИЯ*: она дополняется рядом суперкатегорий из *ИЯ*. Такой перевод мы будем называть **б у к в а л ь н ы м**.

Примечание. Следовательно, разница между интерлинейрным (в частном случае дословным) и буквальным переводом состоит лишь в том, что в первом случае элемент действительно входит в общую часть двух языков, в то время как во втором случае элемент не входит в общую часть двух языков, но рассматривается как входящий в нее. Разница, стало быть, не в самом методе перевода, а в оценке того, что входит (или не входит) в систему данного языка. С этой точки зрения каждая калка первоначально обязана своим возникновением буквальному переводу, а затем, если она входит в систему языка, употребление ее должно рассматриваться как интерлинейрный (в частном случае дословный) перевод.

б) Процесс перевода осуществляется так, что элемент α заменяется внутри *ИЯ* каким-то элементом α^1 , который входит в заштрихованную часть, причем переход от α к α^1 есть некоторая трансформация (перевод внутри *ИЯ*). Затем устанавливается взаимнооднозначное соответствие между α^1 и β , которое входит в одну суперкатегорию с α^1 . Такой перевод мы будем называть **у п р о щ а ю щ и м**. Классическим примером упрощающего перевода является перевод с естественного языка на некоторый искусственный язык, например «язык символической логики». Фраза *Лев—хищный зверь* может быть трансформирована в пределах русского языка во фразу *Каждый, кто есть лев, есть хищный зверь* и далее: *Каждый предмет, если этот предмет лев, то он есть хищный зверь*. Эта фраза может быть поставлена во взаимнооднозначное соответствие с выражением символического языка ($\forall x$) (*лев* (x) \rightarrow *хищн* (x)), где $\forall x$ — квантор всеобщности, *лев* (x) и *хищн*(x) — соответствующие предикаты, а стрелка имеет значение «если... то». Подобная ситуация встречается при обычном переводе. Отличие этой схемы от предыдущей в том, что здесь исходный элемент не обязательно лежит в общей части двух языков. Иногда переводящий элемент выбирается не обязательно из общей части. Рассмотрим этот случай.

в) Процесс перевода происходит в начальной стадии так же, как в (а) или в (б), т. е. устанавливается соответствие непосредственно между α и β , если оба лежат в общей части или между α и α^1 , а затем между α^1 и β . Теперь уже внутри *ИЯ* выбираются все отрезки текста, в которые можно трансформировать β и устанавливается соответствие между исходной единицей перевода α и каким-то из рассмотренных эквивалентов $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$. Такой перевод мы будем называть **т о ч н ы м**.

г) Точный перевод, при котором выбор соответствия производится с учетом законов сцепления в *ИЯ* между данным эквивалентом и окружающими его отрезками (т. е. с учетом контекста в *ИЯ*), мы будем называть **а д е к в а т н ы м**²².

Легко заметить, что по этому определению всякий адекватный перевод является переводом точным. Обратное неверно. Что касается отношения интерлинейрного и точного перевода, то каждый интерлинейрный перевод является одновременно переводом точным. Интерлинейрный, в том числе дословный, перевод может быть адекватным лишь при условии, что соблюдаются законы сцепления, т. е. когда любой точный перевод становится адекватным.

Изложенная теория основана на допущении, что ядро в том смысле, как мы его, определили, включает то множество элементарных предложений, которое называется ядром в трансформационной грамматике. Представляется, что это допущение не противоречит фактам.

Теория перевода и теория языковых контактов

Лингвистическое описание процесса перевода и типов его реализации должно согласоваться с теорией языковых контактов. Эта связь прояв-

²² Под законами сцепления здесь имеются в виду свойственные каждому языку правила «синтактики» (термин В. В. Виноградова) текста. Относящиеся сюда явления до сих пор рассматриваются в разных дисциплинах, например в стилистике (вопросы архитектоники), в синтаксисе (вопросы актуального членения текста) и т. п.

ляется с двух сторон. Поскольку в основе процесса перевода, как он нами моделируется, лежит так называемая общая часть двух языков (совокупность общих суперкатегорий для двух языков), то при его описании необходимо учесть явления, относящиеся к формированию и развитию этой общей части в ходе языковых контактов. Из этих явлений особо выделяется калька и ее отношение к заимствованию. Очевидно, что чем больше лексико-грамматических единиц двух данных языков образовано по единому образцу, т. е., чем больше количество суперкатегорий, чем шире общая часть, тем легче осуществляется перевод текстов в пределах данных языков. Перевод при таком взаимном наложении единиц языков друг на друга сводится, как мы видели, к перекодированию, т. е. является интерлинейарным и, одновременно, адекватным переводом. Верно, разумеется, и обратное: при отсутствии длительных и регулярных языковых контактов, а, следовательно, общих суперкатегорий (в особенности калек), часто невозможно достичь адекватного перевода. Объем общей части двух языков по отношению ко всему переводящему языку имеет, таким образом, решающее значение для перевода. На связь теории перевода с теорией контактов впервые указал Л. В. Щерба²³. Важно учесть и замечание Л. В. Щербы о том, что в ходе языковых контактов и образования смешанного двуязычия происходит унификация семантических единиц двух языков, т. е. осуществляется единообразная категоризация действительности.

Есть и другая существенная сторона, связывающая теорию перевода с теорией языковых контактов. Как известно, механизм языковых контактов лингвистически полностью еще не выяснен. Собран значительный фактический материал²⁴, но нет еще удовлетворительной теории. Изучались главным образом типы языковых интерференций, т. е. отклонения от языковой нормы, возникающие при языковых контактах, в особенности при изучении иностранных языков. В последнее время заметна попытка создать теорию языковых контактов, которая описывала бы все относящиеся сюда явления с единой точки зрения²⁵, с учетом достижений этнографии.

Представляется возможным использовать предложенную нами схему процесса перевода для описания процесса языковых контактов. В самом деле, «наиболее глубокие языковые смещения объясняются не столько действительным смешением народов, сколько регулярными контактами в области культуры, в особенности литературы»²⁶. Причем Есперсен, говоря об этом взаимодействии, имеет в виду деятельность переводчиков.

В терминах лингвистической теории перевода образование единых семантических единиц в пределах двух языков (то, что Л. В. Щерба называл «языком с двумя терминами») и связанное с этим калькирование будет определяться как интерлинейарный перевод, в отличие от интерференции, которую мы можем интерпретировать как перевод буквальный. Процесс креолизации можно схематически представить как упрощающий перевод.

Разграничение дословного, буквального и упрощающего перевода как явлений, имеющих место при языковых контактах, нам представляется важным и для продолжения исследований Л. В. Щербы, касающихся научной разработки методики преподавания иностранных языков.

Заметим, что высказывающиеся в последнее время мнения о нецелесообразности использования перевода в обучении иностранным языкам основано на непонимании лингвистической природы языковых отношений.

Наконец, теория перевода, как и теория языковых контактов, есть лишь частная интерпретация более общей теории отношений языков во времени и пространстве, разработка которой намечается в последнее время.

²³ См. Л. В. Щерба, О понятии смещения языков, стр. 47—51.

²⁴ См. библиографию работ по языковым контактам в кн.: U. Weinreich, Languages in contact, New York, 1953 и E. Hagen, Bilingualism in the Americas, New York, 1956.

²⁵ См. E. Hagen, указ. соч.

²⁶ O. Jespersen, Die Sprache, Heidelberg, 1925, стр. 192.

ОБ ОБЩЕСЛАВЯНСКОМ ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ АТЛАСЕ *

В о п р о с № 5: «Что может дать для общеславянского атласа обследование неславянских территорий, где раньше существовало славянское население (например, румынской, венгерской), и как это обследование должно проводиться? В какой степени следует учитывать те явления славянских языков, которые связаны с фактами „языковых союзов“?»

При ответе на поставленный вопрос я ограничусь славянским материалом, относящимся к области, расположенной между рр. Заале и Нейсе (т. е. к Тюрингии, Саксонии с Верхней Лужицей, к южной части саксонской территории и к Нижней Лужице). Эту языковую область назовем «древнелужицкой», ибо для языка указанного района характерно типично лужицкое отражение отдельных праславянских звуков и звукосочетаний. Материал ономастики может служить для создания дополнительных лингвистических карт (на основе методов современной картографии); обычно такой материал дает возможность надежно локализовать определенные языковые явления. Однако на картах следует избегать соединительных линий между отдельными населенными пунктами, т. е. установления «границ», ибо топонимический материал слишком отрывочен, а топонимика вообще дает возможность получить лишь определенный срез исследуемого явления.

1. В рассматриваемой немецко-славянской языковой области при анализе топонимов следует опираться только на надежные значения. Имена собственные, которые либо могут иметь в равной степени как немецкое, так и славянское происхождение, либо могут допускать несколько этимологий, не должны приниматься во внимание. Например, в топониме *Lausnitz*, который, как известно, этимологически связан со слав. **Zužnica*, можно усматривать наличие, с одной стороны, элемента *lug* < *logъ*, а с другой — элемента *tuza*. Этот топоним, таким образом, нельзя принимать во внимание при рассмотрении деназализации *o* в *u* в древнелужицком. По возможности следует четко разграничивать немецкие и славянские фонетические явления. Топонимы типа *Graitschen* соотносятся со слав. *grad* (представленным в звуковом виде *trot*), а не с *grad* (как это можно заключить из написаний в языковых памятниках). Особого внимания с точки зрения картографии заслуживает тот факт, что многие топонимы являются производными от гидронимов (топоним *Ölsnitz*, например, связан с названием реки *Olešnica* и т. д.) и их вряд ли возможно поэтому считать только топонимами. Так, в северо-восточной Баварии есть целый ряд топонимов, образованных от полных имен при помощи посессивного суффикса *-j-* (например, *Skorogošč*, *L'ubogošč*), которые имеют отношение как к названиям местности, так и к названиям водоемов (так называемые «Raumnamen»).

2. Топонимика дает богатый материал для исторической фонетики. На основе этого материала можно составить дополнительные карты для славянского лингвистического атласа, отображающие важнейшие праславянские звуки и звукосочетания (например, назализованные гласные, слоговые плавные, сочетания *tert*, *telt*, *tort*, *tolt*, редуцированные гласные, протетические гласные и т. д.). Отражения слоговых плавных обнаруживают особые различия, в связи с чем необходимо и в этом случае по возмож-

* Продолжение публикации ответов на анкету, помещенную в № 5 за 1960 г. (стр. 45—46).

ности разграничивать отражения звуков в славянском и немецком (например, понижение *i* в *e* перед группой «*r* + согласный» в немецком в топонимах, основанных на именах, принадлежащих древнелужицкой группе *tift* : *wirb* → *werb*, но ср. н.-луж. *wjerba*, др.-луж. **wřba* < **wřba*). Древнелужицкий переход звуков *g* > *h* можно обнаружить за пределами Верхней Лужицы (к западу от нее) только в единичных примерах. В отношении таких имен, как *Horka* (к *horka* < *gorka*), следует заметить, что так же, как и в случаях типа *Kulm* < *chołm*, здесь вполне возможно заимствование нарицательных (а не топонимических) названий *gorka*, *chołm* из славянского. Такие заимствования активно использовались при образовании топонимов. Все это требует особого картографического обозначения.

3. При исследовании словообразования топонимов можно убедиться, что, как в других славянских языках, в древнелужицком словосложение было старым словообразовательным средством. Образованные путем словосложения названия местностей (особенно двухкомпонентные названия, данные по имени группы жителей, типа *Kosobody*, *Otěwěky*, *Seběkury*, *Žornosěky*), как и имена собственные (*Radogost*, *Želidrog* и т. д.), представлены в ономастике всей древнелужицкой области. Отдельные типы имен обнаруживают даже определенное распространение. В новое время, однако, словосложение перестает быть продуктивным и возобновляется как словообразовательное средство только под влиянием немецкого языка. Можно отметить некоторые важные особенности в строении имен собственных, например употребление частицы *Ni-* в ряде имен (ср. *Nidabud*, *Nidan*, *Nikrad*, *Nisvad* и т. д.), ставших топонимами. Написания в памятниках письменности недвусмысленно указывают на первоначальное *Ni-* в противоположность *Ne-* в других славянских языках: в имени *Neiden* (округ Torgau, в древности — *Nidan*, *Niden*) *i* превратилось в дифтонг *ei*. Эта дифтонгизация коснулась только древнего звука *i*, а не звуков, возникших в результате повышения из *e*. Хотя в ономастическом атласе, естественно, необходимо будет независимо от всего дать характеристику словообразовательных средств, для славянского лингвистического атласа изложенные факты также представляют большую важность.

4. Основой для создания лингвистических карт является изучение и обработка списков географических названий в древнелужицкой языковой области. Эту работу намечено провести в ближайшие годы. Первые пробные образцы данного труда можно, очевидно, будет представить V Международному съезду славистов в Софии: я имею в виду коллективный доклад Лейпцигской группы топонимистов, руководимой проф. Р. Фишером. Первые выводы содержатся в моей работе «*Studien zur Frühgeschichte der slawischen Mundarten zwischen Saale und Neiße*», Leipzig, 1961 (докт. диссерт., рукопись).

Э. Эйхлер (Лейпциг)

Перевод с немецкого

Участие в общеславянском атласе неславянских материалов представляется целесообразным и необходимым как в отношении неславянских языков с древним славянским субстратом, так и в отношении языков, которые в настоящее время соседствуют или сосуществуют со славянскими как особые лингвистические типы. Введение таких языков в атлас — конечно, в определенном и ограниченном объеме — будет полезно. Славянские языки не развивались и не развиваются в изоляции; в той или иной степени, особенно в пограничных районах или при значительных смещениях населения, они подвергаются иноязычным влияниям, воздействуя в свою очередь на неславянские языки. Отсутствие в атласе ряда румынских, венгерских, турецких, албанских пунктов было бы упрощением, которое во многом исказило бы обобщающий характер атласа. Заметим, что включение таких пунктов даже в одноязычный атлас не являет-

ся для славянской лингвистической географии чем-то новым: известно, что иноязычные пункты (лэмковские, словацкие, ляпские) имеются в лингвистическом атласе польского Прикарпатья; можно назвать также румынский лингвистический атлас.

Признав полезным обследование неславянских языковых территорий, мы оказываемся перед проблемой реализации этого постулата. Одинаковый подход к славянским и неславянским территориям тут едва ли возможен, и прежде всего это касается фонетических и семантических исследований — здесь они не нужны. Достаточно, пожалуй, ограничиться оставшимися разделами, изучение которых может внести определенную ясность в область языковых взаимоотношений. Конечно, вопрос этот очень сложный и требует особого рассмотрения. Равным образом основательно следует продумать степень охвата в атласе отдельных неславянских территорий. В зависимости от интенсивности языковых контактов в атлас будет включено большее или меньшее количество неславянских пунктов. Особенно остро выявится это в районе Балкан, где взаимное воздействие глубоко проникло в грамматическую структуру; для данной территории охват неславянских материалов должен быть особенно большим. Не исключено, что этот путь откроет возможности выяснения различных языковых особенностей так называемого балканского языкового союза; это имеет большое значение и для неславянских языков.

М. Карась (Краков)

Вопрос № 10: «Что могут дать материалы топонимики для общеславянского атласа? Как и в какой мере их следует использовать (учитывая, что создание топонимического славянского атласа — особое предприятие)?»

Топонимический материал, как уже указывалось в ответе на вопрос № 5, может быть использован в целях определения границ древнего расселения славян, а отчасти также для реконструкции диалектной дифференциации праславянского языка, однако при этом необходима крайняя осторожность. Топонимический материал не может ни в коем случае ставиться в атласе на тот же уровень, что и остальные материалы. В топонимике и в микротопонимике по большей части приходится иметь дело с явлениями реликтными, которые, будучи обособлены от остальной языковой системы, сохраняют древнее состояние, относящееся к совершенно иному хронологическому плану. Поэтому точное лингвогеографическое определение и последующая обработка топонимических данных, как бы велико ни было их значение для сравнительного изучения славянских языков, являются задачей специального славянского топонимического атласа.

В славянский лингвистический атлас включить топонимический материал можно было бы в крайнем случае в виде комментариев в тех случаях, когда содержащиеся в топонимических названиях реликтовые явления непосредственно связаны с инвентарем исследуемых в атласе явлений. Комментарии эти относились бы как к разделу фонетики, так и к разделу словообразования и лексики, в особенности же к последнему разделу — при установлении некоторых древних местных названий типа *niva*, *logъ* и их значений; ср. в связи с этим вид корня *gav-* в среднесловацких местных названиях типа *Ravňa*, *Raveň* и т. п., но *rov-* в именах нарицательных (*rovnyj*). Местами слово *lěsz* сохранилось в нижнелужицком только в местных названиях, а в значении «лес» употребляется слово *gola* и т. п. Только такого рода реликтовые явления из области топонимики и микротопонимики могут служить дополнением для атласа — в виде комментариев к соответствующим картам.

Чехословацкая диалектологическая комиссия (Прага)

Материалы топонимики могут быть полезны для общеславянского языкового атласа лишь в весьма ограниченной степени. Атлас должен по воз-

возможности учитывать только повторяющиеся на всей славянской территории языковые единицы, т. е. слова в основном общеславянские. Между тем топонимические факты имеют общеславянский характер исключительно редко. На всей славянской территории общеизвестны лишь названия крупных городов (ср. *Москва, Прага, Ленинград, Варшава, София* и под.), хотя и их распространенность не везде одинакова. Все же в ряде случаев их можно было бы использовать для морфологических целей. Обычно такого рода названия имеют характер заимствованных слов — ср., например, в чешском языке *Beograd, Zagreb, Vroclav* (последнее слово в настоящее время в чешском языке имеет характер заимствования, точно так же, как во время войны немецкое название *Breslau*). Такие воспринятые из другого языка слова очень удобны для установления тенденций морфологического развития. Например, в чешском языке формой местного падежа является почти исключительно *v Beogradu* — но ср. возможность чередования в собственном чешском *v Bělehradě*, реже *v Bělehradu*. Несмотря на то, что такие слова в собственной языковой среде не являются, естественно, заимствованиями, их можно использовать в морфологической части вопросника с примечанием о необходимости привести соответствующие надежные формы от *о б о и х* дублетов, «цитированного» (более нового) и «нецитированного» (старшего), если такие дублеты существуют. Затрудняет их использование, конечно, то, что воспринятые из другого языка слова не являются всенародным достоянием (они не принадлежат к активному словарному запасу всех пользующихся языком, всех слоев населения) и обычно не бывают строго общеславянскими.

Лишь на первый взгляд несколько лучше обстоит дело с фактами микротопонимики. Микротопонимика — естественный резервуар реликтов лексики, в качестве нарицательных имен существительных уже не существующих. Все же, однако, имеется некоторый слой микротопонимических названий, которые еще известны как нарицательные имена. Учитывая, конечно, только названия общеславянского распространения, в лексической части вопросника возможно охватить те из нарицательных имен, которые выступают так же, как микротопонимы (или же преимущественно как микротопонимы) — например *niva, nivka, lggъ, lqka (-ька)* и т. п. Однако картографирование ареалов микротопонимического использования таких имен нарицательных — задача топонимического атласа.

Факты топонимики (и еще больше микротопонимики), отражающие реликтовые явления, имеют вообще очень важное значение для исторической диалектологии. Вот несколько иллюстраций. Диалектные формы населенных пунктов *Určice* и *Alojzov* — *Hôrčice* и *Halózi* свидетельствуют о том, как протетическое *h-*, ныне в говоре этих пунктов (за исключением незначительных реликтов перед *δ-*) отсутствующее, было здесь прежде обычным явлением; форма *Halózi* позволяет датировать это явление еще концом XVIII в., когда деревня *Alojzov* была основана¹. Подобным же образом диалектные формы города *Olomouc* — *Holomóc* (приблизительно более восточная) и *Volomóc* (приблизительно более западная) свидетельствуют о старой конкуренции протетических *h-* и *v-* и о ее территориальном характере в прошлом². Старая, теперь уже, по-видимому, вымершая диалектная форма для населенного пункта *Juliánov* (теперь часть города Брно), а именно *Holijánov*, свидетельствует о конкуренции протетического *h-* даже с начальным непротетическим *j-*³. Все эти интересные факты могут занять свое место лишь в атласах отдельных славянских языков.

Ф. Ф. Копечный (Брно)

¹ См. Ф. К о р е ѐ н ý, *Nářečí Určice a okolí*, Прага, 1957.

² В области, где говорится *Holomóc*, протетического *h-* сейчас нет; еще 40 лет назад оно было в речи самого старшего поколения в положении перед *-o-* в слове *lojěra/lojěra* (церк. «жертвование»).

³ По крайней мере в положении, где *h-* еще лучше всего держится в говоре.

Участие топономастического материала в общеславянском лингвистическом атласе не кажется нам целесообразным и нужным. Во всяком случае, видеть в нем своего рода программное задание не стоит хотя бы потому, что к съезду славистов в Софии должны быть разработаны принципы и программа специального топонимического атласа. Отсюда отнюдь не следует, что надо вообще отказаться от каких бы то ни было топонимических элементов; к тому же достичь этого специально было бы просто трудно. Основные принципы атласа таковы, что в нем окажется целый ряд топографических терминов, например: *дорога, поле, гора* — в качестве иллюстраций к различным фонетическим и грамматическим явлениям. Потребность в топонимическом материале может возникнуть и в тех случаях, когда соответствующий праславянский корень в форме обычного слова в данном диалекте не сохранился, но имеется в топонимике. Например, в южных польских диалектах слово *rola* известно почти исключительно как название части деревни при отсутствии его как апеллятива; равным образом на севере Польши *zagroda* выступает только как топоним. Отказываться от подобных материалов было бы, по всей видимости, нецелесообразно и неразумно. Иногда, особенно в словообразовании, можно было бы обратиться к названиям местностей в поисках иллюстраций к некоторым суффиксам, главным образом к суффиксам, в современном языке не продуктивным в кругу обычных слов, но распространенным среди топонимических образований (ср. прасл. **-itjo*). В целом же участие топонимики в общеславянском лингвистическом атласе должно быть дополнительным. Следует так же решительно высказаться против картографирования топонимических моделей и словообразовательных типов.

М. Карась

Поскольку создание топонимического атласа — особое предприятие, включение данных топонимики в атлас может осложнить дело, хотя именно топонимика позволит дать определенные ответы на вопросы о древнем расселении славян, например, на территории Румынии, Венгрии, восточной Германии, Албании и т. п. Вместе с тем для атласа могут быть небезынтересны некоторые вопросы о местной топонимике, нужные хотя бы для того, чтобы точнее представить себе местоположение исследуемых пунктов. Вероятно, такие ответы не следует картографировать, их лучше давать в комментариях к каждому пункту.

А. Росетти (Бухарест)

Топонимику можно использовать в качестве показателя некоторых исторических явлений в отдельных случаях, например метатезы в сербско-хорватской зоне, причем отсутствие метатезы (Мартиншчица, Балтабериловица) объясняется отсутствием этнической ассимиляции на данной территории. В принципе же топономастика с оронимией и гидронимией должны быть предметом особого атласа.

М. Павлович (Белград)

Топонимический материал важен не только с точки зрения топонимических образований; часто в нем сохраняются следы тех лексем, которые на данной территории исчезли как общие наименования; в некоторых случаях он дает сведения, относящиеся к области исторической фонетики. И все же этот материал при работе над атласом принимать во внимание нельзя, поскольку рационального способа его включения в диалектологический атлас не существует.

П. Ивич (Новый Сад)

Показания топонимики могут быть использованы до известной степени в разделе лексики и словообразования; с их помощью можно будет уточнить некоторые исторические детали развития данной территории и показать некоторые ее особенности.

А. Лампрежт (Брно)

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Г. С. КНАБЕ

СЛОВАРНЫЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ И ЭТНОГЕНЕЗ

(К вопросу о «балтийских заимствованиях» в восточных финно-угорских языках)*

Лексика каждого языка расширяется не только за счет словообразования и изменения значения имеющихся в языке слов, но и путем заимствования их из других языков. Такое заимствование слов из одного языка в другой предполагает определенное взаимодействие народов — носителей обоих языков. Оставшиеся в языке заимствованные слова как бы документируют эти контакты и тем самым проливают свет на историю народа, играют, другими словами, роль исторического источника. Этот источник приобретает тем большую важность, когда речь идет о дописьменных периодах истории. С точки зрения реальной исторической ситуации, которую документируют заимствования, относящиеся к дописьменным эпохам, следует различать три случая.

1. Заимствование произошло в дописьменный период развития данного языка, но историческая ситуация, сделавшая это заимствование возможным, хорошо известна из письменных источников. В качестве примера можно взять распространенное в славянских языках слово *суббота*, представляющее собой, как известно, греч. *σάββατον*, заимствованное славянами в IX—X вв. Славянские языки, охваченные изоголоссой этого заимствования, народы — их носители, географическое размещение этих народов, а также процессы в области идеологии и культуры, приведшие к заимствованию данного слова, хорошо известны. Слово, таким образом, хоть и заимствованное в дописьменный период, лишь в незначительной мере уточняет историческую картину, известную во всех своих основных чертах из письменных источников.

2. Слово проникло в данный язык в дописьменный период его развития. Язык, откуда слово заимствовано, хорошо известен, но также лишь из позднейшей письменной традиции. При этом, однако, письменно документированная история с самого начала застаёт оба народа на столь удаленных друг от друга территориях, что непосредственные контакты между ними кажутся исключенными. Заимствования этого типа, следовательно, указывают на географическое размещение племен и народов, отличное от исторически засвидетельствованного, и на такие этнические связи, которые не отражены ни в каких других источниках. Так, мордовский термин, означающий «мост» (эрзя *сэдъ*, мокша *седь*), представляет собой заимствованное древнеиндийское слово *sētu-* «мост»; заимствования такого рода в мордовском не единичны. Они заставляют нас предполагать, что отдаленные предки современных носителей индоевропейских языков Индии или тех племен, которые послужили основой этногенеза последних, жили в течение длительного времени не в тех местах и не в том этничес-

* Настоящая статья представляет собой предварительное сообщение о результатах работы над монографией.

ком окружении, в каком их застаёт история; что отдельные их группы проникали далеко на север, в области, заселённые предками финно-угров.

3. Приведенный пример с мордов. *сeдь* допускает также и другое истолкование. Мордовский термин может отражать не реально засвидетельствованное др.-инд. *sētu-*, а некоторую индо-иранскую форму **sēt-*, не существовавшую ни в одном засвидетельствованном языке, но восстанавливаемую на основании др.-инд. *sētu-*, авест. *haetu*, осет. *хэд* «мост». Такое положение, при котором слово заимствовано не из реально засвидетельствованного языка определенного народа, а из языка, известного нам лишь по реконструкциям, вводит исследователя в историю этнических групп, предшествовавших сложению исторически известных племен и народов.

*

Из приведенных трех разновидностей заимствований дописьменного периода две последние отражают ситуацию, уже исчезнувшую к началу исторической эпохи, и тем самым вводят нас в область этногенеза вообще и, в частности, в один из центральных этногенетических вопросов — в индоевропейскую проблему. Индоевропейская проблема, как известно, состоит в обнаружении реальных исторических характеристик того человеческого коллектива, который пользовался в качестве живого средства общения теоретически реконструируемым индоевропейским языком, вернее — его диалектами.

Подавляющее большинство исследователей отводили и отводят особую роль в сложении индоевропейской языковой общности областям южной половины Европейской части СССР. Народы, обитавшие на этих территориях, попадают в поле зрения древних географов и историков начиная с VIII—VII вв. до н. э. В исторические процессы и, в частности, в процессы этногенеза, протекавшие здесь раньше, во втором тысячелетии до н. э., и помогают проникнуть словарные заимствования второго и третьего из указанных выше типов.

Дело в том, что северная граница интересующей нас территории, проходящая, грубо говоря, от южной излучины Оки на Вильнюс, носит не только естественно-географический характер (она примерно совпадает с границей леса и лесостепи), но является и этническим рубежом. К северу от этой линии по крайней мере с начала III тысячелетия до н. э. проживали предки современных финно-угров. Южная граница обитания этих протофинноугорских племен, бывшая относительно устойчивой на протяжении ряда тысячелетий, образует своего рода «контрольную полосу», к которой периодически подходили жившие южнее индоевропейские народы и на которой они оставляли свои следы — вещи, черты быта, идеологические представления и слова, их обозначающие. Анализ таких индоевропейских заимствований, прежде всего в воляжско-финских и пермских языках, позволяет установить, на каких именно индоевропейских языках, засвидетельствованных и теоретически реконструируемых, говорили те или иные группы населения, обитавшего к югу от финно-угров. Полученные таким образом выводы могут быть сопоставлены с данными археологии и послужить основой для создания целостной реально-исторической характеристики обитавших здесь этнических групп.

Исследователи, которые начиная с 70-х годов XIX в. работали под этим углом зрения над финно-угорским словарем, создали стратиграфию индоевропейских заимствований в финно-угорских языках и отвели в ней определенное место, в частности, заимствованиям из балтийских языков. Согласно этой схеме: 1) балтийские заимствования проникли к финно-уграм в последние века до новой эры; 2) их следует искать в западных финских языках; 3) их источником являются языки балтийской группы, к

этому времени уже четко обособившиеся от других индоевропейских диалектов. Соответственно, слова балтийского происхождения в восточных финно-угорских языках не рассматривались самостоятельно, а исследовались лишь попутно, в связи с заимствованиями из балтийских языков в языки западных финнов. Материал по таким заимствованиям содержится, в частности, в исследованиях В. Томсена и Я. Калимы¹.

Первые два из положений традиционной схемы были пересмотрены в последние годы Б. А. Серебрянниковым. Дополнив списки балтийских заимствований В. Томсена и Я. Калимы несколькими десятками новых слов, Б. А. Серебрянников показал, что балтийские элементы в восточных финно-угорских языках не менее существенны для исследования процессов этногенеза, протекавших на индоевропейско-финно-угорском пограничье, чем балтийские заимствования в языках западных финнов. Распространение этих элементов он относил к началу II тысячелетия до н. э. и связывал с проникновением на территорию финно-угров так называемой фатьяновской археологической культуры. При этом язык, из которого взяты заимствованные слова, он рассматривал как «весьма близкий к современному балтийскому языку».

Эта гипотеза получила поддержку авторитетных исследователей². Между тем печатное изложение гипотезы³ вызывает ряд сомнений и вопросов. В списке Б. А. Серебрянникова приводятся слова, обычно считающиеся иранскими заимствованиями (например, эрзя-морд. *узерь* «топор»), причем пересмотр традиционной точки зрения никак не аргументируется. Этимология приводимых слов не дана (ни индоевропейская, ни финно-угорская). В число балтийских заимствований попадают слова явно неиндоевропейского происхождения (марийск. *тага* «баран», коми *туис* «сосуд») или исконные финно-угорские (коми *эжа* «целина»). Рядом стоят слова, совсем недавно проникшие в финно-угорские языки (марийск. *год* «время»), и слова, заимствованные задолго до нашей эры (морд. *одар* «вымя»); поэтому выведение всех указанных терминов из одного источника представляется необоснованным.

Если суммировать все слова, включавшиеся В. Томсеном, Я. Калимой и Б. А. Серебрянниковым в число балтийских заимствований в восточных финно-угорских языках, получится список, состоящий из 70 словарных единиц. Внимательное рассмотрение показывает, что не менее 10% этого материала не заимствовано из какого-либо индоевропейского источника. В одних случаях перед нами заимствование из финно-угорского источника в балтийские языки: марийск. *пёрт* «изба» фонетически хорошо согласуется с карел. *перти* «лесная баня», олонец. *перти* «изба», фин. *pirtti* «курная изба»; в непосредственной близости от территории распространения этих этимологически связанных между собой слов встречаются сходные по форме и значению термины, в своих языках стоящие изолированно и не имеющие надежной этимологии, — русск. диал. (повгородск., архангельск.) *перть*, чуваш. *пёрт*, и среди них — литов. *pirtis* и латыш. *pirts* «баня». В других случаях близость балтийских и финно-угорских слов объясняется тем, что они были заимствованы в обе языковые группы из третьего источника — таково положение с термином, означающим «коноплю»: эрзя-морд. *кансть*, мокша *каньф*, марийск. *кыне* при литов. *kanjė*, латыш. *kaneres*, др.-прусс. *konapios*.

¹ V. T h o m s e n, Beröringer mellem de finske og de baltiske (litauisk-lettiske) Sprog, København, 1890; J. K a l i m a, Itämerensuomalaisten kielten balttilaiset lainasanat, Helsinki, 1936.

² См.: X. А. М о о р а, Вопросы сложения эстонского народа и некоторых соседних народов в свете данных археологии, «Вопросы этнической истории эстонского народа. Сборник статей», Таллин, 1956, стр. 86; е г о ж е, О древней территории расселения балтийских племен, «Советская археология», 1958, 2, стр. 24.

³ Б. А. С е р е б р е н н и к о в, О некоторых следах исчезнувшего индоевропейского языка в центре Европейской части СССР, близкого к балтийским, «Труды АН Литов. ССР», Серия А, 1(2), 1957.

Остальные рассмотренные слова действительно являются заимствованиями. При этом, однако, они не обнаруживают внутренней однородности, не восходят к единому источнику, относящемуся к какому-либо одному определенному времени и месту, а «принадлежат весьма различным слоям», как писал еще К. К. Уленбек⁴. Задача заключается в том, чтобы определить и возможно яснее очертить эти слои. В результате проведенного анализа они выявляются в следующем виде.

Хронологически ближе всего к нам стоит группа заимствований (около 12% слов списка), проникших к восточным финно-уграм из отдельных исторически засвидетельствованных балтийских языков. В качестве примера слов данной группы рассмотрим марийск. *могыр*, удм. *мугор* «тело», коми *мыгор* «туловище», эрзя-морд. *мукоры*, мокша *мокыр*, *мукыр* «rodex», которые В. Томсен и Б. А. Серебренников возводят к литов. *nugara*, латыш. *tugura* «спина», «крестец». Происхождение приведенных балтийских терминов не может считаться выясненным. Все имеющиеся этимологии исходят не из непосредственно засвидетельствованных форм — литов. *nugara* и латыш. *tugura*, для которых индоевропейских параллелей, по-видимому, нет, а из так или иначе (и более или менее произвольно) преобразованного корня. Большинство исследователей отделяют первый слог и ищут этимологию для оставшегося *-*gara*/*-*gura*. Некоторые восстанавливают форму **gnugara* и к ней стараются подобрать параллели. Поскольку интересующую нас восточнофинские слова совпадают не с этими гипотетическими архетипами, а с реально засвидетельствованными формами, приходится исходить из этих последних. Первое, что здесь обращает на себя внимание, — это несовпадение начального звука в литовском и латышском терминах. Предположить на этом основании, что данные слова не имеют отношения друг к другу, нельзя. Этому противоречит их почти полное фонетическое тождество, которое, учитывая совпадение значений, не может быть случайным. В то же время закономерного соответствия литов. *n* — латыш. *t* не существует. Единственная возможность объяснить связь между обоими словами заключается в том, чтобы рассматривать первый звук латышского слова как результат лабиализации изначального *n*-подвлиянием последующего заднеязычного смычного согласного. Такая лабиализация нигде, кажется, не выступает как строгий и универсальный переход, но спорадически проявляется во многих языках, диалектах и у отдельных индивидов. Ср. русск. *Микола* при *Николай*, *под микитки* при *Никита*, *микитки*; литов. *Mikas* = *Nikas* < *Nikolaus*.

Существование форм с начальным *m*- и форм с начальным *n*- характерно не только для балтийских, но и для финно-угорских языков. В частности, у западных финнов встречаются термины с тем же кругом значений с начальным *n*-: фин. *nukero* «копчик», литов. *nugàr* в составе сложного слова *sãlga-nugar* «передняя часть спины животного, загрывок». Допустить параллельное спонтанное развитие со сходными результатами в двух соседних языковых группах трудно. Разница в начальном согласном в западных и восточных финских языках должна объясняться тем, что заимствование балтийского слова произошло после того, как оно приняло в латышском начальный *m*, а в литовском сохранило начальный *n*. Поскольку *n* < *m* допустить невозможно, приходится признать, что латышские формы с *m* являются более поздними. Трудно сказать, относится ли проникновение данного слова в западнофинские языки к периоду после обособления литовского языка от латышского или к тому времени, когда эти языки еще находились в некотором единстве, и начальный *n*- здесь отражает еще общепольский облик термина. Относительно восточнофинских слов, однако, представляется беспор-

⁴ С. С. U h l e n b e c k, Eine Bemerkung zur Frage nach der Urverwandtschaft der uralischen und indogermanischen Sprachen, «Mémoires de la Société finno-ougrienne», LXVII, 1933, стр. 396.

ным, что они были заимствованы в эпоху обособленного существования латышского языка или диалектов, на основе которых он сложился, т. е. довольно поздно. На весьма поздний период заимствования (после IX—X вв. н. э.) указывает и нарушение закономерных общепермских звуковых соответствий в коми *мыгор* — удм. *мыгор*.

К числу слов, заимствованных из отдельных балтийских языков, относятся также марийск. *герды* «время» из др.-прусск. *kerda* «время», удм. *парсь* «свинья» из литов. *paršas* «поросенок» (в жемайтских говорах — «свинья»), эрзя-морд. (обл.) *шеньже* «утка», восходящее к тем диалектальным разновидностям литов. *žasis*, в которых это слово сохранило свою исконную согласную основу, например род. падеж мн. числа *žasy*, им. падеж мн. числа *žases*, и ряд других слов.

Вторая группа, охватывающая около 15% слов списка, содержит заимствования, проникшие к восточным финно-уграм из общепермской, а в отдельных случаях балто-славянской языковой среды. Именно таково происхождение некоторых волжско-финских терминов для обозначения «тысячи», в частности мокша-морд. *тёжэнь* и марийск. *тӱжем*. Мордовское и марийское слова фонетически хорошо согласуются друг с другом и указывают на некоторое исходное **tušam*. В бесспорной связи с ними находятся термины с тем же значением в западных финских языках: фин. *tuhat* «тысяча», карел. *тухам*, вепс. *туха*, водск. *тухамма*, эст. *tuhat*, ливск. *tu'ont*, *tu'ont*, *tu'onnt*; саам.-норв. *duhat* (*dufat*), саам.-кольск. *тофант*, *тофэнт*. Последние наиболее естественно объединяются архетипом **tušant*, который довольно точно соответствует волжско-финскому **tušam*. Однако западнофинские формы отличаются от волжско-финских тем, что могут быть выведены непосредственно из литов. *tūkstantis*, латыш. *tūkstuots*, ибо литов. *-kst-* в отдельных случаях = фин. *h*, но никогда ≠ волжско-финскому *ж* (< *š). Перед нами, таким образом, открываются две возможности: 1) западнофинские термины происходят от литов. *tūkstantis*, и задача заключается в нахождении прототипа для марийско-мордов. **tušam*; 2) западнофинские слова имеют общее происхождение с волжско-финскими, объединяются с ними исходным **tušant*, и прототип последнего является источником всех перечисленных терминов. Так или иначе, задача заключается в том, чтобы найти источник формы **tušam* (t).

Этот источник должен быть индоевропейским. Основные термины десятиричной системы счисления — десять и сто — были заимствованы финно-уграми у индоевропейцев. Термин для «тысячи», распространенный на востоке финно-угорской языковой области, взят у индоевропейцев. В этих условиях вряд ли можно сомневаться, что и волжско-финское слово имеет индоевропейский источник. Из индоевропейских форм фонетически наиболее близко к нему стоит слово, представленное только в германских, балтийских и славянских языках; ср. гот. *Būsundi*, др.-в.-нем. *dūsunt*, англо-сарс. *dusend*; литов. *tūkstantis*, латыш. *tūkstuots*, др.-прусс. *tūsintons*; ст.-слав. *тысяцѣ* и *тысяцѣ*, болг. *мисецѣ*, сербско-хорв. *мѣсѣћа*, польск. *tysiąc* и т. д. Формы эти плохо согласуются между собой и, как известно, многократно обсуждались в литературе. В результате, несмотря на ряд неустраняемых неясностей, можно считать установленным, что приведенные термины так или иначе производны от слов со значением «сто». Это последнее в словосложениях, обозначающих «тысячу», изменяется по аблауту: **kōmt*/**kōnt* — **kēmt*/**kēnt* — **kmt*/**knt*. Среди приведенных обозначений «тысячи» ступень *o* представлена ст.-слав. *тысяцѣ*, где *x = a < *on* или **om*; ступень *e* — ст.-слав. *тысяцѣ*, где *x = e < *en* или **em*, и русск. *тысяча*, где *x < *en* или **em*; нулевая ступень — германскими формами и прусск. *tū-simt-ons*. Поскольку данный корень выступает в нескольких огласовках в славянских языках, то логично допустить, что он был изначально представлен чередующимися фор-

мами и в балтийских. В последних обозначение «тысяча» с огласовкой *o* — **tūs-komt* — должно было дать **tūš-šamt* > **tūšamt*, точно совпадающее с волжско-финским **tušam* (*t*). Поскольку *s* в прусск. *tūsimtons*, по всей вероятности, — результат сильно распространенного в этом языке мазуренья, исконное прусское слово должно было выглядеть как **tūšimt-ons*, что подтверждается и другими соображениями (и.е. **k* регулярно переходит в балт. *š*, а не *s*). В этом случае **tūšamt*-и **tūšimt* — такие же чередующиеся по аблауту формы, как ст.-слав. *тыс жита* и *тысажита*. В противоположность мнению Р. Готье, у нас нет оснований видеть в *tūšamt* специфически литовскую форму, так как в литовском неизменно встречаются слова с *-kst-* в середине: *tūšamt*, если оно действительно существовало, либо представляло собой общеполбальтийское слово, либо принадлежало одному из древних диалектов, во всяком случае отличному от литовского и латышского.

Таким образом, очевидно, что западнофинские и волжско-финские слова, обозначающие тысячу, представляют собой балтийские заимствования. Теоретически возможно реконструировать балт. **tūšamt-*, из которого правильно выводятся все перечисленные слова — западнофинские, мордовские и марийские. Не исключено, однако, что к этому источнику восходят только волжско-финские формы, в то время как финская, эстонская, водская и т. д. происходят непосредственно от реально засвидетельствованного литов. *tūkstantis*. Полное соответствие западнофинских и волжско-финских форм делает первое из этих предположений более вероятным. В эту же группу заимствований из общеполбальтийской языковой среды входят эрзя-морд. *šimeŋ* «корень, ствол, род», морд. (эрзя и мокша) *пешль* «нож» и ряд других слов.

В третью группу входят слова, принадлежащие к обширному, давно исследуемому и хорошо известному слою индо-иранских заимствований; типичным примером их может служить упоминавшееся выше морд. *сeдь* «мост». В. Томсен и другие исследователи, считая эти слова балтийскими по происхождению, учитывали одну важную их характеристику — их изоглоссы, как правило, охватывают именно балтийские и индо-иранские языки.

Так, например, В. Томсен выводил марийск. *вурдо* «рукоять» из литов. *varpstis* «веретено», а также «стержень, ворот, вал, ствол, рукоять», латыш. *varpsts* «веретено». Такое объяснение вряд ли может быть принято, так как среди всех многочисленных рефлексов данного корня в индоевропейских языках именно балтийские формы имеют распространение *-r*, никаких следов которого в марийском термине нет. Кроме того, в семантике балтийских слов ясно выражен момент «вращения», который в марийском также не ощущается. Современное марийское *вурдо*, как и группа родственных слов в западных финских языках (фин. *vars* «стержень, рукоять, стембель», карел. *варжи*, вепс. *варьэъ*, водск. *варси*, эст. *vars*, ливск. *var'ž*), представляют собой заимствованное др.-инд. *vṛ(n)ta* «рукоятка, черенок». Как показывают примеры вроде др.-инд. *tṛṇa* «трава», фин. *tarna*, коми *турын*, *vṛ(n)ta* должно было дать на западе финно-угорской языковой области именно *vart* (*vars*), а на востоке именно *вурт-* > *вурд-* (как известно, коми *y* = удм. *y*; ср. коми *пу*, удм. *пу* «дерево»). Мнение Томсена, однако, важно в том смысле, что он выделил балтийские слова как единственные на севере индоевропейской языковой области, обладающие значением, отраженным в финно-угорских заимствованиях; кроме балтийских форм, это узкое специализированное значение повторяется только в древнеиндийском.

Передко один и тот же корень, представленный в этих двух языковых группах, проникал к западным финнам в своей специфической балтийской форме, а к волжско-финским и пермским народам — в том облике, который он принял в индо-иранских языках. Примером может служить эрзя-морд. *тейтерь* «дочь», которое В. Томсен выводил из литов. *duktė* (род. падеж

dukters) и др.-прусс. *duckti*. Мордовское слово безусловно связано с соответствующей группой в западных финских языках: фин. *tytar* (род. падеж *tyttären*) «дочь», карел., вепс., водск. *тотяр*, эст. *tütar*, *tudär*, *tüter*, ливск. *tudär* «дочь, девочка». Ср. также саам. (в Швеции) *taktara*. Столь же очевидно, что финно-угорские слова так или иначе отражают соответствующий индоевропейский термин **dhug(ə)ter-*. Ср. др.-инд. *duhitā*, авест. *dugəda* (в сложениях — *dugədar-*), др.-греч. $\Phi\rho\chi\acute{\alpha}\tau\tau\epsilon\rho$, гот. *daūhtar*, литов. *duktė*, ст.-слав. *дъштити* (род. падеж *дъштитере*) и т. д. Однако более точное определение отношений как внутри финно-угорской группы терминов, так и между нею и индоевропейской группой сопряжено с трудностями.

Первая из них заключается в том, что финно-угорские слова невозможно возвести к единому прототипу. Саам. *taktara* и финские формы с *tt < kt* вроде *tytar*, род. падеж *tyttären* «дочь» или *tyttö* «девочка» указывают на исходную форму с *-kt-* в середине слова, т. е. с так называемой сильной ступенью чередования согласных. Ее нельзя, однако, считать прототипом всех приведенных финно-угорских слов, так как это *-kt-* должно было бы дать в эрзя-морд. *-m-* (< **-fm-*). Эрзя *мейтерь* должно указывать на прототип со слабой ступенью чередования согласных в середине слова, т. е. на исходную форму с *-γ(t)-*.

Перед нами, таким образом, отражения двух разных форм общего корня — одной с *-kt-*, другой с *-γ(t)-*. Выяснить отношения между обеими указанными формами корня удается при привлечении индоевропейского материала. Дело в том, что в индоевропейских языках есть формы как со звонким фрикативным согласным (т. е. близкие к финно-угорской «слабой ступени»), так и с глухим взрывным (т. е. совпадающие с финно-угорской «сильной ступенью»). Первые представлены др.-инд. *duhitā*, авест. *dugəda*, ново-перс. *duxtar*. Финно-угорские формы, отражающие слабую ступень, т. е. финское диалектальное *tüär* (< **tühär*) и морд. *мейтерь*, могут восходить поэтому только сюда, а к балтийскому термину для обозначения «дочери» отношения не имеют. Последний представлен литов. *duktė*, род. падеж *dukters* и др.-прусс. *duckti*, т. е. формами, совпадающими по звучанию срединной консонантной группы с сильной ступенью в финно-угорских языках. Весьма возможно, что в определенную эпоху этот консонантизм был общим балто-славянским, так как ст.-слав. *дъштити*, род. падеж *дъштитере*, русск. *дочь*, род. падеж *дочери*, болг. *дъщеря*, др.-чеш. *dcí*, род. падеж *dcerze* и т. д. предполагают исходную форму **dąkti* (где *ɔ < u*). К этому источнику и восходят финно-угорские формы с сильной ступенью, т. е. саам. *taktara* и — с известной вероятностью — фин. *tytar* вместе со всей примыкающей сюда западнофинской группой.

Поскольку заимствования из индо-иранских источников (т. е. финское диал. *tüär* < **tühär* и морд. *мейтерь*) распространены как в прибалтийско-финских, так и в волжско-финских языках, есть основания считать их более древними, чем заимствования, отмечаемые только у западных финнов и саамов (т. е. фин. *tytar*, саам. *taktara*) и восходящие к балтийскому, в крайнем случае к балто-славянскому источнику.

Этот параллелизм балтийских и индо-иранских источников индоевропейских заимствований в финно-угорских языках приводит в некоторых случаях к тому, что становится невозможно определить, откуда пришло к финно-уграм данное слово — от балтов или от индо-иранцев. Так, источником фин. *sisar* и ряда родственных терминов для обозначения «сестра» в вепсском, водском, эстонском, ливском является литов. *sesuo* (род. падеж *sesešs*). Источник удм. *сузэр* «младшая сестра» и марийск. *шужар*, родственных между собой, но с фин. *sisar* не связанных, — индо-иранский: др.-инд. *svásar-*, авест. *χvaŋhar*, ново-перс. *χvaħar*. Для нас сейчас, однако, наибольший интерес представляет то промежуточное положение, которое занимает среди финно-угорских слов морд. (эрзя и мокша) *сазор* «младшая сестра». Имеются единичные примеры,

когда морд. *a* = западнофин. *i* (например: фин. *hinta* «цена» — морд. *чандо*), позволяющие связать морд. *сазор* с фин. *sisar* и через него — с литовским прототипом. В то же время хорошо известное равенство: морд. *a* = удм. *y* (морд. *сядо* «сто» — удм. *сю*; морд. *максо* «печень» — удм. *мус*; морд. *аськыла* «шаг» — удм. *утськыл*) дает возможность вывести мордовский термин и из индоиранских форм. Различие между словами балтийского и индо-иранского происхождения здесь как бы стирается: источником заимствования можно считать и одну языковую среду, и другую, и даже некоторую третью, объединяющую обе первые.

К четвертой группе слов, выделенной на основании анализа списка балтийских заимствований в восточных финских языках, и относятся термины, которые восходят к прототипам, объединяющим в себе черты балтийских и индо-иранских языков. Источником заимствований этой группы, другими словами, является не тот или иной язык, известный нам в исторический период, — литовский, прусский, древнеиндийский и т. д., даже не «общепалтийский» или «общепиндоиранский», а некоторая языковая среда, исходная для ряда позднейших индоевропейских языков, в первую очередь — балтийских и индо-иранских.

Рассмотрим в качестве примера эрзя-морд. *рисьме*, мокша (устарел.) *рисьма* «цепь, веревка», которые Я. Калима предположительно выводил из литов. *rišti* «вязать, связывать», латыш. *rist*. Мордовское слово точно соответствует фин. *rihma* «шнур, нить», карел. *рихма*, олонец. *рихму* с тем же значением, вепс. *рихм*, *рихмад* «петля, ячейка сети», водск. *рихма* «канат, веревка», эст. *rihm* «ремень», ливск. *ri'm* «кожаный пояс, ремень». Слово это вызвало в свое время оживленную полемику, в которой участвовали крупнейшие угро-финнологи рубежа XIX и XX вв. Если отвлечься от общих вопросов, поднятых в ходе дискуссии, то спор сводился к определению индоевропейского источника фин. *rihma* и связанных с ним слов. Х. Паасонен и Ю. Х. Тойвонен вслед за В. Томсенем видели этот источник в литовском языке, Э. Н. Сетяля — в древнеиндийском.

Анализ показывает, что между этими двумя точками зрения нет противоречия. Литов. *rišti*, латыш. *rist* не отражают ни, с одной стороны, и. -е. **reig* «связывать» (лат. *rigeo*, *rigēre* «быть оцепенелым, связанным», ирл. *-riug* «соединять, связывать»), так как литов. *š* не может восходить к и. -е. **g*, ни, с другой стороны, и. -е. **ureik*, имеющее значение «обращать, поворачивать», очень далекое от семантики приведенных литовского и латышского слов. Единственный корень, из которого последние можно вывести, — это **reġ-*, представленный, кроме балтийских, лишь древнеиндийскими формами *raçmi* «веревка, канат, ремень, петля, вожжи», *raçana* «веревка, ремень, пояс», *raçman* «повод, узда» и группой терминов в германских языках — др.-норв. *rakki* «стропа для крепления реи», англо-сакс. *racca*, др.-в.-нем. *rahhinza* «цепь, путь». Последние не могут иметь отношения к финно-угорским обозначениям «веревки, цепи», так как в них всех представлена ступень чередования *o* (> герм. *a*), никаких следов которой в финских и мордовских словах нет. Остаются только балтийские и древнеиндийские формы.

Приведенные выше западнофинские и мордовские слова отражают исконное **rešm-*. На это указывают саам. *raesme* «веревка, к которой привязываются верхний и нижний концы рыбачей сети», *ressme* «веревка, канат» и эст. *rehm* (сосуществующее с *rihm*) «ремень». Отражение исконного *e* как *i* обычно и для финского (венг. *felleg* «облако, туча» — фин. *pilvi*; хант. *нэм* «имя» — фин. *nimi* и т. д.), и для мордовского (венг. *év* «год» — эрзя-морд. *ийе*, марийск. *пызылмы*, где *ы* первого слога произошло из *e*, — морд. *пизел* «рябина»). Как известно, *š* в волжско-финских словах, заимствованных из индоевропейских источников, отражает *s* и, в частности, др.-инд. *ç*. Таким образом, корень, заимствованный финно-уграми для обозначения «ремня, веревки, цепи», выглядел в пору заимствования как **rešm-*. Такой корень не мог принадлежать ни обособ-

ленным балтийским, ни обособленному индийскому; он объединяет обе языковые группы. Язык, которому принадлежало такое слово, уже обладал фонетическими особенностями, объединяющими балтийские языки с древнеиндийским в отличие от других индоевропейских (**k* > *š*), но еще не обладал фонетическими чертами, противопоставляющими балтийские языки древнеиндийскому (**e* > др.-инд. *a*, балтийское чередование *eli*).

Изучение заимствований, отнесенных нами к четвертой группе (а она образует свыше тридцати процентов всего исследованного материала), определенно наводит на мысль о том, что до контактов с реально засвидетельствованными народами и их предками протофинноугры вступали в те или иные отношения с этническими группами, из собственно исторических источников неизвестными, в частности с некоторой этнической общностью, исходной по отношению к позднейшим индо-иранцам, балтам, славянам и — отчасти — германцам. Ядро этой группы образовывали находившиеся еще в отношениях очень тесного единства протобалты и протоиндоиранцы, его оболочку — будущие славяне и германцы. При этом важно, что восходящие к этому слою индо-иранские слова еще не обладают характерными иранскими чертами; пока остается неясным, означает ли это, что в данную этническую группу индо-иранцы входили задолго до разделения или что к ней относились преимущественно индийские и протоиндийские диалекты.

Имеется ряд дополнительных обстоятельств, сообщающих этому выводу значительную вероятность. Во-первых, слова, в которых как бы сосуществуют признаки балтийских, индо-иранских, а иногда и некоторых других языковых групп, далеко не единичны в лексике восточных финно-угорских языков. Кроме марийск. *вурдо* «рукоять» и эрзя-морд. *рисме* «цепь» сюда предположительно должны быть включены марийск. *лопшанге* «навозный жук, шершень, слепень», *водар* «вымя», *шашке* «выдра», коми *кач помэль* «можжевелник», эрзя-морд. *лужадомс* «ломать», *маштомс* «убивать», *поремс* «грызть, жевать», коми *мыськыны* «мыть», эрд «поляна в лесу», *гор* «печь», манси *асирм* «холод», удм. *ым* «рот, выходное отверстие», а также еще некоторое количество слов.

Во-вторых, вряд ли можно считать случайностью, что индо-иранские слова, заимствованные в восточные финно-угорские языки, чаще всего имеют фонетически и семантически наиболее близкие рефлексy именно в балтийских языках. И обратно: слова балтийского происхождения, проникшие к западным финнам, во многих случаях лучше всего согласуются с индо-иранскими отражениями тех же корней. Мы уже видели, что фин. *tytar* «дочь» заимствовано из балтийской или балто-славянской языковой среды, а морд. *тейтедь* «дочь» — из индо-иранской; фин. *sisar* «сестра» из литовского, а удм. *сузар* и марийск. *шўжар* — из индо-иранского; рефлексy и.-е. **gherdh-* проникли к финно-уграм из индо-иранского источника — в тех языках, где они означают «подземное помещение, подпол» (коми-зырян. *горп* «дом» и «могила»; ср. вед. *gṛha* «могила, преисподняя», авест. *gərəda* «яма в земле как обиталище духов»), и, весьма возможно, из балтийских языков — там, где оно означает «хлев, загон для скота» (эрзя-морд. *кардо* «хлев» — латыш. *gārds* «загородка для свиней»). Число примеров можно значительно умножить.

В-третьих, некоторые слова из исследуемого списка представляют изоглоссы, которые являются весьма важными в культурном и историческом отношении и охватывают именно балтийские и индо-иранские языки. Так, из всех разновидностей имени бога грозы, грома и молнии и вообще грозных явлений природы (литов. *perkūnas*, др.-норв. *Þorǫgn*, галльск. *Hercynia*, др.-русск. *Перуны*, вед. *Parjanya*) в формальном и смысловом отношении полностью совпадают между собой только балтийская и ведическая формы, которые и лежат в основе эрзя-морд. *пурьгине* «гром». Важнейшее в культурном отношении слово, раскрывающее происхождение счета (или определенных его элементов) от зарубок на деревьях,

эрзя-морд. *кырда*, мокша *кырда* «раз, -крат», представлено в своем исходном значении «рубить, резать, зарубка» только в индо-иранских языках (др.-инд. *kṛntati* «он режет», авест. *karat* «резать», осет. *ūgard* «зарубка») и, с аблаутовой перегласовкой, в балтийских — литов. *kiṛsti* «рубить», *kiṛpti* «кроить», *kiṛtis* «удар», латыш. *cirst* «рубить». Финно-угорское слово **metel*/**mede* «мед» (фин. *mesi*, венг. *méz* и т. д.) заимствовано из какого-то индоевропейского языка и отражает и. -е. **medhu*. Однако во всех финно-угорских языках, за исключением некоторых саамских диалектов, оно означает «пчелиный мед», а в большинстве индоевропейских — «хмельной напиток»; отраженное в финно-угорском значении «пчелиный мед» обнаруживается среди индоевропейских языков лишь в индо-иранских и балто-славянских. Существуют не менее важные термины, объединяющие индо-иранские и балтийские языки, но не нашедшие своего отражения в финноугорском словаре, например вед. *viśpatiḥ* «глава и военный вождь группы поселений, племени», авест. *višpaiti* «старейшина рода» и литов. *višpats* «владыка, государь, господь».

В-четвертых, нельзя не обратить внимания на то, что многие ученые, серьезно и долго исследовавшие слова индоевропейского происхождения в финно-угорских языках, рано или поздно приходили к мысли о существовании в древности некоторого незасвидетельствованного индоевропейского языка, давшего значительный слой таких заимствований. Э. Н. Сетяля уже в 1900-х годах пришел к выводу, согласно которому «необходимо в конце концов допустить, что заимствования поступали из неизвестного еще индоевропейского языка (или из ряда таковых)»⁵. В 1922 г. Г. Якобсон пытался дать строгую лингвистическую характеристику этого незасвидетельствованного языка⁶. В 1936 г. И. Калима по-новому обосновал и сформулировал гипотезу Сетяля⁷. Как уже указывалось, несколько лет назад к той же мысли о «неизвестном индоевропейском языке» на основе другого материала пришел Б. А. Серебрянников.

Отличительная особенность большинства указанных точек зрения заключалась в том, что их авторы видели в этом незасвидетельствованном языке тот или иной реальный индоевропейский язык — «армянский» (Э. Н. Сетяля), «праиранский» (Г. Якобсон), «близкий к современному балтийским» (Б. А. Серебрянников). Если проведенный этимологический анализ и изложенные выше соображения правильны, то приходится признать, что источником этих заимствований был не тот или иной исторически известный индоевропейский язык, взятый на сколь угодно ранней стадии его развития, а некоторая языковая среда, исходная по отношению к позднейшим балтийским и индо-иранским языкам, содержащая также более или менее значительные элементы будущих славянских и, может быть, германских языков.

В соответствии со сказанным во вводной части словарные заимствования каждой из четырех выделенных групп могут играть роль исторического источника, на основании которого, возможно, удастся воссоздать историческую ситуацию, приведшую к заимствованию. Поскольку речь идет о дописьменных периодах, такая ситуация отражена прежде всего в археологическом материале. Не останавливаясь в настоящее время на возможных археологических коррелятах словарных заимствований первых трех выделенных выше групп, попытаемся дать реально-историческую интерпретацию заимствований четвертой группы.

Из четырех выделенных выше лексических слоев последний является, очевидно, наиболее древним. Поскольку древних индоевропейских заим-

⁵ E. N. Setälä, Ein altes arisches Kulturwort im finnischen und lappischen, «Finnisch-ugrische Forschungen», VIII, 1, 1908, стр. 80. Там же см. указания на более раннюю литературу.

⁶ H. Jacobson, Arier und Ugrofinnen, Göttingen, 1922.

⁷ J. Kalima, Über die indo-iranischen und baltischen Lehnwörter der ostseefinischen Sprachen, в кн.: «Germanen und Indogermanen. Festschrift für H. Hirt», II, Heidelberg, 1936.

ствований, пришедших к финно-уграм из других языков, кроме относящихся к данной группе; не существует, мы должны связать лексику этой группы с периодом наиболее древних контактов между финно-уграми лесной полосы и индоевропейцами степей и лесостепи Европейской части СССР.

Древнейшие контакты такого рода, носящие не случайный и кратковременный характер, а связанные с глубоким, сложным и всесторонним взаимодействием огромных человеческих массивов, относятся к рубежу III и II и к первой половине II тысячелетий до н. э. Как известно, они выражаются в проникновении в лесную зону южных археологических культур, характеризующихся сочетанием скотоводства и земледелия, патриархальным укладом, значительными элементами социальной дифференциации, известным единством идеологических представлений, выражающихся в общих чертах похоронного обряда и орнаментации керамики, и рядом других общих признаков.

Какая группа, намечаемая по археологическим данным, больше всего сближается (о прямом отождествлении здесь не может быть речи) с носителями выделенного выше языка, исходного по отношению к балтийским, индийским, иранским и славянским? Роль такой археологической группы определенно не может играть фатьяновская культура Волго-Окского междуречья, о которой говорит Б. А. Серебrenников. Это явствует хотя бы уже из того, что фатьяновцы московской и ярославской групп не вступали ни в какие отношения с аборигенами и — соответственно — не могли оказать никакого влияния на их язык. Давно установлено, что фатьяновское население размещалось главным образом по водоразделам рек, т. е. в областях, которые «никогда не служили местом обитания неолитических племен, связанных с охотничье-рыболовным хозяйством»⁸.

«Антропологический тип фатьяновской культуры резко отличается от типа, бытовавшего на этой территории в неолитическую эпоху»⁹; никаких метисных типов, которые бы говорили о скрещении пришлого фатьяновского населения с местным, не обнаруживается. Фатьяновцы не вступали с протофинноуграми даже в отношения обмена, что явствует из факта «отсутствия на фатьяновских памятниках всяких следов связи с окружающими их неолитическими племенами» и «почти полного отсутствия у последних следов связи с фатьяновцами»¹⁰. Наконец, нельзя не принимать в расчет памятники, доказывающие, что бывали случаи, когда при встрече с аборигенами фатьяновцы физически истребляли их¹¹.

Что касается ответа на поставленный вопрос по существу, то здесь пока что необходимо ограничиться следующими замечаниями. Среди археологических культур эпохи энеолита и бронзы, характеризующихся перечисленными выше признаками и проникших на территорию финно-угров, по крайней мере две открывают непрерывную линию культурного развития, в конце которой стоят исторически нам известные народы, говорящие на индоевропейских языках. Это племена срубной культуры, в VII в. до н. э. называвшие себя скифами¹², и носители восточноприбалтийской культуры боевых топоров, давшие начало «балтийским элементам», которые «ассимилировали местное население»¹³.

⁸ См. О. Н. Бадер, Фатьяновские могильники Северного Подмосквья, в кн.: «Материалы по археологии Верхнего Поволжья», М.—Л., 1950, стр. 87.

⁹ См. М. С. Акимова, Антропологический тип населения фатьяновской культуры, «Труды Ин-та этнографии [АН СССР]», Новая серия, I, М.—Л., 1947, стр. 282.

¹⁰ См. А. Я. Брюсов, Очерки по истории племен Европейской части СССР в неолитическую эпоху, М., 1952, стр. 94.

¹¹ См. В. М. Раушенбах, Фатьяновское погребение на неолитической стоянке Николо-Перевоз, в кн.: «Археологический сборник» («Труды Гос. историч. музея», 37), М., 1960, стр. 29 и сл.

¹² О. А. Криיצова-Гракова, Степное Поволжье и Причерноморье в эпоху поздней бронзы, М., 1955, стр. 155.

¹³ Х. А. Моора, указ. соч., стр. 20.

Отсюда следует по крайней мере два капитальной важности вывода: 1) поскольку, в соответствии с только что сказанным, для начала и середины II тысячелетия до н. э. протобалтийские и протоиранские элементы уже выступают в разобщении, интересующая нас археологическая общность должна относиться к более раннему периоду; 2) поскольку иранские этнические элементы связываются со срубной культурой, а летто-литовские — с культурой боевых топоров в ее восточноприбалтийском варианте, нас же интересует реально-историческая основа этнической группы, еще объединяющей будущие балтийские и индо-иранские элементы, — искомая археологическая общность должна предшествовать формированию срубной культуры и восточноприбалтийской культуры боевых топоров и быть с ними связанной генетически.

Таким образом, этническая общность, о которой идет речь, должна быть представлена археологическим комплексом, удовлетворяющим следующим требованиям: 1) он должен принадлежать к охарактеризованному выше кругу культур конца III и рубежа III и II тысячелетий до н. э.; 2) он должен принадлежать к типу, исходному по отношению к срубной культуре и культуре боевых топоров Восточной Прибалтики, и в какой-то мере и форме сочетать черты той и другой; 3) он должен обнаруживать следы длительного и глубокого взаимодействия с местным неолитическим населением — предками финно-угров, ибо такое взаимодействие — непременное условие интенсивного пропикновения заимствований из одного языка в другой.

Проведенный анализ подтверждает определенные положения, выдвинутые Б. А. Серебрянниковым и сторонниками его гипотезы.

1. Среди слов, рассматривавшихся Б. А. Серебрянниковым в качестве балтийских заимствований в восточных финно-угорских языках, действительно есть большая группа терминов, заимствованных в начале II тысячелетия до н. э.

2. Анализ лексики восточных финно-угорских языков, заимствованной из индоевропейских источников, действительно приводит к выводу о существовании на рубеже III и II тысячелетий до н. э. в южной половине лесной полосы Европейской части СССР незасвидетельствованного индоевропейского языка.

Проведенный анализ в то же время не подтверждает некоторые положения, выдвинутые Б. А. Серебрянниковым и сторонниками его гипотезы.

1. Слова, рассматриваемые Б. А. Серебрянниковым как балтийские заимствования, не составляют единой группы, проникшей в восточные финно-угорские языки из одного определенного источника. Они распределяются по четырем слоям, различным по времени, месту и источнику заимствования.

2. Та часть слов, заимствование которых относится к началу II тысячелетия до н. э., не происходит из какого-либо балтийского языка, близкого к современным. Они проникли к восточным финно-уграм из языковой среды, не совпадающей ни с одной из исторически засвидетельствованных языковых групп и охватывавшей в известном единстве позднейшие балтийские, индийские, славянские и иранские языки.

3. Носители незасвидетельствованного индоевропейского языка, выявляемого путем анализа словарных заимствований, не отождествляются с носителями фатьяновской культуры Волго-Окского междуречья.

А. С. БОГУСЛАВСКИЙ

ОБРАЗОВАНИЯ ТИПА *БЕЛЕТЬСЯ* И ОТЫМЕННЫЕ ГЛАГОЛЫ

Глаголы типа *белеться* с основами прилагательных, обозначающими цвет и некоторые другие признаки, обычно рассматриваются как особый тип образований, в котором образующей морфемой считается *-ся*, а производящей основой — глагольная основа с суффиксом *-е-*. Специфика этого типа глаголов, заставляющая авторов всех почти работ и пособий по грамматике, в которых дается обзор глагола, посвящать ему хоть несколько слов, состоит, как обычно считается, в том, что *-ся* присоединяется здесь к *н е п е р е х о д н ы м* глаголам со значением или приобретения, или проявления признака; при этом *-ся*, не выполняя залоговой функции, сообщает образуемому глаголу только второе из указанных значений, тем самым исключая первую семантическую функцию производящей основы¹. Согласно другому взгляду, глаголы типа *белеться* — хотя и в незначительной степени — все же отличаются от глаголов типа *белеть* в их втором значении либо по признаку известного ограничения состояния субъекта², либо по признаку не вполне четкого проявления его состояния³, связанного с усилением оттенка непереходности и пассивности в обнаружении признака⁴. В ряде случаев указывается на стилистические различия обеих форм⁵. В словарях современного русского литературного языка проводится первая точка зрения, сопровождаемая иногда указанием на разговорный характер форм с *-ся*.

Различия между глаголами типа *белеть* и *белеться* во всяком случае нельзя переводить в плоскость семантики. По лексическому значению их следует признать тождественными. Факт их толкования как различающихся со стороны лексического значения объясняется прежде всего стремлением раскрыть значение морфемы *-ся*. Синхронный анализ должен показать, действительно ли рассматриваемые глаголы с *-ся* должны считаться производными по отношению к соответствующим глаголам без *-ся*. Обратим внимание на следующее. Соотношение типа *белеться*: *белеть* имеется лишь при глаголах с одним и тем же формантом — суффиксом *-е-*. Это позволяет выделить чередующиеся глагольные основы типа *бел-*, *черн-*, *красн-* и т. д.; часть *-ся* при таком соотношении глаголов неотделима от части *-е-*, без которой *-ся* выступать не может. Таким образом, *-е-* в соединении с *-ся* образует единый морфологический комплекс, содержащий две звуковые части, отделяемые друг от друга в составе слова другими морфемами. Выделение форманта *-е- + -ся*, синонимичного *-е-*, основывается

¹ См. «Грамматика русского языка», I, М., Изд-во АН СССР, 1953, стр. 423, 424. Ср.: Н. А. Янко - Триницкая, Синонимические глаголы типа *белеть*—*белеться*, *хвастать*—*хвастаться*, сб. «Вопросы культуры речи», 3, М., 1961, стр. 66 и сл.

² См.: А. А. Шахматов, Очерк современного русского литературного языка, в кн. «Из трудов А. А. Шахматова по современному русскому языку (Учение о частях речи)», М., 1952, стр. 216; R. Jakobson, Shifters, verbal categories, and the Russian verb, Harvard university press, 1957, стр. 8.

³ См.: «Современный русский язык. Морфология», М., Изд-во Моск. ун-та, 1952, стр. 343; Л. А. Булаховский, Курс русского литературного языка, I, 5-е изд., Киев, 1952, стр. 176; А. Н. Гвоздев, Современный русский литературный язык, I, М., 1958, стр. 284; Н. А. Янко - Триницкая, указ. соч., стр. 67.

⁴ Ср. А. М. Пешковский, Русский синтаксис в научном освещении, М., 1956, стр. 119; В. В. Виноградов, Русский язык, М.—Л., 1947, стр. 636.

⁵ См.: «Современный русский язык. Морфология», стр. 343; S. Karcevskij, Système du verbe russe, Prague, 1927, стр. 91.

на наличии ряда чередований значений и их показателей в таких глаголах, как *бел-и (ть)*, *черн-и(ть)*; *бел-е(ть)ся*, *черн-е(ть)ся*; ср. *виднеться*.

Таким образом, глаголы типа *белеться* выходят из сферы внутривглагольного словообразования и занимают место в кругу отыменных глагольных образований. Являются ли глаголы типа *белеть* и *белеться* особой группой отыменных глаголов или их можно включить в какую-то более широкую серию отыменных глаголов? Рассматривая русские отыменные глаголы, можно прийти к выводу, что их подавляющее большинство объединяется в несколько крупных типов, каждый из которых обладает одним значением форманта, на базе которого, при соединении его со значением основы, складываются конкретные значения отдельных глаголов.

Такими типами являются: 1) глаголы переходные со значением «наделять признаком, обозначенным производящей основой», например: *белить*, *сушить*, *бунтовать*, *брошюровать*, *брикетировать*, *стекловать*, *печалить*, *заботить* и т. п.; 2) глаголы непереходные со значением «приобретать признак, обозначенный производящей основой», например: *белеть*, *сознать*, *свирепеть*, *стекленеть* и т. п.; 3) глаголы переходные со значением «подвергать действию, характер которого вытекает из значения производящей основы», например: *асфальтировать*, *стеклить*, *сверлить*, *гектографировать*, *бойкотировать* и т. п.; 4) глаголы непереходные со значением «проявлять признак, обозначенный производящей основой», например: *разбойничать*, *свирепствовать*, *дружить*, *грустить* и т. п.

Необходимость выделения указанных типов доказывается оппозициями: (1) : (2) — ср. *белить* : *белеть*; *сушить* : *сознать* и т. п.; (1) : (3) — ср. *стекловать* : *остеклить*; (2) : (4) — ср. *свирепеть* : *свирепствовать* — при отсутствии эквивалентности между этими оппозициями [ср. отсутствие эквивалентности между (1) : (2) и (1) : (3), а также между (1) : (2) и (2) : (4)]. Формально тождественные образования с производящими основами тождественного или сходного значения оказываются иногда ярко противоположными по значению. Ср. (1) *печалить* и (4) *грустить* (о *чел-нибудь*); (1) *дружить* (*кого-нибудь с кем-нибудь*) и (4) *дружить* (*с кем-нибудь*); (1) *бунтовать* (=вызывать бунт) и (4) *бунтовать* (=бунтоваться); (3) *бойкотировать* («подвергать бойкоту»). Рассматриваемые типы различаются в их отношении к категории переходности-непереходности.

С точки зрения грамматической 1-й и 3-й типы отличаются тем, что формант наделяет основу свойством переходности, т. е. свойством иметь показатели залогов, 2-й и 4-й типы отличаются тем, что формант наделяет основу непереходностью, т. е. свойством исключать показатели залогов.

С точки зрения отношения значений форманта и производящей основы всем типам свойственно то, что производящая основа исполняет по отношению к форманту роль своеобразного приглагольного дополнения; глагольность сосредоточена в форманте.

С точки зрения отношения признаков, называемых производящей основой, к предметам, обозначаемым в приглагольных позициях, 1-й и 2-й типы объединяются тем, что в обоих этих типах обозначаются признаки, возникающие в предметах (0 → +). Различие между этими типами состоит в том, что у глаголов 1-го типа в связи с их переходностью речь идет о признаках, вызываемых в чем-то определенным действующим лицом, и эти признаки характеризуют предмет, названный либо в прямом дополнении (если глагол выступает в действительном залоге), либо в подлежащем (если глагол выступает в недействительном залоге); у глаголов же второго типа признаки характеризуют только предмет, названный в подлежащем. В глаголах 3-го и 4-го типов производящие основы имеют другой характер. Они обозначают признаки, участвующие или проявляющиеся в процессе. В глаголах 4-го типа (непереходных) признак, обозначаемый производящей основой, характеризует предмет, названный в подлежащем. В глаголах 3-го типа (переходных) признак, обозначаемый производящей основой, имеет связь как с предметом, названным в подлежащем (при действитель-

ном залоге) или в члене с падежной формой *instrumentalis auctoris* (при страдательном залоге), так и с предметом, названным в прямом дополнении (при действительном залоге) или в подлежащем (при страдательном и вообще недеятельном залоге). Конкретное значение глагола 3-го типа характеризуется первичной, «исходной» связью с предметом — исполнителем действия. Это обстоятельство в известной мере сближает 3-й тип с 4-м и 2-м и противопоставляет его 1-му типу.

Таким образом, с грамматической точки зрения (по переходности-непереходности) 1-й и 3-й типы образуют группу, которая противопоставит группе, состоящей из 2-го и 4-го типов. Но с точки зрения тех моментов значения, которые не относятся к залоговой коннотации, 1-й и 2-й типы образуют тесное единство, противопоставленное как 3-му, так и 4-му типу, которые в свою очередь во многом сходны друг с другом. Однако соотношение 1-го и 2-го типов другое, чем 3-го и 4-го. Прежде всего и 3-й, и 4-й тип обладают активной предметной отнесенностью, в то время как для 2-го типа характерна лишь пассивная предметная отнесенность, в отличие от 1-го типа, который обладает и пассивной и активной предметной отнесенностью. С этой точки зрения 2-й тип противопоставляется всем другим. С другой стороны, 4-й тип противопоставляется всем другим как обладающий лишь активной предметной отнесенностью. И, наконец, для 1-го типа характерно то, что признаки, обозначаемые производящей основой, характеризуют предмет, названный в прямом дополнении; это свойство противопоставляет 1-й тип всем остальным, в которых то, что названо в производящей основе, характеризует исключительно или преимущественно предмет, названный в подлежащем (*resp.* в *instrumentalis auctoris*).

Проведенные наблюдения можно изобразить в схеме (см. стр. 80), в которой обозначены возможные дихотомические деления.

Рассмотренное различие типов отыменных глаголов удобно было бы зафиксировать терминологически следующим образом: 1) *verba faciendi*, 2) *verba fiendi*, 3) *verba efficiendi*, 4) *verba exercendi*. Вне охарактеризованных типов остаются лишь сравнительно мелкие группы отыменных глаголов, форманты которых обладают более дифференцированным значением. Это, в частности, непереходные глаголы типа *пороситься*, переходные — типа *кинофицировать* и некоторые другие.

Каково отношение отыменных глаголов типа *белеть/белеться* к рассмотренным типам отыменных глаголов? Обычно для этих глаголов устанавливается значение «выделяться по цвету, виднеться», что должно вести к выделению их в особую мелкую группу. Однако после отделения значения, связанного с производящими основами (прилагательными), оказывается, что нет необходимости выносить глаголы типа *белеть/белеться* за пределы основных типов отыменных глаголов. Их можно сблизить с глаголами 4-го типа. К 1-му и 3-му типам они не могут относиться, поскольку являются непереходными, по отношению к глаголам 2-го типа они или омонимичны (ср. *белеть* — *белеть* /становиться белым) или находятся к ним в прямой оппозиции (*белеться*: *белеть/становиться белым*).

Общее значение глаголов 4-го типа — «активное проявление признака, названного в производящей основе» — в конкретных глаголах осложняется дополнительными значениями; различия между ними следует считать комбинаторными. Одно из комбинаторных различий создается значением глаголов типа *белеть/белеться* «выделяться цветом, виднеться», которое является результатом взаимодействия названного общего значения форманта и данных значений основ; оно предстает в таком виде: «активное проявление (формант) цвета (производящая основа)». Тождественное значение свойственно и некоторым глаголам с другим формантом; ср. *золотиться*, *серебриться*. Тот же показатель встречается и в глаголах, с несомненностью принадлежащих к 4-му типу; ср., например, *суетит ся*.

Форманты выделенных типов реализуются при разных основах разными показателями — эквивалентами, многие из которых относятся сразу к

двум или нескольким формантам. Таким образом, основные группы глаголов 1-го типа — это образования типа *белить*, *брошюровать*, *легализовать*. Наряду с ними имеются и другие глаголы, например: с приставкой *у-* — *уточнить*, *ускорить* (суффикс является здесь показателем видовых различий), с приставкой *о-* — *обескровить*. Основным суффиксом глаголов 2-го типа является суффикс *-е-* (*белеть* и т. п.), но известны и глаголы с другими показателями (ср. *сознать*, *атрофироваться*). Суффиксальные

		Производящая основа характеризует прямое дополнение	Производящая основа характеризует подлежащее или <i>instrumentalis actus</i> (исключительно или прежде всего)
Переходность	Активная и пассивная предметная отнесенность	1	3
		2	4
Переходность	Только пассивная предметная отнесенность	Признаки „0 → +”	Только активная предметная отнесенность Признаки не „0 → +”

Поправка. На схеме слева внизу следует читать: Непереходность.

показатели (но не приставки) 3-го типа те же, что и у 1-го типа (чаще всего употребляются суффиксы *-ова-*, *-ирова-*). 4-й тип отличается широкой пространственностью суффиксов *-а-* [при основах на *-ник-* (ср. *мошенничать* и т. п.), а также других (ср. *обедать*, *охать*)], *-ича-* (главным образом при основах прилагательных на *-н-*; ср. *интимничать*; ср. *подличать*), *-нича-* (при основах на *-й-*; ср. *лентяйничать*), *-ствова-* (*свириствовать* и др.), но применяются здесь и средства, свойственные 1-му типу (ср. *партизанить*, *рыбачить*, *балагурить* и т.п. (преимущественно при основах существительных на *-ак-*, *-н-*, *-р-*), *плутовать*, *тосковать*, *пьянствовать*), а также другие средства (ср. *суетиться*).

К показателям форманта 4-го типа следует присоединить суффикс *-е-* и отсутствующий в других типах суффиксально-постфиксальный⁶ элемент *-е-+ся*, как показатели, употребляющиеся при основах прилагательных, обозначающих цвет и родственные понятия (за немногими исключениями; ср. *золотиться*). Суффикс *-е-* употребляется при тех же основах прилагательных, что и *-е-+ся* (за исключением основы *видн-*), однако не только при них (ср. *синеть*, *голубеть*, а также глагол с производящей основой другого характера: *вдоветь*). Из этого следует, что суффикс *-е-* является и синонимом, и эквивалентом *-е-+ся* (ср. его эквивалентность и другим показателям 4-го типа). Таким образом, оппозиции *белить* : *белеть* : *белеться* соответствуют корреляции 1-го, 2-го и 4-го установленных типов именных глаголов.

⁶ Ср. R. Jakobson, указ. соч., стр. 11.

Ф. А. НИКИТИНА

ПРОТЕТИЧЕСКИЕ ГЛАСНЫЕ ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОГО ЯЗЫКА
КАК РЕФЛЕКСЫ ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ ЩЕЛЕВЫХ

До настоящего времени протетические гласные древнегреческого языка остаются загадкой в компаративистике. Правда, ларингальная теория, внесшая много нового в изучение древнейшего состояния индоевропейских языков, пыталась и здесь сказать свое слово. Э. Бенвенист и Е. Курилович выдвинули гипотезу о происхождении протетических гласных из ларингальных. У этой гипотезы есть и сторонники, и противники¹. Однако ее нельзя считать доказанной для всех протетических гласных².

В данное время есть основание говорить о ларингальном происхождении протетических гласных, стоящих перед ρ, λ, μ, ν, Φ. В пользу этого можно привести три довода.

1. Наличие таких форм с протетическими гласными, которым соответствуют хетские слова с начальным *h*: греч. ἀῆμι, лат. *ventus*, хет. *hwantes* (*hu-wa-an-te-eš*); греч. ἄεσα (*vóχλα... ἄεσα*), санскр. *vāsati*, гот. *wisan*, хет. *hwistsi*; греч. ἄεθλος, ἄεθλον, гот. *wadi*, хет. *hwityatsi* (*hu-it-ti-ḫa-zi*).

2. Наличие долгих начальных сонантов у Гомера. Безусловно, не все долгие начальные сонанты в «Илиаде» и «Одиссее» восходят к сочетаниям «ларингальный + сонант». Но, кроме тех примеров, на которые указал Остин³, можно привести еще следующие. В «Илиаде» (Φ 283, 329) встречается форма ἀπό (F) ἐΐρη с долгим *ο*, которое указывает на удвоение следующего за ним сонанта (FF). Эта форма представляет собой аорист I сигматический сослагательного наклонения. Есть следующие родственные формы: part. aoristi ἀποῦρας < *ἀπό-Φρας, fut. ἀποῦρήσω < *ἀπο-Φρήσω. Корень этих слов **wer-* тот же, что и в слове ἀείρω < *ἀΰρω. Начальный гласный слова ἀείρω объясняли по-разному. Одни считали его древним индоевропейским префиксом, другие — протетическим гласным. Второе предположение кажется более убедительным, так как нет веских оснований считать α- в данном слове префиксом.

Итак, есть две родственные формы: ἀείρω < *ἀΰρω и ἀπό (F) ἐΐρη, вернее *ἀποFFερρη, из которых одна имеет перед сонантом неэтимологический гласный, а другая обнаруживает удвоение этого сонанта. Сравнение указанных двух форм дает нам основание считать, что в слове ἀείρω α представляет протетический гласный — рефлекс исчезнувшего звука,

¹ W. M. Austin, The prothetic vowel in Greek, «Language», XVII, 2, 1941; L. L. Hammerich, Laryngeal before sonant, København, 1948; G. M. Messing, Selected studies in Indo-European phonology, сб. «Harvard studies in classical philology», Cambridge, 1947.

² Гипотезе о ларингальном происхождении протетических гласных некоторые исследователи необоснованно и преждевременно придают универсальное значение (ср., например, статью Я. М. Боровского «Краткий очерк греческой фонетики» — приложение к русскому переводу кн.: П. Шаптрэн, Историческая морфология греческого языка, М., 1953; см. также: Г. С. Клычков, Индоевропейское *z* и некоторые вопросы ларингальной теории, сб. «Процессы развития в языке», М., 1959).

³ W. M. Austin, указ. соч.

а в слове *ἀποFFερσή этот звук не развился в гласный, а удлинил сонант F.

Глагол (F) ἐργω встречается у Гомера без протезы [Р 571 и др., производный глагол (F) ἐργάθω, Λ 437] и с протезой [ἐ(F)ἐργω, Β 617, 845 и пр., ἐ(F)ἐργαθε, Ε 147, Ξ 36]. В аттическом диалекте этот глагол имеет форму εἶργω (<*ἐFεργω), т. е. с протетическим гласным. В «Одиссее» (ξ 411) мы встречаем выражение ἄρα (F) ἐρέαυ. Долгое α в ἄρα предполагает, что за ним следовал долгий начальный сонант [žра (FF) ερέαυ]. Сопоставление ἐ(F)ἐργω, т. е. формы с протетическим гласным, и (F)ἐρέαυ с начальным долгим F дает нам возможность заключить, что протетический гласный в ἐ(F)ἐργω возник из ларингального звука, удлинившего сонант F в форме (F)ἐρέαυ.

Среди тех слов, которые дают чередование форм с протетическими гласными и без них, можно рассмотреть следующую группу: ἀλαπάξω «исчерпывать, истощать, разрушать, уничтожать, разорять, испытывать»; λαπάξω, λαπάσσω «опораживать, очищать, опустошать, разграблять»; ἀλαπαδνός, λαπαδνός «слабый»; λαπαρός «мягкий»; λαπάρη «пах». Формы без α- можно было объяснить забвением старого префикса, но κατὰ λαπάρηу, встречающиеся в «Илиаде» (Ζ 64) и др., наталкивает на другое объяснение: α в словах ἀλαπάξω, ἀλαπαδνός может быть рефлексом ларингального.

Таким образом, у Гомера есть следующие формы с начальным долгим сонантом (а этим формам родственны слова с протетическими гласными): 1) λίπα, λιπαρός: γήραι ὑπὸ λιπαρῶ (Λ136); ποσσὶ δ' ὑπὸ λιπαροῖσιν (β 4, δ 309, υ 225, ο 126, Β 44, Κ 132, Ξ 186); γήρας τε λιπαρόν (Κ 368); ἀλείφω, ἀλοιφή, ἄλιπα (гlossа); 2) λαπάρη: οὔτα κατὰ λαπάρηу (Ζ 64; Ξ 447, 517); ὑπὸ λαπάρηу (Χ 307), ἀλαπάξω, ἀλαπαδνός и др.; 3) μαλακός: αἰεὶ δὲ μαλακοῖσιν (α 56); εὐνή ἐν μαλακῇ (γ 196, Κ 75, Χ 504). Кроме того, удлинение начального сонанта в этом слове встречается в λειμῶν μαλακῶ (Hymn. Apoll.), ἀφρῶ ἐν μαλακῶ (Hymn. Apoll. VI, 5), τε μαλακῆу (Hesiod. op. 537); 4) ἀπο(F)ἐρση (Φ 283, 329); 5) ἄρα (F)ἐρέαυ (ξ 411).

3. Последним доказательством ларингального происхождения протетических гласных, стоящих перед сонантами, служит аттическое удвоение. Е. Курилович заметил, что долгий гласный второго слога в таких формах, как ἐλήλουθα или ἐνῆνοχα, представляет продукт слияния е (слога с удвоением) и начального ларингального звука корня; Е. Курилович делает следующий вывод: «Очевидно, начальные группы ρr-, ρl-, ρn-, ρm- и пр. таких корней, как *ρ₁nek „достигать; нести“ *ρ₁nedh- „выходить, подниматься“, *ρ₁leudh- „приходить“ и пр., должны были восприниматься в греческом как фонетические единства. Они повторялись в слоге удвоения»⁴.

Теперь это доказательство ларингального происхождения протетических гласных не поддерживается Е. Куриловичем. В работе, написанной в 1956 г., он говорит: «Из прежнего объяснения мы оставляем только основной пункт: аттическое удвоение свойственно корням с гласной протезой. Вот почему оно не появляется в других языках, кроме греческого. Проблема происхождения протетических гласных не будет интересовать нас здесь. Единственная гипотеза, сформулированная здесь по этому поводу, состоит в том, что они стали самостоятельными гласными фонемами только в доисторический период греческого языка»⁵. Е. Курилович, анализируя свое прежнее объяснение формы ἐλήλουθα из *ρ₁le-ρ₁leudha (с последующим превращением ρ₁ > e и слиянием e + ρ₁ > ē), рассуждает так: если бы ρ₁ было соглас-

⁴ J. K u r y ł o w i c z, Études indo-européennes, I, Kraków, 1933, стр. 31.

⁵ Е г о ж е, L'apophonie en indo-européen, Wrocław, 1956, стр. 270.

ным и ϱ_1^l составляло согласную группу, удвоение состояло бы в повторении первого согласного элемента, т. е. ϱ_1 плюс e и, следовательно, $\varrho e + \varrho_1 \text{loudh} > *η\lambda\omega\theta$; а если бы начальное ϱ_1 в этом корне было вокализировано ($*\epsilon\text{leudh-}$), то удвоение было бы равно удлинению начального звука, откуда опять же возникла бы форма $*η\lambda\omega\theta\alpha$.

Здесь нужно вспомнить долгие начальные сонанты у Гомера. Они свидетельствуют о том, что звук, предшествовавший сонанту и удлинивший его, был, по-видимому, очень тесно связан с сонантом. Поэтому такое сочетание могло восприниматься как единство и, следовательно, удваиваться в перфекте. Кроме того, настоящее время и перфект представляют разные степени аблаута, поэтому в $*\epsilon\lambda\omega\theta$ - предполагаемый начальный звук (Н, или ϱ_1 , по Куриловичу) вокализировался, в перфекте же он мог лишь удлинить начальный сонант. Таким образом, удлинённый сонант дважды выступал в слове $*\text{teludha}$, затем долгота внутреннего l перешла на соседний гласный и образовалась форма $*\eta\lambda\omega\theta\alpha$, получившая уже по аналогии с $*\epsilon\lambda\omega\theta$ - начальное e .

Переход долготы с согласного на предшествующий ему гласный — обычное явление для древнегреческого языка. Такое чередование качеств, как краткий гласный + долгий согласный \rightleftharpoons долгий гласный + краткий согласный, было свойственно древнегреческим диалектам: эол. $\sigma\acute{\alpha}\lambda\lambda\alpha$, дор. $\sigma\acute{\alpha}\lambda\lambda\alpha$, ион. $\sigma\tau\acute{\eta}\lambda\eta$; эол. $\Upsilon\lambda\lambda\alpha\sigma$, ион. $\lambda\epsilon\omega\varsigma$; эол. $\chi\acute{\epsilon}\lambda\lambda\omicron\varsigma$, ион. $\chi\epsilon\iota\lambda\omicron\varsigma$ и др. Наше предположение о происхождении $\epsilon\eta\lambda\omega\theta\alpha < *teludha$ подтверждается анализом формы $\acute{\alpha}\lambda\eta\lambda\iota\mu\mu\alpha\iota$ ⁶, перфекта от $\acute{\alpha}\lambda\epsilon\iota\phi\omega$ (корень $*slei-$): $*te\bar{\lambda}im-mai$ (из $*sle-slim-mai$, где $*sl- > \bar{t}$); затем возникла форма с начальным $\acute{\alpha}$, перешедшим в эту форму по аналогии с $\acute{\alpha}\lambda\epsilon\iota\phi\omega$.

Если в форме $\epsilon\eta\lambda\omega\theta\alpha$ мы постулируем первоначальное долгое l , то в форме $\acute{\alpha}\lambda\eta\lambda\iota\mu\mu\alpha\iota$ l долгое несомненно. Здесь можно было бы проанализировать также $\acute{\alpha}\lambda\eta\lambda\epsilon\sigma\mu\alpha\iota$, восходящее к корню $*smel-$, и $\acute{\alpha}\rho\acute{\alpha}\rho\upsilon\mu\mu\alpha\iota$ от корня $*sreu-$ ⁷.

В указанной выше статье Г. С. Клычкова содержится следующее утверждение о взаимоотношениях между протетическими гласными и начальным s (стр. 27—28): «тот факт, что процессы перехода s в придыхание и вокализация ларингальных в протетический гласный были хронологически смежными, доказываются некоторыми случаями, когда индоевропейское s отражается как протетическая гласная, например $\acute{\alpha}\lambda\iota\sigma\theta\acute{\alpha}\nu\omega$ „я скольжу“, от индоевропейского корня $sleidh-/sleibh-$ (ср. древнеанглийское $slidan$ „скользить“, русское „след“) ... Так как процесс возникновения протетического гласного из ларингального был еще достаточно живым в языке, начальное λ с выпавшим перед ним придыхательным было воспринято как λ с выпавшим ларингальным».

Изучение данных древнегреческих диалектов подводит нас к другому выводу: многие протетические гласные имеют несомненную связь с s mobile⁸. В настоящее время есть возможность говорить не о связи между отдельными разрозненными словами с s mobile и протетическими гласными, а о группах родственных слов, где устанавливается четкое чередование: « s mobile \rightleftharpoons протетический гласный \rightleftharpoons нуль звука». Таких групп можно назвать по крайней мере 6, если оставить более гипотетические связи, нуждающиеся в тщательном исследовании.

1. Древнегреческие слова с корнем $*mel-$ ($\mu\acute{\omega}\lambda\eta$, $\mu\alpha\lambda\acute{\alpha}\chi\omicron\varsigma$ и пр.) безусловно объединяются в одну общую группу со словами, содержащими корень $*meld-$, так как $-d-$ этого корня не что иное, как «расширитель»

⁶ Впоследствии по аналогии с $\acute{\alpha}\lambda\eta\lambda\iota\mu\mu\alpha\iota$ образовался перфект $\acute{\alpha}\lambda\eta\lambda\iota\varsigma\alpha$.

⁷ $\acute{\alpha}\lambda\eta\lambda\epsilon\sigma\mu\alpha\iota$ — перфект от $\acute{\alpha}\lambda\epsilon\omega$ (см. ниже слова с корнем $*smel-$), $\acute{\alpha}\rho\acute{\alpha}\rho\upsilon\mu\mu\alpha\iota$ — перфект от $\acute{\alpha}\rho\acute{\alpha}\sigma\omega$, возводимого Вальде и Покорным к корню $*sreu-$.

⁸ Подробно о связях между s mobile и протетическими гласными писал И. Шрейнен (см. J. S c h r i j n e n, Prothese, KZ, XXXIX, 1906, стр. 485—489).

корня **mel*-⁹. Корень **mel*- со значением «делать мягким; молоть» содержится в значительном количестве слов с протетическими гласными и без них: μέλω, ἀμαλδώνω, ἀμβλίσσω, βλάξ, βλαδαρός, ἀβληγρός, μαλακός, ἐβλαδέως, ἀμβλύς, ἀμαλός, μῶλος, μῶλη, μῶλλω и др. Некоторые из этих слов, например μαλάκος, имеют у Гомера и Гесиода долгий начальный сонант (см. выше). Это свидетельствует о том, что прежде перед начальным *μ* был звук, который впоследствии исчез. Несомненно связь этих древнегреческих слов с нем. *schmelzen* (др.-в.-нем. *smelzan*); *Schmalz*, ст.-слав. *младъ*, лат. *mollis* (< **molduis*), др.-инд. *mṛṣū*, *mārdati*, *mardayati*. Немецкие корни позволяют обнаружить древний индоевропейский корень **smel-* с начальным *s*. Некоторые исследователи считают, что слова ἀλέω, ἀλέτρις, ἄλευρον, ἔλευρα относятся к этому же корню, а начальную *α* возводят к *m-* (ἀλέω < **mleō*). Такого мнения придерживается, в частности, Л. Палмер¹⁰, исследующий тексты пилосских табличек. Форму *meretirija* он толкует как «молольница» (ср. греч. μῶλη, лат. *molo*, ирл. *melim*, русск. *мело*, *молоть*); в надписи Un 728, 10 он читает *mereuro* (идеограмма муки). С этим можно сравнить форму μἄλευρον (вместо ἄλευρον), встречающуюся у Алкея. В связи со словами ἀλέω, ἄλευρον интересно рассмотреть нем. *Schmolle* «мякиш хлеба», латыш. *smēlis*, литов. *smėlŷs* «песок», также относящиеся к корню *(*s*)*mel-*.

II. Большое количество слов относится к корню *(*s*)*lei-* с различными расширениями: **sleig-/slig-*, **sleibh-/slibh-*, **sleidh-/slidh-*, и без них:

1) λίγην, λίγδος, λίγδα (корень **slig-*). Этим словам родственны немецкие слова *schlecht*, *schlicht*. *Schlecht* (ср. гот. *slaihts*) имело первоначально значение «гладкий, сглаженный». Весьма вероятно, что греч. ὀλίγος имело такое же первоначальное значение; тогда есть возможность установить его связь с ὀλισθάνω, ὀλιβρόν и, следовательно, найти этимологию этого слова;

2) ὀλιβρός (корень **sleib-/slib-*). Этому слову родственно нем. *schleifen*. В греческом языке к тому же корню относится ἀλείφω. Интересно в этой связи наличие двух качеств протетического гласного в одном корне (*ι-* и *ο-*);

3) со словом ὀλιβρός связано ὀλισθάνω, родственное нем. *schlitten* (**sleidh-*). К этому же корню относится глагол ἀλίνω (с протетическим гласным и суффиксом), а также существительное λείμαξ, которому соответствует укр. *слимак*, польск. *ślimak*, лат. *limax*.

По-видимому, следует говорить об индоевропейском, а не о греческом родстве таких слов, как ἀλείφω, λείμαξ ὀλίγος, ὀλισθάνω, λίγην. В древнегреческую эпоху связь между этими словами могла быть утрачена. К корню **slei-* с расширителем *-p-* относятся слова λίπος и λιπαρός, обнаруживающие долгий начальный сонант у Гомера¹¹.

III. ἀείρω, ἄορ, ἀορτήρ, ἀπο-(*F*)έρση, ἀπούραξ, ἔριμα, ἐπήρορ. Эта группа обнаруживает несомненную связь с нем. *schwer* и относится к корню **swer-*. Здесь также есть форма, имеющая у Гомера долгий сонант ἀπ-(*F*)έρση.

IV. ἀλαπάξω, λαπάρη, λαπαρός, λαπάσσω есть основания сблизить с нем. *Schlaf*, литов. *slabnūs*, гот. *slēps* «сон»; по значению можно сблизить греч. λαπάρη и серб. *слабина* «пах» (собственно «впалые места») — на

⁹ О таких явлениях в свое время писал Р. Персон («*Studien zur Lehre von der Wurzelweiterung und Wurzelvariation*», Upsala, 1891). Возможности расширения корня различного рода суффиксами обстоятельно разбираются Андреевым (Н. Д. А н д р е в, Из проблематики индоевропейских ларингалов, «Докл. и сообщ. Ин-та языкознания АН СССР», XII, М., 1959).

¹⁰ L. R. P a l m e r, Mycenaean Greek texts from Pilos, «*Transactions of the Philological Society*», 1954—1955, стр. 18—53.

¹¹ В. Георгиев («Исследования по сравнительно-историческому языкознанию», М., 1958) считает λίπος исконно греческим, а ἀλείφω — заимствованным из субстрата.

этом примере становится нагляднее связь между группной ἀλαλάω и пр., с одной стороны, и нем. *Schlaf*, русск. *слабый*, с другой.

V. *σμερνός*, *σμερδαλέος* «страшный, ужасный, грозный». Фр. Клуге сближает их с немецким *Schmerz*, лат. *tordeo*, др.-инд. *mardayati*. Э. Буазак также сближает *σμερδαλέος* с нем. *Schmerz* и греч. *μαρτύω*. Корень **smerd-*, содержащийся в *σμερδαλέος*, является расширением корня **smēr-* в *μαρτύω*. По-видимому, с этими словами непосредственно связано слово *ἀμέρδω* со значением «отнимать, лишать; похищать». По смысловому значению эти слова близки к группе *ἀμέργω* «срываю, сопиливаю», *ἀμοργός* «выжимающий, отражающий», *ἀμόργωμι* «стираю».

Корень **smerg-* в словах *ἀμεργω* и пр. является, очевидно, как и **smerd-*, расширением корня **smēr-*, содержащегося в *μαρτύω*.

VI. У. Шмолль¹², приведя глоссу Гесипия *ἄμοιος·κακός*, сравнивает ее с двумя другими глоссами Гесипия *μοιός·γαλερός*, *φοβρός*, *στουγρός* и *μοιός·σκαθρός*. Эти три слова (*ἄμοιος*, *μοιός*, *μοιός*) являются приближенными синонимами. Шмолль считает, что соотношение между *ἄμοιος* и *μοιός* такое же, как между *ἄμα* и *μία*: **ἄμοιος* : (s)*μοιός*, как *ἄμα* : (s)*μία*, т. е. они отражают различные степени аблаута. Мы разделяем эту точку зрения.

*

Изучение вышеприведенных групп позволяет сделать некоторые выводы. Протетические гласные в этих группах являются, по-видимому, отражением древних щелевых. Остается задуматься над их качеством, решить вопрос, были ли это ларингальные щелевые или *s*. За последнее предположение (протетические гласные отражают *s*) говорит тот факт, что начальное *s* мы встречаем не только в немецком, но и в других языках (ср. русск. *слабый*, литов. *slabūs* и др.), а также такое чередование, как *μοιός* : *μοιός* : *ἄμοιος* (к сожалению, единственный случай). С другой стороны, начальный щелевой ларингальный, близкий по артикуляции к *s*, мог превратиться в греческом, албанском и армянском в гласные, а в других языках (в том числе и в немецком) слиться с *s*. Подтверждением этой точки зрения служит то, что начальная сигма в древнегреческом языке обычно исчезала перед сонантами бесследно, а в случае протезы реконструируемый звук отражается как гласный. Возможно и следующее: в рассмотренных примерах было чередование *s*: ларингальный, например *smel-* \rightarrow *Hmel-* (*ἡμαλδόνω*); *slab-* \rightarrow \rightarrow *Hlab-* (*ἡλαλάω*); *swer-* \rightarrow *Hwer-* (*ἡσέρω*).

Такая первоначальная структура, как **sHmel-* или **sHwer-*, была вряд ли возможна: этого не допускает строение индоевропейского корня¹³, а также большая артикуляционная близость между *s* и *H*. Правда, Г. Хенигсвальд¹⁴ утверждает, что в период, называемый им индохеттским, сочетание *sH* существовало в начале слов, но перед гласными. В данной работе Хенигсвальда содержится предположение, которое следовало бы проверить материалами древнегреческих диалектов: «Только в некоторых случаях наличие или отсутствие *s-* является единственным различием... Часто различается также и гласный. Если это верно — а это важный пункт — форма с *s-* имеет полную степень *e*, в то время как форма без *s-* обнаруживает *a* или *o*... *a* могло действительно быть гласным редуцированной степени, случайно сохранившимся в формах, лишенных *s-*».

В связи с этим можно было бы поставить вопрос, не представляли ли формы с протетическими гласными полную степень корня? Но в древнегреческом языке протетические гласные встречаются не только

¹² U. Sch moll, Die vorgriechischen Sprachen Siziliens, Wiesbaden, 1958.

¹³ См. Э. Бенвенист, Индоевропейское именное словообразование, М., 1955.

¹⁴ Н. М. Ноенигсвальд, Laryngeals and *s* movable, «Language», 28, 2 (pt. 1), 1952.

в полной степени корня (например, ἀμαλδώνω, ἀμβλίσιω), и, напротив, полная степень выступает без протетического гласного (μᾶλδω). Конечно, различные аналогии могли затемнить предполагаемое чередование¹⁵.

Можем ли мы, сопоставляя формы с протетическими гласными и формы с *s mobile*, утверждать, что различные протетические гласные (α, ε, ο) обязаны своим происхождением различным ларингальным? При этом следует вспомнить, что на различии тембров протетических гласных Е. Курилович во многом основывал свой вывод о трех ларингальных. Но в ряде случаев качество протетического гласного зависит от качества гласного в следующем слогe (воздействие последующего гласного трудно исключить в таких, например, формах, как βροφος по сравнению с ἐρέφω, ὀμβρῆνυμι по сравнению с ἀμέρω). Протетические гласные являются, по-видимому, рефлексами одного ларингального, причем первоначально качество их было неясным и определилось лишь впоследствии. Весьма вероятно, что в речевом потоке на качество протетических гласных могли оказывать влияние не только последующие, но и предыдущие гласные. Может быть, таким влиянием и объясняется α в формах ἀν-ἀέδνος, ἀν-ἀέλπτος по сравнению с ε в ἔδνυ, ἐέλπομαι.

Э. Бенвенист писал о *s mobile*: «Мы не можем пока сказать, какую функцию выполняла префиксация с помощью *s-*: функцию усиления? различения омонимических корней? настоящей префиксации? Во всяком случае, тот факт, что *s-* не составляет неотъемлемой части корня, исключает вероятность многочисленных четырехбуквенных корней, в действительности представляющих собой трехбуквенные с приставочным *s-*»¹⁶.

Исследование индоевропейских корней, в которых *s-* чередуется с ларингальным, заставляет задуматься над последним утверждением Бенвениста. В тех корнях, которые мы рассматривали выше, ларингальный по своему рефлексу ничем не отличается от ларингального, отраженного в ἄημι (соответственно хет. *kwantes*) и представляющего часть корня. Если в рассмотренных выше случаях (ἀμαλδώνω: *schmelzen*; ἀέρω: *schwer* и др.) предполагать префиксацию *s-*, то придется предположить, что ларингальный, чередующийся в этих корнях с *s-*, также является префиксом. Тогда можно вообще поставить вопрос о префиксальной или различительной функции начального ларингального. Поскольку же огромное количество индоевропейских корней (по реконструкциям Е. Куриловича, Э. Стертевапта, Э. Бенвениста и др. начиналось с ларингальных, такая постановка вопроса теряет смысл. Естественнее предположить «четырёхбуквенные» формы корней: **smel-* ↔ **Hmel-*; **swer-* ↔ **Hwer-*; **slei-* ↔ **Hlei-* (с различными расширителями).

Сравнение форм с протетическими гласными и форм с *s mobile* позволяет сделать заключение о щелевом и одновременно сонантном характере ларингального, а также подтверждает вывод Н. Д. Андреева о функциях ларингального¹⁷:

«В раннеиндоевропейском — согласный.

В позднеиндоевропейском (и отдельных группах языков) — а) гласный, или б) согласный, или в) поглощенный элемент в долгом гласном, или г) нуль звука». К этому можно прибавить еще одну функцию: поглощенный элемент в долгом согласном (о чем свидетельствуют долгие начальные сонанты у Гомера).

¹⁵ Кроме того, одна и та же форма может встречаться с протезой и без нее: ἐρύω и ἐρύω, причем оба слова имеют полную степень корня. У Гомера можно найти много таких примеров, в частности с протезой перед **w-* и без нее. Напрашивается такая аналогия: в древнейшую эпоху тематические и атематические формы одних и тех же основ сосуществовали, а затем связь между ними была нарушена; возможно, что протетические и апротетические формы одних и тех же корней, содержащих сонанты, были соотносительны, а в историческую эпоху связь между ними во многих случаях уже была утрачена. Ср. соотношение тематических и атематических форм.

¹⁶ Э. Бенвенист, указ. соч., стр. 196.

¹⁷ Н. Д. Андреев, указ. соч., стр. 29.

М. С. МИХАЙЛОВ

ПЕРИФРАСТИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ТУРЕЦКОГО ГЛАГОЛА

Глагол в турецком языке отличается сложным и многообразным морфологическим строением, и среди этого многообразия перифрастическим формам принадлежит особое место¹. Использование различных источников — произведений фольклора, исторических сочинений, художественной литературы, публицистики, прессы и т. п. — позволило обнаружить и классифицировать около 240 типов перифрастических форм и рассматриваемых в синхронном плане словосочетаний-сказуемых, которые выполняют в турецком языке функции, аналогичные функциям перифрастических форм.

Собранный материал, с одной стороны, подтвердил ряд положений, выдвигавшихся в нашей работе 1954 г., а с другой, заставил пересмотреть некоторые из прежних положений. Прежде всего, вопрос о перифрастических формах, которые ранее рассматривались нами в свете категории вида (хотя в то же время отмечалось, что функциями перифрастических форм является также выражение времени и модальности), был пересмотрен с учетом дискуссии по проблемам глагольного вида в тюркских языках, развернувшейся на алма-атинском координационном совещании 24—27 сент. 1956 г.² Признавая, что видовое начало того или иного турецкого глагола проявляется всегда спонтанно в одной или нескольких его формах, а затем так же спонтанно исчезает, и считая наиболее приемлемой точку зрения Б. А. Серебренникова, согласно которой тюркские языки хотя и не имеют грамматической категории вида (как, например, в русском языке), все же располагают достаточным количеством грамматических средств для передачи множества видовых оттенков³, я счел для себя единственно целесообразным расширить понимание спряжения турецкого глагола, скрупулезно фиксируя все перифрастические формы и по возможности точно выявляя значение каждой из них. Наблюдения приводят к выводу, что эти формы выражают, во-первых, начало, длительность, завершение, результативность действия; во-вторых, выполняют функцию уточнения настоящего, прошедшего и будущего времени; в-третьих, выражают различные модальности. Итак, перифрастические формы — это аналитический способ выражения характера протекания действия, времени и модальности.

Для того чтобы представить все богатство и разнообразие средств турецкого языка для передачи видовых оттенков, уточнения временных значений и выражения модальностей, необходимо учесть, что первый компонент (причастие) перифрастических форм может выступать только в форме

¹ См. об этом: М. С. Михайлов, Перифрастические формы и категория вида в турецком глаголе, [М.], 1954. Об изучении турецких перифрастических форм см. там же, стр. 37—45. Добавим, что перифрастические формы приводятся уже в первых грамматиках турецкого языка [см. Hieronymi Megiseri, Institutiones linguae turcicae, Libri quatuor, Leipzig, 1612; Francisci à Mesgnien Melinski, Institutiones linguae turcicae, cum rudimentis parallelis linguarum arabicae et persicae, I, Vindobonae, 1756, стр. 124.

² См. сб. «Вопросы грамматики тюркских языков. Материалы координационного совещания по проблемам глагольного вида и сложноподчиненного предложения в тюркских языках...», Алма-Ата, 1958.

³ См. там же, стр. 30.

возможности, а второй компонент — глагол *olmak / bulunmak* — в формах и возможности, и невозможности и не только изъявительного, но и повелительного, условного, долженствовательного и желательного наклонений; что перифрастические формы могут фигурировать в отрицательной форме, причем аффикс *-ma/-me* может быть включен как в первый, так и во второй компонент.

Принимая во внимание, что в некоторых формах можно наблюдать перенелетение пазванных функций, в основу классификации перифрастических форм, значение которых было уточнено в свете изложенного, мы положили семантико-морфологический принцип; в результате перифрастические формы были распределены по следующим группам.

I. Перифрастические формы, характеризующие протекание действия во времени.

1. Перифрастические формы типа *-mak + -ta olmak / bulunmak*, выражающие постепенность, непрерывную длительность действия в настоящем или прошлом, процесс действия. Зарегистрированы формы: *-makta bulunmuştu, -makta olan, -makta olmasına rağmen, -makta olduğu*.

2. Перифрастические формы типа *-(a)r olmak / bulunmak*, выражающие начало действия, и формы типа *-maz olmak / bulunmak*, обозначающие завершение действия. В турецком языке формы этого типа представлены весьма широко: *-(a)r oluyor, -(a)r olur / bulunur, -(a)r olurdu, -(a)r gibi olmuş(tu)* и соответственно *-maz oluyor(du), -maz olur, -maz olmuş, -maz oldu, -maz ol* и др.; формы на *-(a)r / -maz* в сочетании с формами желательного наклонения глагола *olmak*; формы на *-(a)r / -maz* в сочетании с формами условного наклонения и условной модальности глагола *olmak*, а также перифрастические формы на *-(a)r gibi olan, -maz olan, -(a)r olup, -(a)r gibi olunca, -(a)r olduğu, -maz olduğu* и др.

3. Перифрастические формы типа *-miş olmak / bulunmak*, выражающие результативность действия, представлены также довольно широко: *-miş ol, -miş oluyor, -miş olur, -miş olmaz, -miş bulunmaktadır, -miş oldu / bulundu*; форма на *-miş* в сочетании с различными формами желательного и условного наклонений *olmak* [*-miş olsun, -miş ola, -dik ola, -miş olaydı; -miş olsa (ydi), -miş bulunuyorsa*] и др.

II. Перифрастические формы, уточняющие временные значения, а также передающие результативность действия. В языке зарегистрированы формы: *-yor olma, -miş olan, -miş olduğu, -miş olmasına rağmen, -miş olup, -miş olarak, -miş iken, -miş olma, -(y)acak olma*.

III. Перифрастические формы, выражающие модальность.

1. Формы, выражающие утвердительную и отрицательную модальность, — это формы изъявительного, долженствовательного наклонения любого глагола *+ değil (di)*, а также формы на *-(y)an olmak / bulunmak, -(y)an olmamak / bulunmamak*, употребляемые в предложениях без грамматического подлежащего. Примеры: *İlk önce ben de geri dönmeği ister değildim* (S. A., D., 163)⁴. «Прежде всего и я совсем не хотел возвращаться назад»; *Bilmiyor değilim birader anna* (R. N., S. Y., 135)

⁴ В статье приняты следующие сокращения: Aş. P. — Aşık Paşa, Garipname, Örneklerle Tarama Sözlüğü denemesi, İstanbul, 1942; E. Ç., S. — Evliya Çelebi, Seyahatnamesi, I — ci cilt, б. г., б. м.; F. E., P. — Fahri Erding, Petrol, в кн. «Литературная хрестоматия на турецком языке». Сост. Л. Н. Старостов, Е. В. Сумян, М., 1954; H. R., M. T. — Hüseyin Rahmi, Muhabet tilsimi, İstanbul, 1928; N. — XVIII-inci asır Nedim, в кн. «Eski şairlerimiz», İstanbul, б. г.; N. H., B. A. M. — N. Hikmet, Bir aşk masalı, в кн. «Литературная хрестоматия...»; N. H., Y. T. — N. Hikmet, Yol Türküsü, там же; O. K., B. T. Ü. — O. Kemal, Bereketli topraklar üzerinde, б. г., б. м.; R. I., S. — Rifat Ilgaz, Sanatıyım, в кн. «Литературная хрестоматия...»; R. N., S. Y. — Reşat Nuri, Sönmüş yıldızlar, İstanbul, 1923; S. A., D. — S. Ali, Düşman, в кн. «Литературная хрестоматия...»; S. A., S. K. — Sabahattin Ali, Sirca Köşk, İstanbul, 1947; S. S., S. S. — Sadat Semavi, İsesli, sessiz ve renkli sinema, Kanaat kütüphanesi, İstanbul, 1931, Y. K., S. Ş. — Yakup Kadri, Son şarkı, İstanbul, 1956.

«Конечно, я знаю, (это) приятель, но...»; *Bazı «kimsin» diye soran bulunmaz* (N. H., Y. T., 28) «Иногда никто не спрашивает, кто ты»⁵.

2. Формы, передающие предположительную модальность. К ним относятся конструкции, имеющие следующий состав: а) имя действия на *-mak + olmalı*; б) формы изъявительного наклонения любого глагола *+ olmalı*; в) *-maz olacak(tı), -miş olacak(tı)*.

3. Формы, передающие модальность намерения. Сюда отнесены конструкции: а) имя действия на *-mak* смыслового глагола *+* послелог *üzere* в сочетании с личными формами глагола *olmak / bulunmak*; б) причастие будущего времени на *-(y)acak* либо «причастие» на *-(y)ıcı* в сочетании с личными формами глагола *olmak*; в) причастие на *-(y)ası* в сочетании с личными формами глагола *olmak*; г) *-malı olmak / bulunmak*. Примеры: *Tiyatro hakikaten ölmüş veya ölmek üzere mi bulunuyor* (S. S., S. S., 57) «Театр действительно умер или в настоящее время близок к смерти»; *Kahveye çikiyoruz, bir kaç arkadaş saza, pilâje gidecek oluyoruz* (S. A., S. K.) «Несколько товарищей, мы ходим в кофейню, позволяем себе пойти на пляж, послушать саз»; *Mecnun oldu canın oda atası* (Aş. P., 127) «Меджнун готов был ринуться в огонь»; *Çocuk bu tekdir karşısında ağlamalı oldu* (H. R., M. T., 17) «Получив такой нагоняй, ребенок вот-вот готов был заплакать».

4. Формы типа *-(a)r ola, -(y)acak ola*, выражающие модальность сомнения. Примеры: *Fatmanın eri Omar Zorlu beni görse ne der ola (ne der acaba)* (O. K., B. T. Ü., 220) «Если муж Фатмы Омар Зорлу увидит меня, любопытно знать, что он скажет?»; *Öyle mi? dedi, tren geç mi gelecek ola* (там же) «Вот как? — сказал он. — Интересно знать, поздно ли придет поезд».

5. Перифрастические формы *+* аффикс *-dir* (усиливающий модификатор), благодаря которому они приобретают оттенок категоричности, определенности утверждения; таковы: *-makta bulunmuştur, -(y)an olmuştur, -maz olmuştur, -yor olmalıdır, -miş olmalıdır, -miş olsa gerektir* и др. Примеры: *Yetmez olmuştur nefes bir ateşin feryada dek* (N., 560) «Не хватало уже одного мгновения до пылкого вскрика»; *Böylesi görül-müş değildir* (N. H., B. A. M., 91) «Подобного еще не (было) видно».

*

Собранные мною словосочетания-сказуемые, которые рассматриваются здесь в синхронном плане, близки к перифрастическим формам по своим функциям и имеют специфическую структуру:

а) первый компонент выражается субстантивированным причастием на *-dik* или *-(y)acak*, оснащенным аффиксами принадлежности; второй компонент передается формами 3-го лица ед. числа любого времени глаголов *olmak, gelmek* или же словами *var(dır), yok(tur), var idi/vardı, yok idi/yoktu, var imiş/varmış, yok imiş/yokmuş*.

б) первый компонент выражается субстантивированным причастием на *-(y)acak* или формой на *-(y)ası*, снабженными аффиксами принадлежности, второй компонент — формами 3-го лица ед. числа любого времени глагола *gelmek*;

⁵ В отношении форм этого типа П. И. Кузнецов, который никак не аргументирует своего мнения, пишет: «По-видимому, здесь имеет место какое-то недоразумение. В сочетаниях того типа, о котором говорит М. С. Михайлов, причастие на *-an* выступает в роли подлежащего, а глагол *olmak* — роли сказуемого» (П. И. Кузнецов, К вопросу о перифрастических формах турецкого языка, «Краткие сообщения Ин-та востоковедения [АН СССР]», XVIII — Языкознание, М., 1956, стр. 32). Здесь мы наблюдаем типичный пример попытки разложить единое, неразложимое на два самостоятельных компонента. Несостоятельность этого мнения опровергается, в частности, следующим взятым из литературы примером: *Babam annam dadım birbiri ardısıra topırağa karıştılar, halamın kızı Hasibecik ise yirmi yaşta basmadan onlara ilk yolu açan oldu* (Y. K., S. Ş.) «Мои родители, моя нянюшка один за другим сошли в могилу, а моя двоюродная сестра, бедная Хасибек, не дожив и до двадцати лет, возьми да и проложи им этот путь!»

в) первый компонент передается именем действия на *-mak / -mek*, второй компонент одним из слов *var, yok, olur, olmaz, gerek, mümkün* и др.

В результате соединения этих двух компонентов получаются словосочетания-сказуемые, представляющие собой неразложимое единое целое.

В отношении характера и структуры описанных словосочетаний может быть выдвинута и другая точка зрения, основанием для которой служит формальный грамматический анализ. Согласно этой точке зрения, первый компонент таких словосочетаний является подлежащим, а второй — сказуемым. В этой связи следует указать, что в подобных словосочетаниях первый компонент может быть выражен только определенными и причастиями или именами действия, обязательно снабженными аффиксами принадлежности, а второй компонент — только одним из двух глаголов — *olmak* или *gelmek* — либо предикативными словами *var(dir), var idi / vardı, yok(tur), yok idi / yoktu*.

По своей семантике подобные предикативные словосочетания могут быть распределены по трем группам:

1. Словосочетания типа *-diği olmak, -diği var(di), -diği yok(tu)*, выражающие кратность действия. Примеры: *Bazan hayvanlara imrendiğim olur* (F. E., O., 369) «Иногда случается мне завидовать животным»; *Bizi etsiz kuduğu yok!* (O. K., B. T. Ü., 169) «Он не оставляет нас без мяса».

2. Словосочетания-сказуемые, где первый компонент — имя действия на *-mak*, а второй — один из следующих предикативных слов или глаголов: *var(di), olur, yok(tu), olmaz, gelmez, geliyor(du), mümkün değil, lazım gelmek / olmak, lazım gelmek, lüzum (u) yok, kabil olmak*, выражают модальные отношения (необходимость, возможность, невозможность, целесообразность, нецелесообразность и т. п.). Примеры: *Halbuki o kahrolasıyı öldürmek vardı* (N. H., B. A. M., 106) «Между тем нужно было убить этого проклятого»; *Kimler kim olur a olsun saklanmak lâzımdı* (H. R., M. T., 295) «Кто бы они ни были, необходимо было спрятаться»; *Gırgıra asılmak yok demek* (R. I., S., 286) «Значит, нельзя предаваться трескотне без умолку»; *Bunu saklamağa lüzum yok* (R. N., S. Y., 74) «Не нужно скрывать этого».

3. Словосочетания, выражающие утвердительную и отрицательную модальность [*-(y)an var(di), yok(tu)*], модальность намерения [*-(y)acak, -(y)ası gelmek*], предположительную модальность [*-sa olsa, -(ma)mış olsa + gerek*], модальность притворства [*-(ma)mazlıktan, -(ma)mazlığa gelmek*]. Примеры: *Beş seneden beri ne arayan var, ne soran* (R. N., S. Y., 135) «Вот уже пять лет никто не ищет и не спрашивает»; *Başka diyeseğim yok* (F. E., P., 372) «Мне не остается (ничего) другого сказать»; *Yarın gelse gerek idi* (E. Ç., S., B. Ç., 125) «Завтра он как будто должен был придти»; *Gelen (suali işitmemesizlikten gelir)* (N. H., B. A. M., 80) «Незнакомец (притворяется, что не слышит вопроса)».

*

Все вышеперечисленные перифрастические формы и рассматриваемые в синхронном плане словосочетания-сказуемые являются своеобразными средствами для характеристики протекания действия, выражения модальности и оттенков времени. Выделение перифрастических форм и словосочетаний-сказуемых в самостоятельный раздел грамматики турецкого языка позволяет поставить вопрос о возможности аналогичного подхода к таким же языковым единицам в других тюркских языках.

ПРИКЛАДНОЕ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ

Ю. В. КНОРЗОВ

МАШИНАЯ ДЕШИФРОВКА ПИСЬМА МАЙЯ

Во второй половине 1960 г. группой сотрудников Института математики Сибирского отделения АН СССР был предпринят опыт дешифровки письма майя при помощи электронной вычислительной машины. Результаты этой работы были доложены на Конференции по обработке информации, машинному переводу и автоматическому чтению текста (Москва, 21—30 января 1961 г.)¹; одновременно было опубликовано чтение (точнее — транслитерация без перевода) отрывков текстов майя².

Ценность работы, проделанной сотрудниками Института математики, состоит в том, что впервые была практически доказана возможность успешно изучать древние системы письма при помощи вычислительных машин³. Теоретически этот вопрос возник несколько лет назад, после того как статистические методы были успешно применены «ручным» способом для дешифровки древних систем письма (М. Вентрисом для силлабического критского письма и автором настоящей статьи для иероглифики майя). Таким образом, применение вычислительных машин для целей дешифровки явилось логическим следствием и завершением нового этапа в развитии теории дешифровки, характеризующегося широким использованием статистики.

Ставя перед собой общую задачу исследования «возможностей применения вычислительной техники для решения задач древних систем письменности и выработки методики эффективного использования электронных вычислительных машин для этих целей» (Евр. I, стр. 3), авторы докладов имели в виду применительно к иероглифическим текстам майя «установление соответствия между словами лексического материала и текстами рукописей и определение на этой основе характера использования и значений иероглифических знаков» (Евр. I, стр. 4); из опубликованных материалов следует, что фактически ставилась более узкая задача — дать транслитерацию иероглифических текстов латинскими буквами (точнее — так называемым «традиционным» алфавитом майя), без попыток перевода. Авторы, разумеется были знакомы с «ручной» дешифровкой письма майя и применявшимися при этом методами.

¹ Опубликованы три доклада (в серии «Докл. на Конференции по обработке информации, машинному переводу и автоматическому чтению текста», 11, М., 1961): Э. В. Евреинов, Ю. Г. Косарев, В. А. Устинов, Исследование рукописей древних майя с помощью электронной вычислительной машины. Методы исследования; Э. В. Евреинов, Ю. Г. Косарев, В. А. Устинов, Исследование рукописей древних майя с помощью электронной вычислительной машины. Алгоритмы и программы; В. А. Устинов, Исследование рукописей древних майя с помощью электронной вычислительной машины. Анализ письменности. В целях упрощения ссылки доклады в дальнейшем именуется Евр. I, Евр. II и Уст.

² Э. В. Евреинов, Ю. Г. Косарев, В. А. Устинов, Исследование древних рукописей майя с помощью электронной вычислительной машины. Предварительные результаты, Новосибирск, 1961 (в дальнейшем именуется Евр. III).

³ В апреле 1960 г. было опубликовано сообщение о начале аналогичной работы американскими учеными (см. «American antiquity», XXV, 4, 1960, стр. 636).

В качестве объекта изучения сотрудники Института математики избрали Дрезденскую и Мадридскую рукописи майя. Палеографическая работа (как, например, опознание неясно написанных знаков, выявление описок и т. д.) не велась, а был использован подготовленный автором настоящей статьи текст всех рукописей и некоторых надписей майя, закодированный цифрами (каждому знаку соответствовало трехзначное число), а также каталог знаков с указанием аллографов. Исключение из рассмотрения Парижской рукописи было нецелесообразным, так как Мадридская рукопись находится в гораздо худшем состоянии, а кроме того сужение имеющегося материала затрудняет исследование. В качестве основных источников по языку майя колониального периода использовались словарь из Мотуля, книга Чилам Балам из Чумайеля и кодекс Переса⁴.

Прежде чем начать исследования, сотрудники Института математики сочли необходимым принять некоторые предварительные гипотезы и ввести критерий достоверности. Гипотез понадобилось две: «1) о характере письма (письменность иероглифическая, где знаки являются фонетическими, идеографическими и детерминативами); 2) о соответствии значений слов словарей и лексического материала колониального периода словам текстов древних рукописей» (Евр. I, стр. 4).

Принимать первую гипотезу не было необходимости. Тип системы письма определяется вполне точно уже по количеству знаков, не говоря о более сложных статистических характеристиках. Это признают сами авторы: «По количеству знаков с какой-то вероятностью можно судить о системе письма и способе употребления знаков» (Уст., стр. 10); на основании того, что в текстах рукописей употребляется «менее 372» знаков, делаются следующие выводы: «очевидно, что при таком количестве знаков не может быть чисто алфавитной системы письма, не может быть и чисто идеографической системы. Для первой системы знаков слишком много, а для второй — явно мало. ... Система этого письма не может быть и чисто слоговой, так как различных слогов в языке майя около 1400, что почти в четыре раза больше количества знаков. Остается предположить, что система письма древних майя допускает смешанное употребление знаков, где они могут являться алфавитными, слоговыми и идеографическими» (Уст., стр. 10). Из этих рассуждений ясно, что авторы в общем понимают ненужность первой гипотезы, но не имеют четкого представления об иероглифической системе письма. Под последней понимается морфемно-силлабическое письмо, в котором знаки передают морфемы (идеограммы), но часть морфемных знаков используется также в качестве фонетических для передачи частей других морфем (силлабическое написание) и употребляется в качестве ключевых (детерминативов). Ввиду того, что в языке майя XVI в. морфема по фонетическому составу тождественна слогу, ясно, что количество морфемных знаков (идеограмм) для этого языка точно совпадает с количеством слоговых, и никакой разницы между слоговыми и идеографическими знаками (в понимании авторов) в этом случае нет. Кроме того, приведенные выше рассуждения авторов основаны на второй гипотезе авторов, согласно которой язык иероглифических текстов тождественен языку майя колониального периода.

Следует отметить, что вторая гипотеза так же не нужна, как и первая. Определение языка неизвестных текстов является задачей исследования, а не его предварительным условием. Авторы по существу уклонились от решения этой задачи и приняли в качестве «гипотезы» допущение, заведомо неправильное (общеизвестно, что любой язык, в том числе язык майя, изменяется, а факт большого отличия языка иероглифических текстов от

⁴ См.: J. Martínez Hernández, Diccionario de Motul, maya-español, atribuido a Fray Antonio de Ciudad Real y Arte de lengua maya por Fray Juan Coronel, Mérida, 1929; R. L. Roys, The Book of Chilam Balam of Chumayel, Washington, 1933; E. Solís Alcalá, Códice Pérez. Traducción libre del maya al castellano, Mérida, 1949.

языка майя колониального периода бесспорно доказан), по крайне упрощающее проблему. Если бы действительно мы имели дело с текстами на известном языке, записанными неизвестным письмом, то речь шла бы о шифре простейшего типа, определить который не составило бы особого труда. Авторы по существу принципиально отказались от решения проблемы дешифровки древних текстов, язык которых всегда известен только отчасти. Это обстоятельство предопределило результаты машинной дешифровки. Авторы «ирочли» (г. е. транслитерировали) только те слова, которые совпадают в языке иероглифических текстов и в языке колониального периода. А так как почти все эти слова были уже давно выявлены и прочтены, то оказалось, что «машинная» дешифровка представляет собой частичное дублирование «ручной».

Помимо этих двух гипотез, авторы приняли критерий достоверности: «условия принятого нами критерия достоверности отождествления слов следующие: 1) знак при одинаковом употреблении в различных словах должен иметь одно и то же значение; 2) все отождествленные слова должны быть в словаре Мотуль; 3) фразы из отождествленных слов должны соответствовать теме, разделу, рисунку и календарной дате» (Евр. I, 5).

Первое условие является общепринятым в работах по дешифровке. Оно сводится к тому, что знак должен читаться одинаково в разных словах (перекрестные чтения). Этим критерием пользовались при дешифровке всех древних систем письма, в частности на этом же критерии основана дешифровка письма майя, реализованная автором настоящей статьи. Второе условие является следствием рассмотренной выше второй «гипотезы». Принять его — значило, что авторы не смогут прочесть никаких новых слов, кроме уже опубликованных, что полностью подтвердилось полученными результатами. Третье условие сводится к соответствию фраз и рисунков (даты перед параграфами рукописей и прочее никакого практического значения при дешифровке не имеют). Вообще это условие допустимо, но не является безусловным, так как в ряде случаев рисунок не соответствует тексту (не говоря уже о случаях отсутствия рисунков). С теоретической точки зрения это условие является случайным, так как древний текст вовсе не обязательно должен быть иллюстрирован.

Рассматривая принятые авторами предварительные гипотезы и условия критерия достоверности, следует констатировать, что они означают отказ от решения первоначально поставленной задачи (изучение древних текстов, написанных неизвестным письмом на отчасти известном языке) и замену ее несравненно более простой (транслитерация без перевода текста, написанного неизвестными знаками на полностью известном языке).

Исследование материала велось в таком порядке: сначала обрабатывались иероглифические тексты и независимо от них лексические материалы; затем полученные в результате обработки указатели сопоставлялись на основе условий критерия достоверности, в результате чего знак сопоставлялся со словом, а иероглиф — со словом или словосочетанием.

В иероглифических текстах обработке подвергались отдельные знаки и иероглифы («комплексы знаков»). При изучении отдельных знаков подсчитывалась их частота. Как справедливо указывают авторы, статистический метод «позволяет с достаточной надежностью установить значение отдельных знаков» (Евр. I, стр. 9). Следует, однако, заметить, что результаты, полученные авторами посредством именно этого метода, минимальны. Кроме того, определялся предмет, изображение которого лежит в основе того или иного знака («метод, основанный на определении смысла знака по его пиктографическому содержанию» — Евр. I, стр. 9); здесь авторам приходилось попросту использовать имеющиеся определения. Помимо этого, обработка текстов состояла в определении смысла отдельных иероглифов путем сопоставления фраз и сопровождающих их рисунков («Метод, основанный на использовании соответствия отдельных элементов рисунков из различных разделов комплексам знаков текста, дает возмож-

ность установить функциональное значение отдельных комплексов и в ряде случаев найти словарное значение данного комплекса» — Евр. I, стр. 9). В первую очередь определялись иероглифы, передающие имена персонажей. Если в фразах над изображением определенного персонажа появлялся в большинстве случаев один и тот же иероглиф, то принималось, что он передает имя этого персонажа. Аналогичным образом сопоставлялись с иероглифами изображения животных, растений и различных объектов, а также действия, совершаемые персонажами.

После того как определен таким образом смысл отдельных иероглифов, имеется возможность определить общий смысл группы иероглифов в фразах, не сопровождаемых рисунками. Так как фразы в рукописях майя в большинстве случаев параллельны по своей структуре (например, типа *АБКВ, АБЛВ, АБМВ, АБНВ*) и известно, например, что третий по счету иероглиф (*К, Л, М*) в трех фразах передает имена персонажей, изображенных на рисунках, можно предполагать, что и в четвертой фразе (не сопровождаемой рисунком) третий по счету иероглиф (*Н*) тоже передает имя какого-то персонажа («метод, основанный на использовании закономерностей в структуре разделов, фраз и комплексов» — Евр. I, стр. 9). Аналогичным путем можно установить аллограммы («метод, основанный на сопоставлении комплексов, состоящих из различных знаков, но имеющих одинаковый смысл», Евр. I, 9), хотя авторам найти их не удалось.

Обработка лексических материалов производилась параллельно обработке иероглифических текстов — подсчитывалась частота слогов и слов и, кроме того, составлялись списки слов в зависимости от их значений (животный и растительный мир, различные ремесла, предметы быта, боги, ритуалы, жертвы, астрономические и календарные термины, наиболее употребительные слова). В связи с большим расхождением в лексике между языком майя колониального периода и языком иероглифических текстов списки эти оказались в основном бесполезными.

При сравнении обработанных материалов знаки сопоставлялись со слогами по частоте, количеству знаков в иероглифе сопоставлялось с количеством слогов в слове («наиболее эффективным методом является так называемый „ребусный“ метод, основанный на отыскании соответствий между комплексами, содержащими определенное число знаков, и словами, имеющими соответствующее число слогов» — Евр. I, стр. 10; в другом месте говорится, что «ребусный» метод «заключается в том, что иероглифы отождествляются со словами с учетом темы раздела, значения ранее установленных знаков и способа употребления знаков в данном иероглифе» — Уст., стр. 15). Для иероглифов, смысл которых был определен по рисункам, подбирались соответствующие синонимы по тематическим спискам и затем избирался один из них соответственно условиям критерия достоверности.

Следует заметить, что авторы не разработали каких-либо новых методов, а использовали те, которые применялись при изучении рукописей майя уже давно, большей частью с прошлого века. Несогласованное применение всех этих разнообразных методов обусловило путаницу в полученных результатах и привело к элементарным ошибкам, а кроме того еще раз изменило поставленную задачу. В окончательном виде она оказалась следующей: дать транслитерацию без перевода текста, состоящего из фраз, сопровождаемых иллюстрациями и написанных неизвестными знаками на известном языке. В таком предельно упрощенном виде задача имеет мало общего с проблемой дешифровки древних систем письма. Тем не менее авторы считают ее «близкой по своему характеру проблемам машинного перевода и проблемам исследования сигнальных систем», а процесс исследования сопоставляют с переводом художественных произведений (Евр. I, стр. 11). Интенсивное использование вспомогательных методов показывает, что авторы не сумели достаточно эффективно применить статистические методы.

В силу изложенных причин результаты, полученные после 20-часовой машинной обработки материалов, оказались весьма скромными. Сами авторы утверждают, что они прочли «примерно 40%» текста Мадридской и Дрезденской рукописей майя (Уст., стр. 25); вероятно, имелось в виду, что примерно на 40% дублированы опубликованные материалы «ручной» дешифровки, что приблизительно правильно. В опубликованных «Предварительных результатах» (Евр. III) приводится транслитерация 8 параграфов (из 170) Дрезденской рукописи и 27 параграфов (из 250) Мадридской рукописи. Дана транслитерация 367 иероглифов, считая повторяющиеся (всего в рукописях около 5300 различных иероглифов). Если исключить повторяющиеся, то авторы дают транслитерацию 67 иероглифов (передающих слова или словосочетания). Так называемые «чтения» (т. е. транслитерация) иероглифов — как у новосибирских авторов, так и вообще в литературе по дешифровке письма майя — отнюдь не являются равноценными. Их можно разделить на три основные группы.

Первую группу составляют настоящие фонетические чтения иероглифов, основанные на установлении фонетического чтения отдельных знаков и проверенные по «первому критерию» новосибирских авторов (т. е. по перекрестным чтениям). В этом случае чтение всегда сохраняется, какой бы смысл ни приписать прочтенному иероглифу, так как оно ни в какой мере не зависит от толкования смысла иероглифа по косвенным данным. Именно эти чтения и составляют дешифровку в прямом смысле слова.

Вторую группу составляют так называемые условные чтения, обычные для морфемных знаков. В этих случаях известен точный смысл морфемы (в языке майя многие морфемы одновременно являются словами), но неизвестен (или неясен) ее фонетический состав. Например, известно, что такой-то знак передает морфему, употребляемую в качестве имени прилагательного *белый*. Известно, что в языке майя колониального периода соответствующая морфема произносилась *сак*. На этом основании знаку приписывается чтение *сак*, хотя остается совершенно неизвестным, как произносилась эта морфема в древнем языке (возможно, например, что она произносилась *сух*), а кроме того неизвестно, действительно ли эта морфема употреблялась в древнем языке, а не какая-то другая синонимическая. Для случаев условного чтения «первый критерий», т. е. перекрестные чтения, ничего не дает, так как возможная ошибка остается неопределимой (например, если мы транслитерируем иероглифы, означающие «белая женщина», «белое дерево», «белый камень», то во всех этих случаях мы с одинаковым основанием можем транслитерировать первый знак и *сак* и *сух*, не имея возможности определить, что нужно предпочесть, и не зная, действительно ли эта морфема употреблялась в древнем языке). Как фонетические чтения, так и условные могут быть правильными, неправильными и сомнительными в различной степени. При фонетическом чтении неправильность или сомнительность выясняется при перекрестных чтениях («первый критерий»). При условных чтениях неправильность или сомнительность выясняется главным образом при изучении словосочетаний, когда оказывается, что принятое условное чтение невозможно или сомнительно в некоторых зарегистрированных словосочетаниях. Равным образом изучение фразеологических единиц может показать правильность условного чтения и приблизить его к точному фонетическому.

Третью группу составляют условные названия (так сказать, «клички») иероглифов и отдельных знаков. В этих случаях точно или приблизительно известен смысл иероглифа или знака, но совершенно неизвестно, с какими единицами языка его можно связать. Такого рода условные названия обычны для иероглифов, смысл которых установлен на основании сопоставления фраз с рисунками. Например, известно, что иероглиф передает имя персонажа. Так как этот персонаж отождествляется с богом кукурузы, то иероглиф получает название «иероглифа бога кукурузы», а так как майя XVI в. называли бога кукурузы *Иум К'ааш*, то тот же иероглиф ус-

ловно «транслитерируют» *Иум К'ааш*, хотя остается совершенно неизвестным, какое в действительности имя записано иероглифом. Зарубежные авторы «транслитерируют», например, иероглиф, означающий «четыре ста лет», как *бак'тун*, хотя он в действительности читается фонетически *кук*. Условные названия вообще не имеют никакого отношения к фонетическому чтению знаков и используются просто как своего рода жаргонные обозначения в специальных работах. В редчайших случаях может оказаться, что они совпадают с условными чтениями; так, например, оказалось, что иероглиф бога неба *Ицамна* действительно может иметь такое условное чтение. Условные названия также могут быть правильными, неправильными и сомнительными. Однако их неправильность или сомнительность целиком зависит от толкования смысла иероглифа, безотносительно к чтению. Например, можно утверждать, что такой-то персонаж изображает не бога войны, а, например, бога человеческих жертвоприношений. Тогда соответствующий иероглиф придется переименовать. Чтобы избежать разнобоя, в работах по майя широко применяется «алгебраическое» обозначение персонажей, введенное П. Шеллхасом (бог *A*, бог *B* и т. д.).

Новосибирские авторы приводят фонетические чтения (которые можно доказать на основании «первого критерия») ряда знаков: *ка, ку, чи, чу, е, иц, к'а, к'и, ле, му, ма, му, на, па, те, суу*; кроме того, дано фонетическое чтение некоторых знаков, передающих предлоги и аффиксы: *ти, ич, у-, ах-, -ил, -ан, -ха, -хи*. Все эти чтения дублируют уже опубликованные, полученные при «ручной» дешифровке⁵. В соответствии со второй «гипотезой» авторы видоизменили опубликованные чтения некоторых знаков, например *чи, к'и, ил* вместо *че, к'е, ел*. Вместо правильных опубликованных чтений *цу, мо* (табл. I, №№ 3, 131) авторы дали неправильные *цук, мом*, легко опровергаемые на основании «первого критерия».

Фонетические чтения отдельных знаков подтверждаются перекрестными чтениями следующих иероглифов: *куч* «ноша», *мут* «тотем», *муж* «раз», *к'ик'* «курение», *пач* «брат», *к'ам* «получать», *пак'* «носить мед». Все эти иероглифы также были прочтены и опубликованы в результате «ручной» дешифровки⁶. Для многих приведенных знаков перекрестные чтения отсутствуют. Фонетические чтения остальных знаков безусловно неправильны, так как легко опровергаются на основе перекрестных чтений иероглифов («первый критерий»). Эти чтения частью также дублируют уже опубликованные неправильные, например *бал, к'ал, мач, пиц', по, му*⁷, частью предложены авторами, например *хел, чак*. Небезынтересно отметить, что авторы повторили ошибки наиболее ранних публикаций, исправленные в последующих, что свидетельствует о типичности некоторых ошибок и серьезных недостатках программирования. Неправильные чтения иероглифов, где встречаются указанные знаки, также в основном дублируют неправильные опубликованные, например: *суубал, а мач, пооп, пиц'билах* (табл. II, №№ 95, 1, 110, 108).

Собственно этим исчерпываются результаты дешифровки в прямом смысле слова, т. е. установления фонетического чтения знаков. «Машинная» дешифровка дала значительно меньше чтений, чем «ручная», и не дала каких-либо новых правильных чтений (а в неправильных в основном дублировала ранние результаты «ручной» дешифровки).

Опубликованные авторами условные чтения отдельных знаков полностью дублируют уже ранее предложенные — как правильные [*бат, каб, кан, ким, ч'уп, к'ин, ник, от(оч), чак, сак, ек', к'ан, йаш*], так и сомнительные (*хел, вай*) и неправильные (*к'уул, ок, пок, тоок*)⁸. Некоторые

⁵ См., например: Ю. В. Кнорозов, Система письма древних майя, М., 1955 (табл. I, №№ 71, 117, 14, 83, 53, 120; 11, 7, 137, 138, 8, 52, 85, 109, 92, 77; 64, 6, 84, 96, 113, 68, 127, 129).

⁶ Там же (табл. II, №№ 147, 80, 81, 138, 107, 149, 105).

⁷ Там же (табл. I, №№ 79, 110, 13, 65, 2, 139).

⁸ Там же (табл. I, №№ 87, 122, 21, 5, 19, 27, 61, 73, 115, 63, 69, 106, 55; 132, 101; 9, 50, 114, 88).

из этих условных чтений (например, для знаков, передающих названия цветов) являются общепринятыми с XIX в. Условные чтения иероглифов также дублируют опубликованные, в том числе неправильные, например *ош окаан, куул оточ, к'уул к'ин, покте*⁹. Все эти условные чтения получены, конечно, не путем какой-либо новой обработки материала, а непосредственно взяты из предыдущих публикаций и, таким образом, не представляют ни теоретического, ни практического интереса.

Новосибирские авторы в большинстве случаев дают условные чтения и условные названия иероглифов, основанные на сопоставлении фраз с рисунками. К ним относятся прежде всего иероглифы богов и животных. Для того чтобы отыскать иероглифы, соответствующие определенным персонажам, не требуется статистической обработки (к тому же это уже сделано). Равным образом не требуется учитывать шую, туловище, руки, ноги и иные «элементы» изображения, как это делают авторы (Евр. I, стр. 7); вполне можно обойтись характерными чертами лица. Далее возникает вопрос, какой именно персонаж изображен на рисунке. Сотрудники Института математики этого определить, конечно, не могли и не ставили перед собой такой цели. Взяв из работ по майя соответствующие условные названия, они привели их в качестве «транслитерации» иероглифов, игнорируя при этом свой «первый критерий», — это было вызвано тем, что условные названия, как указано выше, вообще не имеют отношения к чтению иероглифов. Например, в рукописях есть изображение бога дождя, которого майя XVI в. обычно называли *Чак*; бесспорно, однако, что иероглиф бога дождя не читается *Чак*. Если определять точно результат сопоставления фраз с рисунками, то следовало бы сказать примерно так: установлено, что иероглиф такой-то действительно, как все и считали до сих пор, передает имя персонажа, отождествляемого большинством исследователей с богом дождя, которого юкатанские майя XVI в. обычно называли *Чак*; фонетическое чтение иероглифа неизвестно, хотя ясно, что он передавать имя *Чак* не может.

Условные названия были даны иероглифам специалистами, которые изучали рисунки в рукописях, привлекая параллели с мифологией и иконографией нахуа. Так, были правильно опознаны изображения бога дождя (*Чак*), бога неба (*Иц'амна*), бога кукурузы (*Иум К'ааш*, или *Иум К'авил*), бога смерти (*Иум Цек'*), бога-ягуара (*Кан Болай*, *Эк'Болай*), а обозначавшие их иероглифы получили соответствующие условные наименования (указанные в скобках) по именам богов пантеона майя XVI в. Некоторые божества и животные были опознаны неправильно (*К'ук'улжан*, *Шаман Эк'*, *Пак'Ок*, *Сак Ахав*, *ч'ом*) и должны быть переименованы. Э. В. Евреинов, Ю. Г. Косарев и В. А. Устинов приводят все эти условные названия (правильные и заведомо неправильные) в качестве «чтений» иероглифов. Помимо иероглифов персонажей и животных, на основании слышения фраз с рисунками было определено также несколько иероглифов, обозначающих деревья (и имеющих общепринятые условные чтения) и некоторые другие объекты и действия (пирамида, храм, циновка, огонь, добывание огня). Условные чтения этих иероглифов — правильные и неправильные — были воспроизведены новосибирскими авторами без изменений.

Сотрудники Института математики опубликовали новые толкования двух групп рисунков. Эти попытки, не имеющие отношения ни к математике, ни к дешифровке, не дали положительных результатов. По мнению сотрудников Института математики, на странице 15а Мадридской рукописи изображены боги, обжигающие сосуды, а на страницах 20—21b — боги, занимающиеся строительством (Уст., стр. 20—23). В действительности на стр. 15а изображены обряды у священных стел (которые и были сочтены сосудами), а на стр. 20—21b — боги внутри домов в молитвенных позах (с руками, воздетыми к потолку). Фразы в обоих параграфах

⁹ См. там же (табл. II, №№ 31, 162, 163, 113).

начинаются одним и тем же редким в рукописях иероглифом, состоящим из одного значка (кружок, обведенный пунктиром, с четырьмя симметрично расположенными элементами вокруг). Авторы, на основе своего толкования рисунков, приписали ему в одном случае смысл «обжигать сосуды», а в другом — «обжигать кирпичи» (хотя на рисунках ни сосудов, ни кирпичей, ни обжигания не изображено). В связи с этим один и тот же знак оказался прочтенным сначала как *k'ak'*, а потом *xi k'ak'* (авторы усмотрели сходство у четырех симметричных элементов в одном случае с фонетическим знаком *xi*, в другом — с *ka*; почему этот знак учетверен, осталось не объясненным). Кружок, обведенный пунктиром (центральный элемент знака), был перепутан со знаком огня (три маленькие языка пламени, обведенные сверху пунктиром) и прочтен *k'ak'* «огонь». Сверх всего авторы не учли, что в языке майя дополнение всегда стоит после сказуемого; словосочетание *ka k'ak'* может означать, например, «тыквенный огонь», но никак не «обжигать сосуд» (кстати, до сих пор не было известно, что майя умели обжигать кирпичи и даже тыквенные сосуды). На этом примере видно, что произвольная интерпретация рисунков и изображаемых знаками предметов ведет к элементарным ошибкам, если эти приемы кладутся в основу чтения знаков. Примеров такого рода имеется множество, начиная с первого исследователя рукописей майя Ш. Э. Брассёр де-Бурбура, который усмотрел в одном из изображений Мадридской рукописи карту Атлантиды, а затем прочел в тексте ее описание.

Предложенные авторами чтения иероглифов *баат k'алак* «делать идолов», *чак'алте* «возжигать курения идолу» и *хаиш чак* «зажигать огонь» (Уст., стр. 16—20) приведены ими в качестве образцовых. Однако именно в этих чтениях сделаны недопустимые ошибки. Чтения здесь основаны на составлении фраз с рисунками (на этот раз сделанном специалистами), причем в состав иероглифов входят знаки, условное и фонетическое чтение которых уже давно опубликовано. Иероглиф, по мысли авторов означающий «делать идолов» (в действительности «работать топором»), состоит из трех знаков; два первых имеют условные чтения *баат* («топор»; знак изображает топор) и *k'al* («двадцать»; знак употребляется для записи числа 20), а третий — фонетическое чтение *ка*. Авторы, механически складывая опубликованные чтения, прочли: *баат k'алак* «делать идолов» — со следующими комментариями: *kal* — «двадцать», что также означает «человек». В древности майя, чтобы сказать «двадцать», говорили «один человек», по числу пальцев на руках и ногах (следует фиктивная ссылка на мою работу. — Ю. К.). Ср. *kalac* — «незвук, которые ходят как в воду опущенные». Мот. 489, *kalem* — «человек тяжелый, суровый, жесткий». Мот. 489» (Уст., стр. 16—17). Во-первых, *k'al* действительно значит «двадцать», а также «ключ» (отсюда *k'alam* «замкнутый» применительно к человеку), но отнюдь не «человек». Во-вторых, лингвисты сближают слова *виник* «человек» и *винал* «двадцатидневный месяц», к чему слово *k'al* никакого отношения не имеет. В-третьих, *k'алак* (из первоначального *k'ak'лак*) — это причастие во мн. числе (с суффиксом *-лак*), означающее «плавающие» применительно к неодушевленным предметам, — именно так сказано в словаре из Мотуля (стр. 489), на который ссылаются авторы: *kalac*: cosas inanimadas que andan nadando sobre el agua» (в том же словаре на стр. 488 приведена и форма ед. числа этого слова — *k'ak'аклак*). Судя по цит. выше переводу (Уст.), складывается впечатление, что в ряде случаев даже утрачены немашинные возможности перевода.

Не менее странным выглядит и само «фонетическое» чтение. Авторы допускают, что в причастии корневая морфема (*k'a*) и первая фонема суффикса (*л*) могут писаться при помощи одного знака (*k'al*), а остальная часть суффикса — при помощи другого знака (*ка*). Такое допущение еще раз показывает отсутствие у авторов ясного представления о морфемно-силлабической иероглифической системе письма, в которой аффиксальные морфемы, как известно, передаются только определенными знаками в со-

ответствии с правилами иероглифической орфографии. Бросается в глаза, что наиболее значительные ошибки связаны именно с недопустимыми попытками произвольно превращать условные чтения в фонетические, с ошибками перевода, неправильными толкованиями рисунков и т. д.

Авторы утверждают, что в результате их работы подтвердились взятые за основу предположения. Если бы в результате «машинной» дешифровки письма майя подтвердилась «гипотеза» авторов о тождестве языка иероглифических текстов и языка майя XVI в., то это бы означало, что «машинная» дешифровка является абсурдной. В действительности эта «гипотеза» полностью опровергнута итогами «машинной» дешифровки (иначе не надо было бы вместо настоящих чтений давать иероглифам условные названия).

В докладах авторов содержится ряд неправильных положений, дезориентирующих читателей. Рассмотреть их все в настоящей статье не представляется возможным, но необходимо вкратце остановиться хотя бы на некоторых. Авторы утверждают, например, что «исследование системы письма древних майя проводилось на основе применения математических методов и электронной вычислительной машины, так как обработка такого большого по объему и различного по своему характеру информационного материала в любой форме записи и выявление всех связей, закономерностей, характерных количественных и качественных особенностей, которые могут пролить свет на определение точного смыслового и фонетического значения знака и иероглифа, почти невозможны без использования современных методов исследования» (Уст., стр. 12—13; ср. также Евр. II, стр. 4). Это утверждение не соответствует действительности. Общеизвестно, что увеличение количества материала не затрудняет, а облегчает дешифровку — как «ручную», так и «машинную». Наоборот, уменьшение количества материала увеличивает объем необходимой при дешифровке работы до астрономических размеров; именно при небольшом объеме исследуемого материала (например, надпись на глиняном сосуде из славянского могильника в селе Алканово, надпись на диске из Феста) возникают практически непреодолимые трудности для дешифровки.

Далее авторы утверждают, что «при анализе древней системы письменности майя, где исследуется разнородный материал, невозможно ограничиться каким-либо одним методом» (Евр. I, стр. 8). Это утверждение не только несостоятельно теоретически, но и уже давно опровергнуто практически фактом «ручной» дешифровки, которая, как это хорошо известно, была реализована исключительно статистическим методом.

Задача авторов состояла в том, чтобы, используя современную вычислительную технику, провести опытную дешифровку древней системы письма. При этом было совершенно не важно, дешифровано уже это письмо или нет, хотя в контрольных целях имело смысл провести сначала анализ уже дешифрованного письма. Именно этим и было обусловлено избранное для первого опыта письмо майя (равным образом можно было взять древнегипетскую иероглифику, клинопись и т. д.). Проведенная авторами работа показала практически, что современная вычислительная техника может быть использована для целей дешифровки древних систем письма. «Машинная» дешифровка подтвердила тот факт, что при объективном изучении письма результаты неминуемо совпадают. Следует заметить, что если бы результаты «машинной» дешифровки не совпали с результатами предшествовавшей ей «ручной», то пришлось бы пересматривать «машинную» (а не уже доказанную «ручную») — как ее и придется пересматривать в той части, где приведены заведомо неправильные фонетические чтения (хотя они также дублируют опубликованные раньше). «Машинная» дешифровка только отчасти дублировала «ручную» и не прибавила нового к нашим знаниям о письме майя. Чтобы получить результаты, имеющие практическое значение для американистики, авторам необходимо пересмотреть свои теоретические положения и значительно усовершенствовать методы составления программ.

Г. Г. БЕЛОНОГОВ

О НЕКОТОРЫХ СТАТИСТИЧЕСКИХ ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ
В РУССКОЙ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ

Для решения ряда прикладных задач математической лингвистики существенное значение имеет знание статистических закономерностей речи. Ниже приводятся некоторые результаты исследования русской деловой письменной речи, полученные путем анализа печатных текстов общей протяженностью около 100 тыс. слов.

Как и все естественные языки, русский язык имеет большую избыточность. Это следует из того, что энтропия распределения вероятностей появления различных словоформ

$$H_2 = - \sum_{i=1}^n P_i \log_2 P_i, \quad (1)$$

вычисленная по экспериментальным данным, равна 10,62 двоичных знаков на словоформу; средняя же длина словоформы без учета пробела между словами составляет 6,83 буквы, или 34,15 двоичных знаков на словоформу (каждая буква кодируется пятью двоичными знаками). В формуле (1) P_i — вероятность появления отдельной словоформы, n — объем словаря словоформ.

Если расположить все словоформы, встречающиеся в текстах, в порядке убывания вероятностей и перенумеровать их, то интегральный закон распределения вероятностей появления различных словоформ может быть приближенно описан аналитическим выражением вида

$$F(x) = 1 - e^{-cx^k}. \quad (2)$$

В формуле (2) x — порядковый номер словоформы; $F(x)$ — вероятность совпадения словоформы текста с любой словоформой словаря, состоящего из x наиболее часто встречающихся словоформ; e — основание натуральных логарифмов; c и k — параметры закона распределения. Соотношение вида (2) имеет место и для основ слов.

К формуле вида (2) можно прийти путем графического построения, откладывая по оси абсцисс величины $\ln x$, а по оси ординат величины $\ln[-\ln(1 - F(x))]$, вычисленные по эмпирическим данным. При этом зависимость величины $\ln[-\ln(1 - F(x))]$ от величины $\ln x$ получается линейной. Значения параметров c и k формулы (2) были определены способом наименьших квадратов. Они оказались равными: для словоформ — $c = 0,05357$, $k = 0,4464$; для основ слов — $c = 0,07057$, $k = 0,4844$. Относительная ошибка аппроксимации для $x \geq 200$ не превосходит десятых долей процента. При $x = 100$ она составляет 3,3 процента.

Формула (2) применялась также для описания распределения вероятностей появления различных слов в румынском языке. Необходимые для этого исходные данные были автору любезно предоставлены Л. А. Новак. Расчеты показали, что распределение слов в румынском языке описывается формулой (2) также с высокой точностью.

Известно, что часто встречающиеся слова в среднем короче, чем редко встречающиеся. Эта связь между длиной слов и частотой их появления в текстах иллюстрируется таблицей:

x	10	50	100	200	600	1800	12000
$L_{\text{ср}}$ (букв)	2,16	3,31	3,96	4,51	5,33	6,11	6,83

Здесь для различного количества x наиболее часто встречающихся словоформ указаны соответствующие значения средней длины словоформы:

$$L_{\text{ср}} = \sum_{i=1}^x L_i P_i. \quad (3)$$

В формуле (3) L_i — длина словоформы с номером i ; P_i — условная вероятность появления в тексте i -той словоформы, если она является одной из x наиболее часто встречающихся словоформ. Корреляционная связь между длиной словоформы и вероятностью ее появления в текстах может быть описана при помощи функции заполнения текстов $F_{\sigma}(x)$. Величина $F_{\sigma}(x) \leq 1$ представляет собой долю буквенного состава произвольного текста, соответствующую x наиболее часто встречающимся словоформам.

Для основ слов можно также ввести функцию заполнения $F_{\sigma}(x)$. Она будет определять часть буквенного состава текста, заполняемую словами, соответствующими x наиболее часто встречающимся основам.

Функция заполнения текстов может быть приближенно описана аналитическим выражением вида:

$$F_{\sigma}(x) = 1 - e^{-c_{\sigma} x^{k_{\sigma}}}. \quad (4)$$

Параметры c_{σ} и k_{σ} выражения (4) были определены по статистическим данным и оказались равными: для словоформ — $c_{\sigma} = 0,01586$, $k_{\sigma} = 0,5803$; для основ слов — $c_{\sigma} = 0,02076$, $k_{\sigma} = 0,6628$. Относительная ошибка аппроксимации функции заполнения текстов для словоформ и основ слов не превосходит 5%.

Вероятность появления отдельной словарной единицы $P(x)$ с порядковым номером x может быть вычислена по формуле:

$$P(x) = e^{-c(x-1)^k} - e^{-cx^k}, \quad (5)$$

которая является следствием формулы (2).

Приведенные статистические закономерности, выявленные в результате анализа текстов протяженностью около 100 тыс. слов, подтвердились в дальнейшем на текстах большей протяженности. Как уже было указано в начале статьи, эти закономерности могут быть использованы для различных целей. В частности, их можно применять при оценке эффективности лексического кодирования речевых сообщений¹.

¹ См. Г. Г. Белоногов, В. И. Григорьев и Р. Г. Котов, Автоматическое лексическое кодирование сообщений, ВЯ, 1960, 5.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

РЕЦЕНЗИИ

Philologiae turcicae fundamenta. Iussu et auctoritate Unionis Universae studiosorum rerum orientalis, ediderunt J. Deny, [K. Grönbech], H. Scheel, Zeki Velidi Togan. I, 1959, Wiesbaden. XXIII + 813 стр. + 1 карта¹

Выход в свет первого тома «Основ тюркской филологии», подготовленного группой западноевропейских, американских и турецких тюркологов, является весьма заметным событием в востоковедной науке. Если не считать обзорных статей о тюркских языках и литературах, временами появлявшихся в различных энциклопедиях, рецензируемая книга является первым трудом, посвященным систематической характеристике тюркских языков, взятых в отдельности и в их совокупности.

Книга подготовлена под руководством редакционного комитета во главе с проф. Ж. Дени в соответствии с решением президиума XXII Международного конгресса востоковедов в Стамбуле и издана при под-

¹ Разделы о конкретных тюркских языках в настоящей рецензии написали: «Общие замечания» Э. В. Севортян, «О классификациях» Н. А. Баскаков, «Строй и общие тенденции развития тюркских языков» Э. В. Севортян, «Древнетюркский язык» Э. Р. Тенишев, «Куманский (половецкий) язык», «Кыпчакские языки. А. Мамелюкско-кыпчакский язык, В. Армяно-кыпчакский язык» Э. В. Севортян, «Восточный средневековотюркский язык» Г. Ф. Благова, «Староосманский язык», «Турецкий язык» Э. А. Груница, «Анатолийские и румелийские диалекты» Э. В. Севортян, «Гагаузский язык» Л. А. Покровская, «Азербайджанский язык» Н. З. Гаджиева, «Туркменский язык» Л. С. Левитская, «Караимский язык» К. М. Мусаев, «Карачаево-балкарский язык» М. А. Хабичев, «Крымско-татарский язык», «Кумыкский язык» Э. В. Севортян, «Казанско-татарский язык и восточносибирские диалекты», «Башкирский язык» А. А. Юлдашев, «Арало-каспийская группа языков» Л. П. Лебедева, «Узбекский язык» А. А. Коклянова, «Новоуйгурский язык», «Язык желтых уйгуров (сарыгюгуров) и саларов» Э. Р. Тенишев, «Алтайский, хакасский, чувашский и шорский языки» Н. А. Баскаков, «Тувинский и тофаларский языки» А. А. Пальмбах и Д. М. Монгуш, «Якутский язык» Е. И. Убрятова, «Гуинский, дунайско-булгарский и волжско-булгарский» Э. Р. Тенишев, «Чувашский язык» В. И. Котлеев, заключение Э. В. Севортян.

держке Международного совета по философии и гуманитарным наукам². Методологическое единство и программное единообразие статей позволили составителям тома избежать передкой в изданиях подобного рода разнохарактерности и стилистической нестроты помещенного в томе материала.

В «Общих замечаниях», предисланных изданному тому, указаны задачи «Основ тюркской филологии», принципы подачи материала, а также план построения включенных в том статей. Читатель узнает, что составители стремились «показать достигнутый уровень исследовательской работы в данной области» (стр. XII). Следует признать, что эта задача выполнена успешно в пределах тех объективных возможностей, которыми располагали составители. В тех же «Общих замечаниях» редакционный комитет предупреждает читателей о том, что книга является трудом описательного, но не исторического характера, поскольку пока отсутствуют в достаточном количестве надежные исторические материалы. Вместе с тем описание тюркских языков дается лишь в формальном плане, поскольку «разделение материала в функциональном или семантическом плане часто является спорным и ведет к большим трудностям» (стр. XIX).

Однако несмотря на принципиальный отказ от семантики в ряде случаев авторы ввели в свои описания указания на значения отдельных грамматических форм (осторожно именуя их «функциями»), что свидетельствует о чисто практической невозможности исключить семантику из грамматических описаний (теоретически уже давно доказан многочисленными исследованиями советских и отечественных ученых столь же объективный характер значений, как и самих форм).

Статьи тома составлены в общем по единому плану, причем авторы придерживаются больше перечня, чем порядка излагаемых вопросов. В статьях о современных языках вначале сообщаются демографические и этно-географические данные, сведения о диалектальном делении языка,

² См. об этом: L. Bazin, *La turcologie*, «Diogenes», 24, 1958, стр. 127.

основная библиография, приводятся алфавиты на русской и ныне не употребительной латинской основе, далее разделы фонетики, морфологии, синтаксиса, в отдельных случаях лексики; в конце статьи помещается иллюстративный текст. В статьях о древних языках сохранен тот же план, начиная с раздела о библиографии, которой предпосылаются сведения о памятниках описываемого языка.

Наиболее квалифицированно представлена в томе фонетика описанных языков. Формально довольно полно описана в ряде статей также морфология. Незавершенными оказались в статьях разделы синтаксиса и лексики. В этом прежде всего сказалась недостаточность программы описания — отсутствие твердого перечня важнейших явлений, которые следовало описать (ср. четкое определение таких явлений в разделах фонетики, до известной степени в морфологии). Обязательная для всех участников тома схема грамматического описания тюркских языков нуждается в существенных дополнениях (касающихся соотношения родственных форм, их значений и функций, словообразовательных моделей и лексических групп по отдельным языкам и т. д.), а в отдельных своих частях требует изменений в соответствии с современным состоянием описания тюркских языков (например, число падежей, которое здесь для большинства тюркских языков увеличено с шести до восьми и более).

В подборе иллюстративных текстов к статьям нельзя заметить определенного принципа. Они имеют пестрый и случайный характер. Так, например, в качестве языкового образца в статье о кумыкском языке помещен псевдо-фольклорный отрывок из газеты «Газават», издававшейся в годы фашистской оккупации. Для тувинского языка приведен отрывок из перевода «Капитанской дочки» А. С. Пушкина, хотя имеется немало произведений художественной литературы и фольклора на тувинском языке. Для якутского языка в качестве образца целесообразнее было бы использовать оригинальный текст или отрывок из фольклорных записей Э. К. Пекарского.

Отмеченные недочеты в целом полезного труда могли быть меньше, если бы его составители воспользовались новейшей советской тюркологической литературой и учли результаты теоретической разработки основных вопросов грамматики тюркских языков в СССР, тем более что за исключением очерков о турецком языке и анатолийских и румелийских диалектах, авторы которых (Ж. Денн, М. Мансуроглу и А. Джафероглу) оперируют собственными языковыми материалами, все остальные статьи о современных тюркских языках почти исключительно построены на материалах русских и советских авторов. Приходится, однако, отметить, что в общей и конкретной тюркологической библиографии, помещенной в «Основах», отсутствует большая часть научной литературы, вышедшей в СССР за последние 10—15 лет.

Научно-технический аппарат книги находится на большой высоте. Значительно

облегчают работу над ней отлично составленные и оформленные тематические указатели (общий, фонетический и морфологический); к тому приложена также большая карта, на которой обозначена область распространения тюркских языков. Ниже приводятся более подробно соображения относительно конкретных статей, помещенных в рецензируемом томе.

О классификациях («Classification of the Turkic languages»). Общая часть книги открывается двумя классификационными схемами тюркских языков — И. Бенцинга и К. Г. Менгеса. Обе они разработаны на основе всей предшествующей специальной литературы и в значительной степени учитывают работы русских и советских тюркологов.

Классификация И. Бенцинга формально охватывает только современные языки, древние и средневековые тюркские языки упоминаются лишь как более старые их формы. И. Бенцинг делит все тюркские языки на пять основных групп: 1) болгарскую, 2) южную, или огузскую, 3) западную, или кыпчакско-куманскую, 4) восточную, или уйгурскую, и 5) северную. В своей классификации И. Бенцинг применял в большей степени географический принцип, чем и объясняется некоторое упрощение вопроса; например: соединение в одну — южную — группу огузских языков, имеющих различные языковые субстраты; включение в кыпчакскую группу без особых оговорок киргизского языка; немотивированное отнесение в одну (уральскую) подгруппу крымско-татарского языка (степные диалекты) вместе с татарским и бакирским языками; безоговорочное отнесение древнеуйгурского языка в одну подгруппу с новобуйгурским, узбекским, старобуйбекским и другими языками. Вызывает недоумение и распределение языков по подгруппам внутри северной группы.

Построенная с учетом исторического принципа классификация К. Г. Менгеса делит все тюркские языки на шесть групп, объединяющих двенадцать подгрупп: а) центральную и юго-западную группу с подгруппами: 1) центрально-азиатской, 2) юго-западной, или огузской; б) северо-западную, или кыпчакскую группу с подгруппами: 3) старосеверозападной, 4) черноморско-каспийской, 5) волжско-камской, 6) арало-каспийской; в) подгруппу седьмую — алтайскую (ойротскую); д) подгруппу восьмую — центрально-южносибирскую и девятую — тувинскую; е) подгруппу десятую — северо-восточную, восточносибирскую, или якутскую; ф) волжско-булгарскую, или хунно-булгарскую, группу с подгруппами: 11) волжско-булгарской и 12) чувашской.

В классификации К. Г. Менгеса отнесение отдельных языков к намеченным группам вызывает некоторые сомнения. Так, объединение языков енисейско-орхонских надписей с более поздними средневековыми языками — языком караханидской эпохи, чагатайским и современными узбекским и новобуйгурским — в одну центральноазиатскую подгруппу не оправдано фоне-

тическими, морфологическими и лексическими их признаками точно так же, как и включение киргизского языка в арало-каспийскую подгруппу. Недостаточно мотивировано также объединение татарского с кюрджским.

Третий вариант классификации тюркских языков принят редакционным комитетом «Основ тюркской филологии» при распределении материала в книге. Все языки здесь разделяются на четыре группы: а) древнетюркские языки; б) средневековотюркские языки с двумя подгруппами: 1) западные средневековотюркские и 2) восточные средневековотюркские; в) новотюркские языки с подгруппами: 1) южнотюркской, 2) западнотюркской, 3) центральнотюркской, 4) восточнотюркской и 5) севернотюркской; г) болгарская группа. В последней классификации в одну группу вместе с казахским, каракалпакским, погайским и другими языками неправомерно отнесен киргизский (аналогичным образом рассматривается этот язык и в классификации К. Менгеса), генетически более близкий к горноалтайскому языку, а также неправильно объединены в одну группу с языками сарая-уйгурским и саярским узбекский и новобуйгурский.

Все три классификации, несомненно, представляют значительный интерес и в общих чертах не противоречат классификациям тюркских языков, ранее разработанным русскими и советскими тюркологами.

Строй и общие тенденции развития тюркских языков [*«Structures et tendances communes des langues turques (Sprachbau)»*]. Изложение фактического материала книги начинается статей проф. Луи Базена, композиционно завершающей общую часть тома. Л. Базен разделяет общепринятое мнение о том, что тюркские языки «в целом все еще представляют собой единство по своим важнейшим структурным чертам» и что «эта структурная общность... сопровождается в процессе диалектного развития этих языков не менее ясной общностью их тенденций» (стр. 14).

Л. Базен предлагает опыт фонологического анализа общетюркской фонетической системы. Попытка автора, одна из первых в применении к семье тюркских языков в их целом, является удачной и плодотворной. Это можно сказать как в отношении тезиса о фонологической неравноценности гласных в первых и последующих слогах, так и в отношении фонологической интерпретации трех классификационных признаков гласных. По-новому обосновано здесь и положение о восьми основных гласных. Интересно и обоснованы соображения автора о трех- и даже двухфонеменной системе вокализма начальных слогов (стр. 13).

Необходимо вместе с тем заметить, что фонологическая характеристика гласных в статье не охватывает всех тюркских языков и соответствует скорее их более старому, т. е. менее дифференцированному состоянию. Для современных же языков она должна быть дополнена еще двумя парами дифференциальных признаков: долгота —

краткость гласных (безотносительно к их происхождению) и редуцированность — нередуцированность гласных и *y*. Первая пара признаков важна для туркменского, турецкого, киргизского, тувинского и некоторых других языков. Вторая пара признаков важна для погайского, поволжско-татарского, крымско-татарского и некоторых других (ср. кир «грязь» и *k^ur* — «входить»; сирке «уксус» и *s^urke* «гнида» и др.). Для тувинского вокализма должна быть принята в качестве дифференциального признака установленная экспериментальными исследованиями фарингализованность гласных, для азербайджанского — большая или меньшая открытость гласных переднего ряда среднего подъема (*el* «рука» — *el* «народ»; *em* «мясо» — *em* «делать» и др.). Таким образом, очевидно: для целого ряда языков положение Л. Базена о том, что общетюркская система вокализма состоит из восьми гласных, уже мало что дает. Перечень дифференциальных признаков согласных также можно дополнить (ср., в частности, сильные и слабые согласные в тувинском, и т. д.).

В морфологическом разделе Л. Базен отказался от перечня частей речи, как он представлен в первой грамматике проф. И. Дени (1921 г.), и обратился к схеме имя — глагол — служебные элементы, которая совпадает со схемой арабской грамматики и от которой в тюркологии отказались еще в прошлом веке. Заметим, что даже с чисто формальной точки зрения невозможно уложить в эту трехчленную схему, например, столь морфологически развитые языки, как киргизский и казахский, да и многие другие. Справедливость требует отметить, что во многих других статьях рецензируемого тома сохранены традиционные части речи, по которым и строится морфологическое описание. Л. Базен подробно рассматривает деление аффиксов на словообразовательные и словозаменительные, разностороннюю характеристику получают грамматические категории имени; заслуживает внимания указание на то, что «историческая эволюция тюркских языков идет в направлении установления подлинного, достаточно сложного глагольного спряжения и простыми и составными формами» (стр. 15—16).

Наиболее важную синтаксическую черту тюркских языков Л. Базен видит в порядке слов, поскольку тюркские языки, по его мнению, «почти не обладают синтаксисом согласования» (стр. 18); все же остальные синтаксические приемы, по мысли автора, видимо, являются второстепенными. Обширная научная литература по синтаксису тюркских языков, изданная в СССР за последние 15—20 лет, позволила бы внести весьма существенные дополнения и коррективы в отношении, например, учения о простом и сложном предложении, о формах синтаксической связи, о союзном и бессоюзном подчинении и т. д.

Лексический раздел, представляющий первый в тюркологии опыт общей лексикологической характеристики тюркских языков с попыткой выделить общий лекси-

ческий фонд всех этих языков, в целом является удачным. Отмечая значительный удельный вес иноязычных заимствований во всех тюркских языках, Л. Базен намечает их приблизительную периодизацию, которая с некоторыми уточнениями (в отношении эпохи европейской и русских, отчасти древнейших заимствований) может быть принята³.

Древнетюркский язык («Das Alttürkische»). Статьей А. фон Габен о «древнетюркском», под которым обычно имеют в виду языки рунических и древнеуйгурских памятников, начинается вторая часть тома, посвященная конкретным тюркским языкам. Раздел фонетики содержит описание десяти гласных фонем языка рунических надписей и восьми гласных фонем уйгурских текстов; при этом указываются долгие гласные и развитая губная гармония в языке текстов на брахми-прифте (об этом свидетельствует возможность употребления *o* и *ö* в непрерывных слогах). При описании консонантизма отмечают соответствия глухих и звонких согласных, а также позиционное размещение согласных в начале и конце слов.

Раздел морфологии включает в себя словообразование; словоизменение излагается по частям речи: формобразование имен (существительных, прилагательных, местоимений и числительных); особо выделены послелоги и «слова, лишенные синтаксической самостоятельности». Глагол представлен системой личных и неличных форм, модальных и описательных конструкций. Древнетюркский синтаксис, который в своих основных чертах существенно не отличается от синтаксиса современных тюркских языков, с полным правом называется в статье «нормальным», или «типично алтайским».

По существу следует признать, что статья А. фон Габен представляет собою краткое изложение ее «Древнетюркской грамматики» (2-е изд., изд. 1950 г.). Как признает и сама А. фон Габен, между языками рунических и уйгурских текстов существует заметная разница. Языковая разница есть и между, например, памятником манихейского письма и уйгурского письма манихейского содержания, с одной стороны, и памятниками уйгурского письма буддийского содержания, с другой. Обще описание древнетюркских языков не устраняет, а скорее усиливает необходимость анализа языков по группам памятников. Тогда взаимоотношение языков древних памятников получит действительное свое раскрытие и обоснование. По европейским памятникам такую работу ведет сейчас проф. И. А. Батманов⁴, по карахандским — А. М. Щербак⁵.

Куманский (половецкий) язык («Die Sprache des Codex Cumanicus»). Работа А. фон Габен может рассматриваться как новый этап в изучении известного памятника куманского (половецкого) языка «Codex Cumanicus». Исследованис А. фон Габен, опирающиеся на большое число предшествующих работ, в том числе на выдающиеся труды акад. В. В. Радлова, акад. А. В. Самойловича, члена-корр. АН СССР С. Е. Малова и других, по своей обстоятельности и вниманию к деталям превосходит все, что писалось о «Кодексе» до настоящего времени. Говоря о целях своих изысканий, А. фон Габен подчеркивает, что ее работа должна «служить целям исторического исследования северо-западного диалекта тюркского языка» (стр. 48). Ближайшим наследником половецкого она считает поволжско-татарский язык, в подтверждение этому приводя ряд морфологических и лексических параллелей между обоими языками; однако параллели эти являются слишком «общетюркскими». В связи с этим заметим, что существует более непосредственный потомок куманского языка — крымско-татарский, как на это справедливо указывал еще В. В. Радлов. Все приводимые автором параллели между куманским и поволжско-татарским действительны и для крымско-татарского языка, причем в большей степени, так как количество полных совпадений здесь больше, чем в поволжско-татарском, отличия которого от половецкого, надо сказать, довольно значительны.

Фонетический раздел исследования А. фон Габен изобилует многочисленными, нередко тонкими наблюдениями. Отлично описаны, например, согласные *q*, *k*, *g*, *γ* и их эволюция. Можно было бы упомянуть также наблюдения автора в области геминат, но в этом трудном вопросе рискованно слишком доверять орфографии «Кодекса» (ср. на стр. 56 странные формы *košš*, *ayttalim*). Следы диалектальной пестроты языкового материала, легшего в основу «Кодекса», столь ярки, что пройти мимо них невозможно. Они видны и в фонетике [в частности, в переплетении кипчакских норм с отузскими: *azyx* ~ *azyq* (KW, 46); *ary* ~ *arov* (41, 40); *avurila* ~ *aγurila* (45); *aγyz* ~ *avuz* (30); *dört* ~ *tört* (83); *qačan* ~ *qačan* и т. п. — факты, которые А. фон Габен трактует как звуковые переходы; см. стр. 54, 55] и в морфологии (например, формы сказуемости 1-го лица ед. числа *yaziqlı ärmän*, *yaziqlı turmän*, *yaziqlı män*), и в лексике (ср., например: *alt* ~ *ast*, *alin* ~ *mahlay* (монг.), *garin* ~ *qarsaq*, *bezge* ~ *caša*; ряд заимствований, типичных для южных или арабически-испанских языков: *azat*, *badam*, *badbaqt*, *baγ*, *baet*, *šahar-šanbe*, *dider*, *γaranful* и др.).

С обстоятельностью и систематичностью рассмотрены здесь грамматические особен-

³ Ценным дополнением к статье Л. Базена, помещенной в рецензируемом томе, является его другая, более широкая по своим задачам обобщающая статья (см. список 2).

⁴ См. И. А. Батманов, Язык сийских памятников древнетюркской письменности, Фрунзе, 1959.

⁵ См. А. М. Щербак, Грамматический очерк языка тюркских текстов X—XIII вв. из Восточного Туркестана, М.—Л., 1961.

ности «Кодекса» в пределах принятой в «Основах» программы. А. фон Габен иногда обращается к семантике форм, хотя порою значение ею смешивается с функцией; например, об атрибутивном значении форм на *-qan* и на *-miş* сказано, что их функции — прилагательные (стр. 58, 59).

Отметим следующие неточности или спорные места в исследовании. В формах *yeŋ meŋ, yŋŋ, yarlıŋa-* и т. п. сонорные *ŋ, y, l* не являются полугласными (стр. 51), сами же формы редуцированы вследствие вынадения гласного *i* между сонорными, что обычно для кыпчакских языков. Производить *oxš-a-* от *oxış* сомнительно (стр. 57), было бы лучше рассматривать *ox-ša-* как производное от *oxloq* «подобный». Форма на *-in*, в выражениях *iŋtaŋ yoŋin bizge açlıŋ* или *talasman sözin inanırlar*, конечно, является не Instrumentalis или Casus obliquus, а известной во всех тюркских языках формой усеченного впа. падежа имени, слабшего показателем принадлежности 3-го лица. Трудно понять, почему в синтаксическом разделе рассматриваются словообразовательные аффиксы *-siz* для имени, *-ta* для глагола, вопросительная частица *mı* и т. д. В ценной статье А. фон Габен нашло отражение то обстоятельство, что в тюркологии еще не проведено систематическое исследование лексики половецкого языка; словарь К. Грөнбека не может, разумеется, возместить этот пробел.

Новый труд А. фон Габен является хорошей базой для более углубленного изучения памятника куманского языка (его морфологической системы, синтаксического строя, диалектальной неоднородности памятника, нашедшей свое отражение в его фонетике и морфологии), и в этом мы видим главную заслугу автора.

Мамелюкско-кыпчакский язык («Das Kiptschakische. A. Mamluk-Kiptschakisch»). Статья О. Прицака представляет собой систематический очерк языка старокыпчакских памятников, где учтены также обобщающие работы Т. Халаши-Куна, Бесима Аталяя и других исследователей. Статья содержит необходимые сведения из фонетики, морфологии, отчасти лексики мамелюкско-кыпчакских памятников. Автором сделаны новые ценные наблюдения в отношении, например, лабиализации *a* перед *ŋ, w, l, r, q* — явления, известного в разной степени в современных языках татарском, башкирском, узбекском, туркменском и др.); в отношении этимологически долгих гласных в отдельных памятниках; отсутствия начального *g*; последовательной замены непачального *d* согласным *n* в некоторых памятниках и ряд подобных наблюдений. Уже эти наблюдения, как и другие (например, переход комплекса *ayı* в *ay* в одних памятниках и сохранение его в других), говорят о диалектальной неоднородности старокыпчакских памятников и, возможно, даже о смешанном характере языка некоторых из них, как это верно отмечал Т. Халаши-Кун. По-видимому, дальнейший лингвистический анализ этих памятников и более точное определение исторического отноше-

ния к кыпчакским и огузским языкам не возможны без привлечения данных современных языков».

В морфологическом разделе статьи О. Прицака читатель получает некоторые сведения о глаголе и очень мало — об имени. Бегло описано словообразование. Немногим подробнее освещен вообще морфологический аппарат языка памятников, хотя в совокупности материал, представляемый этими памятниками, не так уж мал; о значениях грамматических форм в очерке ничего не говорится. Синтаксис в статье представлен отдельными примерами на некоторые типы придаточных предложений, что выгодно отличает в этом пункте очерк автора от других статей, даже при всей скудости сообщаемого здесь материала. В отдельных случаях переводы примеров не передают значений форм (например: *biyniŋ olturuşı mänim kibi* «der Fürst sitzt wie ich» или *uruş urdum* «ich schlug einen Schlag» — стр. 79). Среди примеров на типы придаточных предложений в ряде случаев подаются простые словосочетания — инфинитивные дополнения, подлежащее в форме причастия и т. п.: *aş yamâka kâldüm; kâtgân mänim dostum dur; sâni sârmâk üyün kâldüm* (стр. 80).

Лучше даны в очерке лексические особенности мамелюкско-кыпчакских памятников, из которых можно почерпнуть также интересные сведения по фонетике этих языков. Стоит отметить, например, дифтонгизацию начального *e* в «Терджуман»е

М. Т. Хоутема: *یکی eki* «два» — явление, хорошо известное в современном казахском, погайском и некоторых других тюркских языках. Любопытны также приведенные О. Прицаком сопоставления эквивалентных огузо-кыпчакских имен и глаголов, хотя, надо сказать, лексические отношения между ними много сложнее, чем это может показаться по материалу автора. Список источников о кыпчакских элементах русского словаря у автора можно дополнить весьма ценным в этом отношении этимологическим словарем русского языка М. Фасмера. Автор мог бы, разумеется, упомянуть также изданное П. М. Меллиоранским сочинение «Араб филолог о турецком языке» (СПб., 1900), в предисловии к которому имеются весьма полезные сведения об арабских сочинениях, посвященных старокыпчакскому языку. В целом вследствие беглости и фрагментарности очерка О. Прицака оставляется желать лучшего.

Армяно-кыпчакский язык («В. Armenisch-Kiptschakisch»). Второй очерк О. Прицака посвящен кыпчакскому языку, на котором составлен ряд документов армянской общины г. Каменец-Подольска в XV—XVII вв. [Этот язык имеет также иные названия — более старое «татарский» и современное «армяно-куманский» (Ж. Деши)]. Основываясь на исследованиях М. Левицкого, Ж. Дени, Т. П. Грунина и Фр. Крелитца-Грайфенхорста, О. Прицак составил сжатое описание особенностей названного языка, принадлежащего к кыпчакской группе. Автору осталась неизвестной опубликованная в 1896 г. конгрегацией мхитаристов

в Венеции летопись польских событий XVI—XVII вв. 5а. Текст ее не тождествен тексту, использованному Ж. Дени⁶, он мог бы служить дополнительным источником полезных сведений об армяно-кыпчакском языке.

Касаясь фонетико-грамматического описания языка, отметим мысль автора о том, что в кыпчакском языке армян наблюдаются своеобразная гармония согласных, пришедшая на смену гармонии гласных небного притяжения; аналогичное явление наблюдается в западнокараимском языке, а в начальной своей форме — также в крымско-татарском и гагаузском языках. В морфологической части очерка можно отметить систематическое и сравнительно подробное описание основных глагольных форм с необходимыми примерами к ним; именные части речи освещены слишком бегло, а в синтаксическом разделе рассмотрен лишь порядок слов, который в армяно-кыпчакском имеет такой же нетюркский характер, как в половецком («Юдкесе», в гагаузском языке и турецких текстах, написанных армянскими либо греческими буквами. Вряд ли один этот факт дает право говорить о полной «детюркизации» синтаксиса пазванских языков, как это утверждает автор очерка в отношении армяно-кыпчакского (стр. 84). Общеизвестно, что тюркский синтаксис характеризуется рядом черт, которые нельзя свести к порядку слов.

После гибели бесценного каменец-подольского архива, хранящегося в Киевском университете, список источников по армяно-кыпчакскому языку резко сократился и тем самым возросло значение как источников, хранящихся в Вене, Париже и Венеции, так и исследования Т. И. Грунина, которое в данных условиях приобретает ценность погибшего в 1944 г. оригинала (как это верно отмечает О. Прицак⁷). Публикация исследования Т. И. Грунина, требующая еще некоторой подготовки, даст много новых языковых фактов и вместе с уже опубликованными в последнее время исследованиями Э. Триярского и Э. Шютца⁸ и подготавливаемыми поль-

скими тюркологами (под руководством проф. А. Зайончковского) грамматикой и армяно-кыпчакским словарем позволит уточнить научное определение этого языка.

Восточный средневековотюркский язык («Ostmitteltürkische»). В очерках по восточному средневековотюркскому литературному языку, написанных М. Мансуроглу («Das Karakhanidische») и Я. Эккманом («Das Schwarezmtürkische», «Das Tschaghataische»), особый интерес представляют выполненные в традиционном плане фонетические разделы. В «караханидском» выделяются те же 9 гласных, которые были установлены для языка рунических надписей А. фон Габен; те же 9 гласных устанавливает для «хорезмийско-тюркского» и «чагатайского» Я. Эккман, ставя, однако, здесь под вопрос наличие звука *e*. Состояние согласных в «караханидском» наглядно показано в специальной таблице (стр. 92). Фонетические характеристики «хорезмийско-тюркского» и «чагатайского» даны Я. Эккманом в сопоставлении; заслуживают внимания здесь, в частности, установленные автором различия в проявлениях губной гармонии. Наблюдения над поведением арабских и персидских заимствований в «чагатайском» позволили сделать вывод о том, что «*i*, *i* в заимствованиях были действительно „индифферентными в отношении палатальности“» («palato-indifferent», стр. 145). В разделах морфологии кратко, но тем не менее с надлежащей полнотой и систематичностью описано словозменение (а для «караханидского» — также и словообразование) по частям речи; начатки синтаксиса можно усматривать в наблюдениях над сочинительными и подчинительными союзами.

Рассматривая вслед за А. Н. Самойловичем «караханидский», «хорезмийско-тюркский» и «чагатайский» как три фазы развития «восточного средневековотюркского», авторы очерка утверждают непрерывность и прямолинейность развития «единого» «восточного средневековотюркского языка», охватывающего, по их мысли, период с XI до конца XIX в. Тот известный факт, что переход к каждой новой фазе «восточного средневековотюркского языка» происходил в связи с историческими событиями, с перемещением культурных центров, вместе с которыми изменялся этнический состав и тем самым (при учете сильнейшего воздействия письменно-литературной традиции) изменялась диалектная основа литературного языка, видимо, должен был бы наводить на мысль о том, что вопрос о природе и характере «восточного средневековотюркского» языка в действительности более сложен.

Как диалектальные различия могут быть истолкованы, например, констатируемые авторами «переходы» $\tilde{a} > i(e^2)$, $\delta > y$, $\beta > v$. Очевидно, таким же образом нужно рассматривать и многочисленные расхождения

⁹ В качестве приложения в этот раздел вошел самостоятельный этюд М. Мансуроглу «Надписи из Семиречья и Ынгют-тюрки».

^{5а} «Kameniec», Venetik, 1896.

⁶ J. D e n i s y, L'arméno-coman et les «Ephémérides» de Kamieniec (1604—1613), Wiesbaden, 1957.

⁷ Кратко, необходимо уточнить биографические сведения о Т. И. Грунине, сообщаемые автором очерка: с 1933 г. Т. И. Грунин вел работу в Ашхабаде, а с 1937 г. живет в Москве.

⁸ E. T r u j a r s k i, Ze studiów nad rekopisami i dialektem kipcackim Ormian polskich, «Rocznik orientalistyczny», XXIII, 2, Kraków, 1960, стр. 7—55; E. T r u j a r s k i, Aus der Arbeit an einem armenisch-kipchakisch-polnisch-französischen Wörterbuch, «Ural-altäische Jahrbücher», XXXII, 3—4, 1960; E. S c h ü t z, An Armeno-Kipchak print from Lvov, «Acta orientalia», XIII, 1—2, Budapest, 1961; E. S c h ü t z, On the transcription of Armeno-Kipchak, «Acta orientalia», XII, 1—3, Budapest, 1960, стр. 139—161.

в морфологии; так, причастие на *-ʒal* в «караханидском» не употребляется в предикативной функции, здесь отсутствует ряд временных форм глагола, состоящих из деепричастия + показатель лица (стр. 106), зато представлены в предикативном употреблении формы на *-miş*, *-duğ*, *-yug*, *-lâci* (стр. 96), не свойственные ни «хорезмийско-тюркскому», ни «чагатайскому».

Понимая слишком буквально термин «староузбекский», применяемый в советской тюркологии, Я. Экман упрекает тюркологов нашей страны в желании «видеть в узбекском непосредственное продолжение древнетюркского» (стр. 141 — кстати, ссылка на одну лишь раннюю статью А. М. Щербака вряд ли достаточна для таких обобщений), хотя советскими тюркологами, признано, что термин «староузбекский» дает лишь указание на истоки, с которыми у узбекского языка имеются генетические связи. Что касается термина «чагатайский», то в статье Я. Экмана он лишен должной временной отнесенности: невозможно называть «чагатайским» тот язык, который «был распространен как литературный язык осознанных мусульманских тюрков в Туркестане и в Европейской части России до конца XIX в.» (стр. 138)¹⁰. В XIX в. уже начинают складываться основы национальных литературных языков, в том числе узбекского, и было бы важно специально исследовать в наиболее распространенных вплоть до 20—30-х гг. нашего века жанрах — поэтических — те языковые элементы, анализ которых способствовал бы выяснению путей развития новых литературных тюркских языков (узбекского, татарского или уйгурского и др.).

На тот факт, что в произведениях «чагатайских» поэтов в стилистических целях использовался целый ряд форм, уже или вовсе не употреблявшихся в прозе того же времени, указывал еще А. Н. Самойлович; об этом же пишет и Я. Экман (стр. 138). Однако в своем грамматическом обзоре «чагатайского» автор редко выделяет те из форм, которые свойственны исключительно языку поэзии. Досадным упущением в разделе «Das Tschaghataische» (по сравнению, например, с «Das Karakhanidische») представляется также отсутствие ссылок на источники в примерах из фонетического, отчасти морфологического разделов.

Староосманский язык («Das Altosmanische»). Статья известного историка турецкого языка М. Мансуроглу представляет интерес прежде всего как первый опыт обобщения и синхронического описания

фактов, относящихся к ранней поре формирования и развития турецкого языка (XIII — XV вв.). Автор дает почти исчерпывающее описание фонетических и морфологических явлений (сиптаксис не затронут) довольно обширного круга памятников. Эволюционной связи с современным состоянием языка автор не намечает, тем более что период начиная с XVI в. не получил никакой характеристики. Тем не менее рецензируемый раздел дает ценный материал для дальнейших историко-грамматических исследований.

Но мысли автора, высказанной им уже ранее в ряде работ, лингвистический анализ памятников XIII—XV вв. дает возможность определить их язык как уже сложившийся литературный турецкий язык, формирование которого происходило, очевидно, в более ранние эпохи на территории Центральной Азии. Автор высказывает ценную мысль о том, что связи староанатолийского литературного языка и литературы с так называемым чагатайским языком и литературой были живыми вплоть до XV в. Здесь, однако, оставлен без ответа естественный вопрос о том, что было присуще живому языку, а что сохранилось исключительно в силу традиций литературного языка. Заметим также, что выяснение вопроса о характере литературного языка привлеченных автором памятников (это, кстати, неизбежно должно было бы привести к более строгому отбору памятников и исключению из них прежде всего «Кысса-и Юсуф» как памятника, отражающего нормы другого литературного языка) связано также с изучением историко-культурных условий его формирования, что не учитывается автором очерка.

Турецкий язык («L'osmanli moderne et le türk de Turquie»). В статье о современном турецком языке, принадлежащей перу крупного французского тюрколога Ж. Дени, нашли свое отражение основные идеи ученого, изложенные им в его капитальных трудах¹¹. Сохраняя традиционное описание звуков турецкого языка, автор стремится установить взаимосвязанность компонентов системы вокализма (фонетическом плане (что должно дать представление о развитии системы вокализма в тюркских языках вообще), а также связь ее с морфологической структурой языка. Ж. Дени последовательно разграничивает фонетический анализ корня, аффикса и производного слова. Он вновь выдвигает деление аффиксов в зависимости от того, представлен там узкий или широкий гласный; такое деление аффиксов, по мнению Ж. Дени, являлось определяющим в становлении морфологической структуры слова.

Характеризуя грамматическую систему турецкого языка, автор, видимо, хотел показать как ее наиболее общие («обще-

¹⁰ Против такого употребления термина «чагатайский» в свое время возражали В. В. Радлов, П. М. Меллеранский, А. Н. Самойлович и др. Соображения, препятствующие наименованию узбекского языка «чагатайским», достаточно полно изложены, например, в работе В. В. Решетова «Узбекский национальный язык» [сб. «Вопросы формирования и развития национальных языков» («Труды Ин-та языковедения [АН СССР]», X), М., 1960].

¹¹ См.: J. Denny, Grammaire de la langue turque (dialecte osmanli), Paris, 1921; е г о ж е, Principes de grammaire turque («turk» de Turquie), Paris, 1955.

турецкие черты, так и подчас очень частные специфические особенности турецкого языка. По автору, турецкий язык отличается от других тюркских языков большей развитостью морфологии и большим консерватизмом ее форм — положение не столь бесспорное, на наш взгляд. При анализе ряда грамматических явлений внимание автора привлекает скорее момент возникновения той или иной формы, чем ее дальнейшее развитие. Заметим, что в изложении грамматической системы турецкого языка автор возвращается к старой схеме «пня — глагол — частицы».

Не всегда вскрывается природа грамматического явления, в силу чего, например, аспект возможности и аналитические формы глагола (типа *okuşuvermek* и типа *kabul etmek*) попадают в одну группу, формы времен рассматриваются в одном плане с так называемыми перифразическими формами глагола и т. д. Очень схематично и неполно представлен раздел синтаксиса. Характеристика современного турецкого языка заканчивается общими замечаниями о его словарном составе, которые касаются лишь вопроса о заимствованиях.

Анатолийские и румелийские диалекты турецкого языка («Die anatolischen und rumelischen Dialekte»). Очерк А. Джафероглу является новейшим после известной работы Т. Ковальского¹² опытом построения диалектологии турецкого языка. Новым здесь, помимо классификации, является исторический аспект статьи: автор стремится там, где он это считает необходимым, устанавливать исторические связи описываемого им диалектального явления с соответствующими фактами старосманского и затем — древнетурецких языков. Очерк А. Джафероглу составлен в соответствии с планом, принятым для описания отдельного языка. Однако при диалектологическом описании такой план удобен в том случае, когда излагается система диалектов данного языка в их взаимных отношениях, а не совокупность диалектальных особенностей по сферам языка: фонетике, грамматике, лексике.

С фактической стороны работа А. Джафероглу — собирателя и знатока турецких диалектов — является достаточно полной. Ценные исследования Ю. Немета¹³ и его учеников вышли в свет, видимо, уже после того, как статья А. Джафероглу была написана. Не нашли отражения в статье работы по местному турецкому языку, выполнявшиеся в последние годы в Югославии. По-прежнему мы лишены сведений о турецких говорах Крита с его более чем столетним турецким населением. В статье незаслуженно оставлены без внимания транскрипционные тексты и посвященные им исследования, весьма важные для истории

турецких диалектов, в частности исследования Н. К. Дмитриева¹⁴, Ф. Крелитга-Грейфенхорста и других. Эти упущения, однако, не обесценивают в целом удачную и полезную статью А. Джафероглу, которая вместе со сводной работой Ю. Немета сообщает читателю основные сведения по турецкой диалектологии, существенно дополняющие данные, собранные в упоминавшейся статье Т. Ковальского.

Гагаузский язык («Das Gagausische»). В своей статье о гагаузском языке Г. Дёрфер опирается главным образом на известные работы В. А. Мошкова, Н. К. Дмитриева, Т. Ковальского и Ю. Немета. Однако поскольку в распоряжении автора, как и его предшественников, имелись лишь фольклорные тексты, записанные В. А. Мошковым более 60 лет назад, в статье не получило должного отражения современное состояние изучения гагаузского языка. Г. Дёрфер возражает против утверждения Т. Ковальского о наличии в гагаузском языке целого ряда кыпчакских черт, связанных с этногенезом гагаузов. В свете новых наблюдений гипотеза Т. Ковальского получает несомненное подкрепление. Ср., например, выявленные теперь восходящие дифтонгоиды *uo*, *üö*¹⁵, *ie* в анлауте, характерные для целого ряда «кыпчакских» языков, а также для якутского. Зафиксирован ряд кыпчакских элементов в морфологии и лексике современного гагаузского языка на территории Молдавии и Украины. Г. Дёрфер, как и Т. Ковальский и Ю. Немец, относит гагаузский язык к балкано-турецким диалектам и обозначает его новым термином «балкано-османский», полагая, что «только... славянизация создает ему [т. е. гагаузскому языку. — Л. П.] особое (однако недавнее и вторичное!) положение» (стр. 264). В советской тюркологии гагаузский язык рассматривается как самостоятельный язык юго-западной группы.

Остановимся на некоторых вопросах, затронутых в статье. Следует признать справедливой критику (стр. 267) мнения о том, что появление протетического *y* в гагаузском языке объясняется влиянием фонетики славянских и романских языков¹⁵. Как показывают наблюдения, протетический *y* перед узкими *i*, *ï*, *и* перегуляреп, начальные же по ширине гласные *e*, *o*, *ö* звучат как дифтонгоиды *ie*, *uo*, *üö*.

В употреблении параллельных форм настоящего времени на *-ayor/-eyor* и на *-er* автор находит следующее различие: по его мнению, форма на *-ayor* выражает действие преимущественно в сфере субъекта, а форма на *-er* обозначает действие, направленное преимущественно в сферу объекта (стр. 269). В действительности в современном гагаузском языке форма на *-yor*

¹² T. Kowalski, Osmanisch-türkische Dialekte, «Enzyklopädie des Islams», IV, 1934.

¹³ J. Németh, Zur Einteilung der türkischen Mundarten Bulgariens, Sofia, 1956.

¹⁴ Н. К. Дмитриев, Материалы по османской диалектологии. Фонетика «карамалицкого» языка, «Зап. Коллегии востоковедов», Л., III — 1928, IV — 1929.

¹⁵ См. Н. К. Дмитриев, Gagausische Lautlehre. II, «Archiv orientální», IV, 3, 1932, стр. 357.

используется только при исполнении старинных народных песен, а в разговорной речи употребляются формы на $^{-1}er/^{-1}er$ (в чадырлунгском и комратском говорах) и на $^{-1}y,^{-1}y$ (в вулканешском говоре и отчасти на территории УССР). Едва ли был прав автор, выделяя гласные среднего ряда, поскольку он сам признает их позиционный характер (соседство с палатализованной аффрикатой). Полезная в целом статья Г. Дёрфера свидетельствует о том, что дальнейшее изучение гагаузского языка может вестись лишь на базе новых наблюдений.

Азербайджанский язык («Das Aserbeidschaische»). Ахмед Джафероглу и Г. Дёрфер поставили перед собой задачу — дать фонетико-грамматическую характеристику азербайджанского языка, осветив при этом состояние его изученности в западном и советском языкознании. При изложении языковых фактов авторы ссылаются на исследователей, отметивших данное явление. Иллюстрации также берутся не из азербайджанских текстов, а из материалов отдельных языковедов.

Наиболее полно освещена в статье фонетика, где особое внимание уделено сингармонизму; отмечены также характерные диалектальные особенности, такие, как чередование начальных $k \sim kx, g \sim dʒ$ в южных диалектах (стр. 294) или развитие вслярного h в диалектах Гянджик, Карабаха, Казача (стр. 296). Вместе с тем фонетический раздел не свободен и от некоторых существенных недостатков. Прежде всего можно было бы ждать от автора более систематического освещения фонетических отличий азербайджанского языка, таких, как колебания между глухим и звонким аналогом одноврядных согласных, качество начального g (близкого к аналогичному звуку в кумыкском и туркменском), наличие протетического h , элизия начального j перед узкими гласными (il вместо jil), аспирация глухих смычных, наличие геминированных согласных, богатая фразовая интонация и т. д. Не объяснено, например, что представляют собой *mediae leves*, характерные, как указывают авторы, для азербайджанского языка. Следовало более четко разграничить фонетические особенности, свойственные литературному языку и диалектам.

Раздел морфологии ограничен лишь конспективным изложением самых общих данных, что не дает правильного представления о совокупности и особенностях грамматических форм. Например, говоря о должностовательном наклонении (стр. 303), авторы приводят форму на $-mal\ddot{i}$ и описательную конструкцию с модальным словом $g\ddot{e}r\ddot{e}k$, однако опускают близкую по значению форму на $-as\ddot{i}$. Очень неполно перечислены деепричастий, где не упомянуто, например, специфичная для азербайджанского языка форма на $-mat\ddot{i}\ddot{s}$. При перечислении падежных аффиксов, например для девятого падежа (Privativ), дается показатель $-s\ddot{i}z$ (стр. 299), который в действительности обладает всеми свойствами словообразовательного форманта и не образует грамматической формы.

При характеристике азербайджанского языка авторы в ряде случаев проводят полную аналогию с турецким языком. Общность многих черт между обоими языками общеизвестна, однако нельзя говорить о полной аналогии в значении и употреблении ряда форм, например системы времен (стр. 304), и еще больше в синтаксисе, которому авторы статьи вообще не уделили внимания, отговорившись почти полным совпадением азербайджанского и турецкого синтаксиса (стр. 306). Нельзя также согласиться с тем, что современный азербайджанский литературный язык «находится под сильным влиянием новоосманского литературного языка» (стр. 281). Влияние здесь кажущееся. Современный азербайджанский язык не использует, например, турецкой терминологии. Что же касается общих черт в области морфологии и синтаксиса, то они являются достоянием многих языков и диалектов.

Туркменский язык («Le turkmène»). В фактической части своей статьи Л. Базен во многом опирается на материалы И. Бенцинга¹⁶. В разделе фонетики при описании гласных Л. Базен концентрирует свое внимание на противопоставлении долгих и кратких гласных, отмечает палатальную и губную аттракцию. В области согласных автор ограничивается лишь их общим описанием, почти не останавливаясь на процессах взаимодействия между гласными и согласными.

В морфологической части наиболее полно представлены глагольные формы: о числительных, наречиях, местоименных говорится предельно кратко. Можно отметить, что аффикс $-r\ddot{a}h/-r\ddot{a}q$, который Л. Базен приписывает только прилагательным, может присоединяться также к деепричастиям, наречиям, послелогам (ср. *azg\ddot{y}rylybrak* «грубовато», *bir imyarakdan b\ddot{e}ri* «с год»). В перечне форм прилагательных описаны формы усиления и ослабления качества прилагательных $-(y)myla, -(y)mylyk, -j\ddot{y}mylak, -g\ddot{y}myt$ и др. Туркменский синтаксис почти не рассматривается, хотя автор делает ряд интересных замечаний о синтаксических конструкциях с глагольными именами и причастиями.

В целом Л. Базен дает довольно точное, правда, несколько фрагментарное, описание туркменского языка. Но некоторые наблюдения автора вызывают сомнения и, на наш взгляд, нуждаются в коррективах. Так, Л. Базен вслед за И. Бенцингом считает опорным диалектом туркменского литературного языка йомудский диалект, что для определенного этапа развития туркменского литературного языка верно. Однако в настоящее время большинство туркменоведов склонно признать в качестве опорного для современного туркменского языка ашхабадский говор текинского диалекта¹⁷. Нельзя далее согласиться

¹⁶ J. B e n z i n g, Über die Verbformen im Türkmenischen, Berlin, 1939.

¹⁷ Ср.: З. Б. Мухамедова, Туркменский язык, сб. «Младописьменные язы-

с мнением М. Вазена о слабом развитии в туркменском языке лабиальной аттракции. В известных нам туркменских диалектах не зарегистрированы порядковые числительные на-(i)miŋŋi/-(i)mĩŋŋi [ср. диалектальные формы на-(ы)ланŋы/-(у)ленŋи, (ы)мэŋы/-(у)мэŋи]. Представляется также маловероятной возможность причастного употребления формы на-у *är/ýär*.

Караимский язык («Das Karaimische»). Статья О. Прицака о караимском языке представляет собой попытку в краткой форме изложить строй всех трех диалектов караимского языка на основании трудов В. В. Радлова, Т. Ковальского, Я. Гжегоржевского, А. Зайончковского. Здесь в сопоставительном плане даются важнейшие сведения в основном по фонетике и морфологии, а также по лексике и синтаксису западных диалектов караимского языка. В конце статьи приведено по пять строк образцов текстов для каждого диалекта в фонематической транскрипции, которая значительно отличается от транскрипции Т. Ковальского. Особый раздел посвящен лексике и некоторым фонетическим особенностям крымского диалекта караимского языка, разработанным на основе материалов VII тома «Образцов» В. В. Радлова, а также публикаций В. Н. Филаненко и А. Зайончковского. Но сравнительно с предыдущими работами в статье О. Прицака больше внимания уделено славянским элементам караимского языка. Перечисляются семь словообразовательных аффиксов имени существительного, несколько послелогов и наречия славянского происхождения. Некоторые явления в галицком диалекте автор объясняет влиянием украинского языка (стр. 334).

Ряд положений статьи вызывает возражения. О. Прицак, например, считает, что в караимском языке существуют две формы инфинитива: на-*таж* и -*та*. Фактически таковой здесь является форма на-*та*, а при помощи аффикса -*таж* как в галицком, так и в тракайском диалектах образуется только название действия. Нельзя согласиться также с утверждением автора о существовании глубоко заднеязычного *q* в западных диалектах караимского языка. В тракайском диалекте общетюркский конечный *q* перешел в *x*, а в других позициях — в среднеязычный *k*. В галицком диалекте общетюркский *q* перешел во всех позициях слова в среднеязычный *k*, возможно, под влиянием украинского языка.

Карачаево-балкарский язык («Das Karatschaische und Balkarische»). Построив свою статью в основном на исследованиях русских и советских лингвистов, О. Прицак вместе с их материалами заимствовал или народов СССР», М.—Л., 1959, стр. 134; М. Н. Хыдыров, Туркмен диливици тарыхындан материаллар, Ашгабат, 1958, стр. 91—93.

¹⁸ Отметим, что здесь повторены погрешности описания Н. А. Караулова (см. его работу «Краткий очерк грамматики горского языка „болкар“», «Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа», 42, Тифлис, 1912).

некоторые устаревшие положения¹⁸. Так, в настоящее время уже нет оснований делить карачаево-балкарский язык на карачаевский и балкарский.

Нельзя согласиться также с другими, более частными моментами в статье. В карачаево-балкарском языке древнетюркский *a* не переходит в *ä* перед *y* и *z*, как это указывает автор на стр. 347; ср., например, *аджир* «жеребег», *аю* «медведь»; звук *ä* в карачаево-балкарском языке вообще отсутствует, а приводимые О. Прицаком формы *ölgän, nükär, tündä, külä* и т. д. (там же) необходимо исправить так: *ölgän, nöger, tünde, küle*. Здесь же говорится о переходе *a*, *e* в краткий *i* ~ *i* в предикативных аффиксах -*ма/мен*, -*сан/сен*, что не соответствует действительности (ср. *алама* «я беру», но не *аламы* и т. д.); отметим кстати, что в карачаево-балкарском предикативные аффиксы в действительности имеют звуковой облик -*ма/ме*, -*са/се*. Точно так же в современном языке не существует перехода *e* > *ö* в слоге, следующем после слога с *ö, ü*; ср. *ёлген* вместо приводимого О. Прицаком *ölgön* (стр. 348). На стр. 350 неверно отмечен спорадический переход анлаутного *t* > *d*: *тёрт*, а не *dört* «четыре», *джулдуз/жулдуз/зудуз*, а не *duldüz* «звезда» и т. д.

Формы типа *бермелле* «они не дали» восходят не к *бермелер* «они не дадут» (стр. 3), а к *бермедиле* (*бермедиле* > *бермед^нле* > *бермелле*). Показатели принадлежности -*йиз/йиз*, -*бийз/бийз* (стр. 355 и 361) в карачаево-балкарском языке отсутствуют, как и указательные местоимения, выписанные автором из работы Караулова (стр. 359).

Крымско-татарский язык («Das Krimosmanische», «Das Krimtatarische»). Обе статьи Г. Дёрфера, посвященные крымско-татарскому языку, вернее его диалектам, написаны в основном до дореволюционным, иногда давно устаревшим, источникам; из послеоктябрьской литературы в распоряжении автора оказалось лишь несколько песен, относящихся к 20-м годам. Естественно поэтому, что работы Г. Дёрфера дают представление о крымско-татарском языке и его диалектах преимущественно до периода его нового литературного формирования. Экспедиция 1935 г., проведенная на всей территории Крыма, дала новую картину состояния и взаимоотношений диалектов крымско-татарского языка, чем это представлено в рецензируемых статьях. Было установлено, что крымско-татарский язык представляет собой единое целое и что, например, его южные говоры являются в своей основе татарскими, включающими огузские элементы, но не наоборот, как это дано у Г. Дёрфера; что погайский диалект расходится с погайским языком Северного Кавказа, с которым у него теперь остаются лишь исторические связи, и в то же время сближается с наиболее влиятельным, т. е. средним диалектом («орта ёлак»), составляющим базу литературного крымско-татарского языка.

Тщательный учет и анализ наиболее существенных черт крымско-татарского языка, отраженных в использованных автором источниках, позволил Г. Дёрферу верно отметить ряд черт, специфичных для крымско-татарского языка и его диалектов; ограниченное действие губной гармонии в основах и грамматических формах (стр. 375); «легкую веларизацию» *ö* и *ü* после губных и гуттуральных согласных, *y* и *ğ* в аялауте (там же); преобладание начальных *k*, *t* над *g*, *d*, хотя некоторые слова во всех диалектах имеют звонкий аялаут (ср. *dämür, däviz, doğru* и др.—стр. 378); выпадение в литературном языке (добавим: и диалектах) *h* во всех позициях (стр. 380), и др.

Г. Дёрфер следующим образом классифицирует крымско-татарские диалекты: 1) крымско-османский вместе с турецким говором мармупольских греков; 2) центральный крымско-татарский; 3) крымско-татарский; 4) крымско-ногайский; 5) добруджеко-татарский (на территории РНР) и 6) добруджеко-ногайский (на территории РНР) (стр. 367). Не довольствуясь этим делением, автор на основании прослеживаемых изоглосс классифицирует перечисленные диалекты в соответствии с классификационной схемой, принятой в томе (стр. 372), и получает ряд группировок, относимых им соответственно к южнотюркским, западнотюркским и среднетюркским языкам. Подчеркнем, что классификация Г. Дёрфера часто приходит в столкновение с приводимыми им же фактическими данными по диалектам. Г. Дёрфер, в частности, пишет: «Характерным... для всех тюркских диалектов Крыма является... сильная степень смещения северных и южных форм» (стр. 370). Нетрудно видеть, что это замечание в корне подрывает классификационные построения автора.

Наиболее существенным недостатком статей Г. Дёрфера является то, что крымско-татарский язык не представлен здесь как единый и целый объект описания. Подобно другим статьям, здесь ретроспективный подход к языку также является определяющим, и потому процессы развития, относящиеся к новейшей эпохе, остаются вне поля зрения автора. Можно было бы указать на ряд погрешностей фактического характера, например, обнаружение в крымско-татарских диалектах не существующего в них согласного *ğ* (стр. 377); «сохранение почти повсюду звукосочетаний *-äç-, -iç-, -oç-, -äg-*, хотя Г. Дёрфер в специальном параграфе рассматривает переходы этих звукосочетаний в соответственные долгие гласные или дифтонги (стр. 377, 378); постулируемый автором переход *ç > ç̄* перед *t* (стр. 379), в то время как в действительности наблюдается преобладание *-t̄-*; ошибки в парадигме лично-предикативных форм (стр. 384); обойдены молчанием некоторые важные формы и явления крымско-татарского языка (например, функциональная обратимость падежей); не отмечены указательные местоимения *мына, ана*; не приводится система глагольных времен и т. д.

Кумыкский язык («Das Kumükische»). Статья И. Бенцинга о кумыкском языке, построенная преимущественно на трудах Н. К. Дмитриева, сообщает читателю важнейшие сведения об этом языке согласно принятой программе фонетико-грамматического описания. И. Бенцинг принял также во внимание статьи Ю. Немета и наиболее ранние публикации о кумыкском языке, принадлежащие Цаллагову и Османову. К библиографическому перечню здесь необходимо добавить ряд новейших исследований диалектов кумыкского языка (работы И. А. Керимова, Р. Г. Шахмановой, Ю. П. Долининой), кумыкской грамматики в сопоставительном плане с русской (работы О. Я. Прик), большой фольклорный сборник¹⁹, русско-кумыкский словарь²⁰ и ряд других публикаций, а из старых работ — исследование проф. Б. Чобан-Заде²¹.

Автор верно отмечает определенные огласки в фонетике кумыкского языка. Менее вероятным представляется влияние на кумыкский восточнотюркских языков. Ссылка И. Бенцинга на форму инфинитива *-таг* как на довод в пользу этого предположения не убедительна, поскольку форма на *-таг* известна прежде всего у ближайших соседей кумыкского языка. Как и в остальных статьях, здесь много внимания уделено территориальным диалектам. Было бы, однако, естественно ожидать от автора большего внимания к наиболее развитому, опорному диалекту литературного языка — хасав-юртовскому, а также к переходному буйнакскому диалекту, играющему значительную роль в формировании литературного языка.

И. Бенцинг верно отмечает характерные черты кумыкского вокализма, в частности дифтонгоидное кыпчакское произношение *o* и *ö*²², более заднюю артикуляцию небных губных *ö* и *u*, близкую к аналогичной артикуляции в крымско-татарском, а также центральном и восточном диалектах турецкого языка²³. Читатель найдет в статье основные сведения о небной и губной гармонии, в кумыкском более последовательной, чем в других кыпчакских языках. Довольно подробно охарактеризован также кумыкский консонантизм. Отметим, что написание типа *миде, къатды* (с видимым нарушением ассимиляции по глухости) являются орфографической условностью и не имеют отношения к артикуля-

¹⁹ «Къумукъланы йыр хазнасы», Махачкала, 1959.

²⁰ «Русско-кумыкский словарь» под ред. З. З. Бамматова, М., 1960.

²¹ Б. Чобан-Заде, Предварительное сообщение о кумыкском наречии. Положение кумыкского наречия среди других тюрко-татарских наречий. «Изв. Об-ва обследования и изучения Азербайджана», 1, Баку, 1925.

²² Впрочем см. Т. Kowalski, Les dialectes turcs, «Encyclopédie de l'Islam», IV, livr. O, 1931 (раздел о гласных § 5: анкарский говор).

²³ Там же, § 1.

ционным изменениям в произношении глухих согласных (стр. 397).

В морфологическом разделе приводятся краткие сведения о словообразовательных формах имен и глаголов. По недоразумению сюда же попали безаффиксные определительные сочетания имен типа *alma terek*, *qoy et*. Достаточные сведения приведены для всех грамматических категорий имени, всех именных и служебных частей речи, а также для глагола. Недостатком всего грамматического раздела является отсутствие указаний на значения форм. Синтаксический раздел крайне беден и мало что дает читателю.

Казанско-татарский язык и восточносибирские диалекты («Das Kasantatarische und die westsibirischen Dialekte»). Статья К. Томсена о татарском языке и его диалектах включает в себя обстоятельную синхронную характеристику звуков татарского языка со сравнительно-историческими экскурсами (звуки здесь рассматриваются также в их отношении к соответствующим звукам древнетюркского языка); подобные экскурсии имеют важное значение. В разделе грамматики весьма фрагментарно рассмотрены отыменное и отглагольное словообразование имен, разряды имен числительных и местоимений, послелоги, связка, деепричастия, причастия и формобразование глагола.

В конце очерка приведен связный текст, написанный на старолитературном «тюрки» и поэтому непригодный для иллюстрации современной татарской речи. Встречающиеся здесь образования *ilemez*, *boçday*, *wä*, *berlö* и мн. др. (стр. 420, 421) татарскому языку не свойственны. Такого рода несообразностей немало и в иллюстративном материале, не говоря уже об опечатках вроде *boyaçi* (стр. 412) вместо *boyaçi* < **boyaçi*, *üirçiz* (стр. 413) вместо *üirçiz* и др. Автор приводит *öle* вместо *üle*, *muñ* вместо *mon*, *töyü* вместо *döyü* (стр. 412); *kütti* вместо *kötte*, *ämnä* — вместо *imlä* (стр. 413) и т. п.

Местами встречаются неточные или даже ошибочные переводы: татар. *tamiz* — означает не «Feuer anschüren» (стр. 416), а «капать», *yuralt* — не «umkommen lassen» (стр. 416), а «терять». Неверно переведены также татар. *çirış* (стр. 415), *tatârça uqıy uqıy öyrände* (стр. 418) и др. Можно указать также на неточности в трактовке отдельных форм, например формы на *-çan* (стр. 414), означающей не «liebend» (стр. 414), а «veranlagt (zu)» («склонный к»). Имея в виду современное состояние татарского языка, нельзя согласиться с положением, к которому присоединяется К. Томсен, об именном строении временных форм, за исключением формы будущего на *-р* (последнее неверно охарактеризовано как аорист — стр. 419).

Башкирский язык («Das Baschkirische»). И. Бенцинг описывает важнейшие черты башкирского языка, сосредоточивая основное внимание на его фонетических особенностях. Автор пользуется всеми наиболее значительными источниками по башкирской фонетике, вплоть до статей, опубли-

кованных за последние годы в Башкирии. Использованы также магнитофонные записи. Все это позволило автору дать обстоятельное описание башкирского вокализма и консонантизма, внести уточнения в существующую характеристику отдельных фонетических явлений (ср. замечание автора об отсутствии дифтонгов в башкирском языке), высказать интересные предположения относительно истории перехода исконого $\xi > \xi$ и т. п.

Некоторые уточнения внесены также в трактовку отдельных грамматических форм. Например, формы типа *al-ha inëm* справедливо охарактеризованы как сослагательное наклонение (Konditional — стр. 433). В целом, однако, особенности башкирской грамматики, в отличие от фонетики, описаны предельно лаконично. Автор вовсе не касается специфики башкирской лексики, хотя она и составляет одну из самых ярких отличительных сторон башкирского языка, которые препятствуют отнесению этого языка к диалектам татарского (как это делает И. Бенцинг на стр. 422). Здесь, как и в области фонетики, башкирский язык обнаруживает совершенно иную эволюцию древнетюркского наследия, чем татарский²⁴, с которым он теснейшим образом смыкается по своему грамматическому строю.

Возражение вызывает утверждение, что гармония гласных в аффиксах осуществляется по аналогии с гласным последнего слога основы (стр. 424). В башкирском, как и в ряде других тюркских языков, в процессе пёбной ассимиляции доминирующим является гласный в последнем слога основы, а первого. Башкирские *k*, *g* характеризуются не палатальностью (стр. 425), а крайне ослабленной смычкой; они, как и все башкирские согласные, имеют не только палатальные, но и веллярные варианты в зависимости от соседних гласных, и в этом отношении от них не отличаются ни *l*, ни *h*, которые выделены автором особо как звуки, имеющие палатальный и веллярный варианты (стр. 425). Трудно согласиться с предложенным автором сопоставлением башкирского палатального *l* с немецким *l* (там же). Несмотря на указанные недочеты, статья И. Бенцинга дает ясное и довольно полное представление о природе башкирского языка, что и составляет ее основную цель.

Арало-каспийская группа языков [«Die aralo-kaspische Gruppe (Kasachisch, Karakalpakisch, Kiptschak-Ozbekisch, Nogaisch, Kirgisisch)»]. Статья К. Г. Менгеса посвящена языкам казахскому, каракалпакскому, ногайскому, киргизскому и кыпчакским говорам узбекского языка. Остается несмысленным, на основании каких признаков выделена данная группа, тем более что сам автор делает оговорки об известной неправомерности включения в эту группу киргизского языка и кыпчакских говоров уз-

²⁴ См. об этом: А. А. Юлдашев, Вопросы формирования единых норм башкирского национального языка, сб. «Вопросы формирования и развития национальных языков», стр. 288—290.

бекского языка. Наибольший интерес здесь представляют те разделы (например фонетический), в которых К. Г. Менгес ставит на материале языков выделенной им группы проблемы общетюркского и в известной степени исторического характера. Таков, например, параграф о начальном общетюркском *y*- и его заменах в языках арало-каспийской группы (стр. 456—457). В сравнительно-тюркологическом плане ведется также описание большей части остальных согласных. Такой способ рассмотрения языковых фактов, удобный, когда речь идет об одной определенной проблеме, оказывается малоэффективным для задачи систематического описания нескольких тюркских языков.

Для характеристики языков арало-каспийской группы К. Г. Менгес привлекает материалы В. В. Радлова, Н. И. Ильминского, П. М. Медведова и из современных авторов К. К. Юдахина, Н. А. Баскакова, С. Аманжолова, И. К. Доскарасва и других. Но, используя эти источники и ссылаясь на них, автор статьи прежде всего исходит из определенной схемы и основное внимание обращает на те особенности описываемых языков, которые укладываются в его схему и подтверждают ее. В меньшей степени К. Г. Менгеса интересует роль и место данного факта в конкретном языке, откуда он взят, и его типичность для других языков группы. Такой подход приводит к диспропорции в освещении материала, а порой и к фактическим неточностям. Так, например, в параграфе об ударении (стр. 465) К. Г. Менгес перечисляет безударные энклитические аффиксы, включая в их число и отрицательный глагольный аффикс *-ma-* (*-ba-/pa-*), который на деле в киргизском и казахском в ряде случаев принимает на себя ударение (ср. *жазба* «пе пиши», *жазбайсын* «ты не напишешь» и т. п.). Принимают на себя ударение также аффикс уподобления и сравнения *-day/-dey*, аффикс *-ǰa/-ǰe* (ср. *орусча* «по-русски», *кыргызча* «по-киргизски» и т. п.), отнесенные К. Г. Менгесом к безударным. Наиболее подробно и полно освещена К. Г. Менгесом фонетическая система языков арало-каспийской группы, в частности долгие гласные, процессы сингармонизма и ассимиляции. В системе вокализма К. Г. Менгес выделяет девять гласных фонем, в том числе гласную *ä(ə)*. Между тем в современном киргизском языке фонема *ä(ə)* исследователями (К. К. Юдахин, И. А. Батманов и др.) не отмечена, она встречается лишь в южных киргизских говорах. Для казахского языка К. Г. Менгес не регистрирует особых гласных *i* и *j*, которые, как известно, фонологически отличны от *и* и *у*. Менее подробно и более фрагментарно освещен раздел морфологии. Здесь автор больше оперирует фактами каракалпакского, ногайского, в меньшей степени киргизского и казахского языков. К. Г. Менгес дает сводную парадигму спряжения с указанием фонетических вариантов показателей лица по языкам. Отметим попутно, что в 1-м лице ед. числа местоименного спряжения киргизский язык не имеет фор-

мантов *-bin/-pın* с их сингармоническими вариантами, а в 1-м лице мн. числа — формантов *-mız/-pız* с их вариантами (стр. 472). Во 2-м лице мн. числа местоименного спряжения пропущены аффиксы *-сыңар...*, *-сыздар...* для киргизского и *-сыңдар...*, *-сыздар...* для казахского языка. Опушен также киргизский аффикс 2-го лица мн. числа притяжательного спряжения *-нар...*

В целом можно говорить о неполноте грамматической характеристики языков арало-каспийской группы. Отсутствие разделов, которые освещали бы процессы словообразования и основные синтаксические категории арало-каспийских языков, ощущается как пробел в содержательной статье К. Г. Менгеса.

Узбекский язык («Das Özbekische»). Статья Ст. Вурма представляет собой краткое описание фонетики и морфологии узбекского языка. В фонетическом разделе приводится описание шести гласных и таблица, где дана классификация двадцати четырех согласных (стр. 493). Каждый гласный имеет специальную характеристику; из согласных же охарактеризованы лишь *n*, *l* и несколько других фонем. В том же разделе отмечено выпадение *t* и *l* (например, *tör<tört* «четыре», *bosā<bolsā* «что касается»), стяжение (например *āp<ālip* «взяв»), некоторые случаи ассимиляции и метатезы. В фонетическом описании, особенно гласных, широко используются данные диалектологии (стр. 491—492); это обусловлено самим материалом, поскольку узбекские диалекты различаются между собой заметнее всего именно в отношении гласных. Здесь, однако, почти полностью отсутствует иллюстративный материал. В разделе морфологии эпизодически приводятся широко известные сравнения с другими тюркскими языками [это касается, например, послелога *blän<bilän* (стр. 503)].

Морфологический раздел статьи в основном представляет собой весьма полный перечень словообразовательных и словоизменительных форм современного узбекского языка, распределенных по частям речи и грамматическим категориям, с некоторыми параллелями из диалектов (ср., например, формы личных местоимений — стр. 505). Здесь можно отметить некоторые неточности в трактовке отдельных форм; например, в числе причастных отмечается также форма на *-uē* (стр. 511), которая, однако, в современном литературном языке носит словообразовательный характер. Вместо одного аффикса *-(i)mtir*, действительно употребительного в современном литературном языке, приведена целая группа формантов (стр. 496), ему не свойственных, а в качестве примеров — *aq+tul* «беловатый», *qara+mtul* «черноватый», которые фактически употребительны лишь с аффиксом *-(i)mtir*.

Как видно из очерка, при описании морфологии автор не стремился дифференцировать формы литературного языка и его диалектов. Не дифференцированы формы также по их продуктивности и частоте употребления. Обратимся, например, к глагольным именам на *-iǰ* и *-māq* (стр. 510 и

511). Судя по материалу автора, можно предположить, что их роль в узбекском языке одинакова. На деле же первая форма широко употребительна в различных значениях и функциях, тогда как глагольное имя на *-maq* в этом отношении чрезвычайно ограничено. То же следует сказать о форме времени на *-maqta*, иллюстрируемой формой 1-го лица ед. числа (стр.: 515), тогда как в языке обычно употребляется 3-е лицо ед. числа и только в положительном аспекте.

Статья строилась на материале ценных, но все же сравнительно давних исследований проф. Е. Д. Поливанова, К. К. Юдина, а также зарубежных авторов. Автор не мог, видимо, воспользоваться работами проф. А. К. Боровкова и В. В. Решетова, отсутствующими и в библиографии. Не названы и другие труды более частного характера. Из новейших работ учтена лишь «Грамматика узбекского языка» проф. А. Н. Кононова. В статье нет сведений о синтаксисе узбекского языка, а лексика получила освещение только в плане словообразования. Приведенные в конце статьи фольклорные тексты мало показательны для современного узбекского языка.

Новоуйгурский язык («Das Neuigurische»). В статье О. Прицака приводятся сведения о формировании современного литературного языка и о классификации диалектов. Деление на северный, южный и группу «изолированных» диалектов (стр. 529) требует уточнений: аксуйский говор по своим особенностям в южный диалект не входит (здесь *ɣ* не чередуется с *ʃ*, отсутствует глухое окончание *-tu* в 3-м лице будущего времени). К «изолированному» диалекту О. Прицак относит: лобнорский, хотонский, саларский и сарыгюгурский языки. Язык лобнорцев, сближающийся с уйгурским литературным языком, можно выделить как диалект. Что же касается саларского, сарыгюгурского и хотонского, то это отдельные, лингвистически вполне самостоятельные языки, мало похожие на уйгурский язык Синьцзяна. Описание фонетики и морфологии уйгурского языка, которое проводится в статье путем сравнения «изолированного» и других диалектов, не дает целостного представления о системе уйгурского литературного языка, а многие интересные детали и наблюдения тонут в сравнительном материале и ускользают от внимания. Нормативные грамматики, четко отображающие литературный язык уйгуров, созданы в Синьцзяне²⁵, но, по видимому, остались неизвестными автору.

Язык желтых уйгуров (сарыгюгуров) и саларский язык («Die Sprache der Gelben Uiguren und das Salarische»). В отношении языка желтых уйгуров (сарыгюгуров) автор статьи К. Томсен разделяет взгляды О. Прицака, а в отношении саларского языка оба следуют за А. Н. Самойловичем²⁶,

хотя К. Томсен и ссылается на поправку С. Е. Малова²⁷ (стр. 565). Язык сарыгюгуров К. Томсен сближает с языком синьцзянских уйгуров по некоторым фонетическим и морфологическим признакам: гласный *i^s* (*i^s ke* «два», *i^s i^su* «быстрый»), дат. падеж на *-ɣa/-qa*, местн. падеж на *-da*, исходн. падеж на *-tan/-tin*, аффикс сравнения *-täg* и др. (стр. 567). Правда, сам автор отмечает, что исходн. падеж на *-tin* для сарыгюгурского языка — редкое исключение (стр. 567), для языка же уйгуров Синьцзяна это — норма. В статье, кроме того, не обращается внимания на то, что в сарыгюгурском консонантизме существует система сильных и слабых глухих фонем, различающихся также по наличию или отсутствию аспирации, а временные формы здесь утратили личные окончания; в уйгурском же эти явления не наблюдаются. Эти признаки позволяют отнести сарыгюгурский и новоуйгурский к различным классификационным группам.

Саларский язык, по мнению К. Томсена, тесно связан с языком сарыгюгуров (стр. 566). Основанием для такого заключения явился целый ряд фонетических признаков, в том числе гласная *i^s* в начале слов. В действительности этими чертами «близкое» сходство саларского и сарыгюгурского языков и ограничивается. По существу же оба языка — разные и никак не могут быть признаны диалектами языка уйгуров Синьцзяна.

Алтайский, хакасский, чулымский и порский языки («Das Altaitürkische», «Das Abakan- und Čulymtürkische und das Schorisches»). Названным языкам посвящены два очерка О. Прицака, где автор, занимаясь основной фактической материал и конкретные примеры из исследований советских тюркологов, приводит также и некоторые собственные суждения, выводы и этимологии. Интересны, например, на стр. 587 его этимологии модальных частиц *ämür* (<*ärmiş turur*), *ämäs* (<*är-mäs iş?*) и других в алтайском языке. Встречаются, однако, некоторые неточности в приведенных грамматических явлениях и фактах; так, указывая на наличие в северных диалектах алтайского языка спорадически употребляющейся формы исходного падежа *-dan/-dän* (стр. 583), автор не отмечает доминирующую там форму этого падежа *-dän/-din*. Нельзя согласиться с автором в том, что в описываемых языках имеется посессивное спряжение глагола (см., например, стр. 588—591). Формы на *-dim*, *-dih*, *-di* и т. д., на *-sam*, *-sañ*, *-sa* и т. д. нельзя отнести к посессивным формам; они безусловно являются личными формами с усеченными личными аффиксами. Сомнительны также этимологии (стр. 595) местоименных глаголов *anayssin* (<**anayt-sin*), *mu-*

²⁵ См.: «Грамматика уйгурского языка. Фонетика и морфология», Урумчи, 1957 [на уйг. языке]; Х. Насиров, Грамматика уйгурского языка. Синтаксис, Урумчи, 1957 [на уйг. яз.].

²⁶ А. Самойлович, Некоторые дополнения к классификации турецких языков, Пг., 1922.

²⁷ С. Малов, Изучение живых турецких наречий Западного Китая, сб. «Восточные записки», I, Л., 1927.

paŋir (<**miŋaŋ-ir*) и прочих аналогичных образований (стр. 595), которые скорее всего происходят от *andy et-, mundiyet-* и т. п.

Очерки по хакасскому, чулымскому с камасинским и шорскому языкам составлены с учетом новейших исследований. Возражение вызывает наименование «язык абакаских турков». В современной тюркологии для данного языка принято название «хакасский язык». Автор приводит приятную в советской тюркологии классификацию хакасских диалектов на *s-* и *ž-* диалекты. Весьма удачно подытожены здесь основные фонетические особенности хакасского языка и его диалектов.

Тувинский и тофаларский языки («Das Sojonische und Karagassische»). В заслугу К. Менгеса, автору статьи о тувинском и тофаларском языках, следует поставить его стремление описать тувинский и тофаларский языки в сопоставительном тюркологическом плане. Наряду с трудами М. А. Кастрена, В. В. Радлова и Н. Ф. Катанова автор использовал также новые труды и основные работы по тувинскому языку, а также учебники родного языка для тувинской средней школы и словари — русско-тувинский (1953) и тувинско-русский (1955). Тофаларские материалы ограничиваются примерами из работ Кастрена и Катанова.

К. Г. Менгес подробно описывает особенности тувинского вокализма с его тремя рядами гласных фонем: нормальной долготы, долгих и полудолгих (или фарингализованных). Различение чистых и фарингализованных гласных фонем автор считает своеобразным отголоском пратюркских долгот и обращает внимание на обратное отношение: вместо первичного соотношения *āt* «имя»: *at* «лошадь» в тувинском представлено соотношение *at*: *a't*; вместо первичного *ōt* «огонь»: *ot* «травя» — тувинские *ot*: *o't* (стр. 647). Описываются также другие факты тувинской фонетики и морфологии: противопоставление сильных, придыхательных, и слабых, непридыхательных, согласных; большое число стяженных форм в разных частях речи; наличие двух направительных падежей; форма условного наклонения, имеющая в своем составе два условных аффикса — внутренних и внешних (*bar-zi-m-za* «если пойду», «если бы пошел я»), и многие другие.

Работа К. Г. Менгеса вызывает ряд замечаний как лингвистического, так и историко-этнографического характера. Так, например, диалектальная условная форма тирпа-*са-м*, *-са-н* признается за общераспространенную, а более распространенная в народных говорах форма на-*сы-м-за*, *сы-н-за* и т. д. приписывается только письменному языку (стр. 664) на том лишь основании, что она не зарегистрирована у В. В. Радлова и Н. Ф. Катанова. Как явствует из названия очерка, этническая номенклатура в нем устарела.

В свете имеющихся данных нельзя признать верным объяснение происхождения коренного населения большинства районов Тувы при помощи традиционной теории о самодийской основе в этногенезе тувинцев, которой придерживается автор. Как изве-

стно, по демографической переписи 1931 г. коренное население Тувы составляет около 70 тыс. человек, автор же указывает цифру 58 тыс. Вопреки утверждениям К. Менгеса (стр. 641), основным занятием подавляющего большинства тувинского населения и до и после 30-х годов XX в. было животноводство, а «раскулачиванию» тувинцы не подвергались ни в 30-е годы, ни позднее; переход же к оседлости совершился не в 30-е годы, а в наши дни. Из числа других фактических неточностей укажем на неправильный перевод топонима *Taŋni-Tuva* (по-тувински *Taŋdy Tuya*) как «das Morgendliche (=östliche) Tuva»; на самом деле *taŋdy* является синонимом к слову «тайга». В очерке К. Менгеса не представлено ни одного примера из фольклора и из произведений тувинских писателей.

Якутский язык [«Das Jakutische (einschliesslich Dolganisch)»]. Краткий очерк И. Поппе дает самые общие сведения о якутском языке. Автора, написавшего в 1926 г. учебную грамматику этого языка, в очерке занимают главным образом вопросы исторической фонетики и морфологии. И. Поппе считает возможным включение якутского языка в одну группу вместе с тувинским (стр. 671). Однако это соображение в дальнейшем изложении не получает своего развития и обоснования.

Фонетике посвящена значительная часть очерка. Здесь нового мало, так как исторической фонетике якутского языка тюркологи и монголисты всегда уделяли много внимания, в том числе и сам автор очерка. Морфология якутского языка занимает всего три страницы. Поэтому автор касается лишь отличий якутского языка от других тюркских, прежде всего в склонении имен существительных: отсутствие родительного падежа, совмещение в дательном падеже также функции местного, превращение древнего местного падежа в частный, развитие совместного, творительного и сравнительного падежей (стр. 680—681). Расширение значений дательного падежа в якутском языке могло произойти и на тюркской почве²⁸ без влияния монгольского и эвенкийского языков. Превращению древнего местного в частный падеж (Partitiv), по мнению автора, могло способствовать влияние эвенкийского языка, в котором имеется аналогичная падежная форма (стр. 681)²⁹.

Нельзя согласиться с объяснением происхождения якутского совместного падежа (*-naan* для терминов родства и *-лыын*³⁰ для остальных имен существительных) из

²⁸ См. об этом например: Е. Д. Поппелъ и А. Н. Введение в изучение узбекского языка (пособие для самообучения), I, Ташкент, 1925, стр. 42.

²⁹ Ср. также: Е. И. Убрятова, Исследования по синтаксису якутского языка, I — Простое предложение, М.—Л., 1950, стр. 127—128, особенно стр. 130—132.

³⁰ См. Л. Н. Харитонов, Современный якутский язык, ч. I — Фонетика и морфология, Якутск, 1947, стр. 119.

аффикса *-li* и форманта древнего творительного падежа *-n/-*in*. Эту надежную форму проще объяснить заимствованием из эвенкийского языка (эвенкийск. *-нун* якут. *-лынн*, эвенкийск. послелог *нан* якут. *-наан*)³¹.

Остальные части речи представлены в очерке очень бедно. Выделены лишь те формы, о происхождении которых автор имеет собственные предположения. Однако с большинством его гипотез трудно согласиться, в частности с объяснением усиленной формы повелительного наклонения (стр. 682), фактически восходящей к повелительному наклонению \neq усилительный аффикс *-y* (*-iy*), или с объяснением сложного показателя *-iaxin*, где элемент *iax* возводится к **-yaq* (там же), тогда как и семантически и фонетически его легче объяснить тюрк. *-abaq* \sim *-ajaq*. Характеристика лексики заключена в одном абзаце, в котором повторены общезвестные выводы В. В. Радлова о процентном составе ее. В целом очерк Н. Н. Поппе страдает непропорциональностью частей, причем некоторые важные стороны якутского языка (например, синтаксис) либо представлены неполно, либо совсем не нашли отражения.

Гуннский, дунайско-булгарский и волжско-булгарский («Das Hunnische, Donaubulgarische und Wolgabulgarische (Sprachreste)»). Статья И. Бенцинга представляет собой систематическое изложение имеющихся сведений о языке гуннов и древних булгар. Автор справедливо указывает, что гунны разнородны по своему этническому составу и языку — здесь обнаруживаются и тюркский, и монгольский, и даже палеоазиатский элементы (по мнению Л. Лигети); гунны Атtilы и Сюн-ну китайских источников — не одно и то же в этническом, культурном и языковом отношениях. Памятники дунайских булгар (список булгарских князей, надписи так называемого глада Атtilы и надпись из Преслау) позволяют сближать их с европейскими гуннами, язык же их определить трудно. Памятники волжских булгар содержат вполне ясный тюркский материал, наиболее близкий из современных к чувашскому. Автор, широко используя европейскую литературу о гуннах и булгарах, к сожалению, оставил без внимания важные труды о языке и культуре волжских булгар, принадлежащие Н. Ф. Катанову, С. Е. Малову, И. Ахмерову, Ш. Марджани, К. Насыри, Х. Фейзаханову и др.

Чувашский язык («Das Tschuwaschische»). Статья И. Бенцинга о чувашском языке является сжатым изложением основных вопросов фонетики и морфологии чувашского языка в сравнительно-историческом плане. Совершенно не затронутыми остались вопросы синтаксиса; разделы фонетики и морфологии нуждаются в ряде дополнений и уточнений. Автор резонно говорит о том, что общетюркский **a* первого слога на чувашской почве дал *o/u*, однако утвержде-

ние о том, что вначале этот звук переходил в *o* и лишь потом — в *u* (стр. 705) представляется недоказуемым из-за отсутствия убедительных фактов. В рассуждениях И. Бенцинга о судьбе древнего *a* первого слога привлекательна мысль о том, что в некоторых сложных словах (*kä-sal* «шмиче», *šuršan* «сказочное существо» и др.) сохранился этот древний звук (*sal* «год», **šan* «человек»). Трудно принять точку зрения И. Бенцинга на историю звукового перехода *a > y*. Многие исследователи чувашского языка (например, проф. В. Г. Егоров) полагают, что этот переход произошел к V—VII вв. и связывают при этом на древнебулгарские заимствования в венгерском. И. Бенцинг считает, что переход не мог произойти раньше XI—XII вв., а тюркские заимствования в венгерском имеют другой источник. Приведенные в обоснование этого взгляда двух чувашских слов (*hysna* «казна» и *Hyrla* название реки Карла) явно недостаточны.

Работами чувашских исследователей выявлена система склонения из восьми падежей; в числе их лишительный падеж на *-šar /-ser*, который И. Бенцинг не считает надежной формой. В то же время он включает в систему склонения формант *-alla/-elle* (например, *värman* + *alla* «по направлению к лесу»), хотя область его применения не охватывает многих именных категорий, в частности этот формант не присоединяется к форме числа.

Одним из интересных явлений чувашского языка следует считать аффикс мн. числа имен *-sem* (верхов. *-sam/-sem*), неизвестный в остальных языках. По этимологии этого аффикса высказывались самые различные точки зрения. И. Бенцинг возводит его к слову *sum* \neq **sām* «количество», «число» (стр. 722). Н. И. Ашмарин склонялся к тому, что аффикс мн. числа имен произошел из слова с палатальными гласными (из *sem* или *sen*)³², что, пожалуй, более вероятно, так как в низовом диалекте чувашского языка зафиксирован лишь палатальный вариант этого аффикса, тогда как большинство остальных форм в этом диалекте употребляется в палатальной и велярной огласовке. С другой стороны, внешняя пестрота падежных форм в верховом диалекте в действительности говорит о существовании когда-то и в этом диалекте палатальной огласовки *-sem/-sen*. Отметим, например, не подчиняющуюся гармонии гласных форму *-sen* при велярных основах в притяжательном, дательном-винительном, местном и исходном падежах в большинстве говоров верхового диалекта. Кроме того, в некоторых верховых говорах в тех же падежах выступает форма *-sai*, в которой *-i* является наследием огласовки *-sen*.

Изложенные замечания по отдельным статьям рецензируемого сборника можно дополнить общим указанием на то, что,

³¹ См. Г. М. Василевич, Очерк грамматики эвенкийского (тунгусского) языка, Л., 1940, стр. 39.

³² Н. И. Ашмарин, Материалы для исследования чувашского языка, Казань, 1898, стр. 150—151.

стремясь ограничиться чисто описательной задачей, без обращения к истории, составители тома подготовили описание, которое подчас соответствует скорее старому, чем современному состоянию того или иного тюркского языка. Но это уже связано с научным направлением зарубежной тюркологии, имеющей известные отличия от тюркологии советской. Во всяком случае можно с полным основанием сказать, что рецензируемая книга хорошо отражает

уровень тюркологических исследований, достигнутый за рубежом, но нуждается в серьезных дополнениях, касающихся тюркского языкознания в СССР.

Можно не сомневаться в том, что первый том «*Philologiae turcicae fundamenta*» станет полезным пособием для тюркологов, которые с большим интересом будут ожидать появления следующих томов этого важного труда.

W. K. Matthews. *Russian historical grammar*. — University of London, the Athlone press, 1960. XIV + 362 стр.

Историческая грамматика русского языка профессора русского языка и литературы в Лондонском университете В. К. Метьюса, вышедшая в свет уже после смерти ее автора, несомненно, представляет собой заметное явление в зарубежной лингвистике. Книга содержит сжатый очерк развития лингвистических идей, сжатое, но систематическое изложение развития звуковой, морфологической и синтаксической системы русского языка, а также его словаря и стиля с древнейших времен и до наших дней. В приложении даны хронологически расположенные образцы русских текстов от записи Остромирова евангелия до отрывка из «Ясного берега» Веры Павловой, сжатый очерк истории разработки исторической грамматики русского языка и аннотированная библиография. Книга предназначена в первую очередь для студентов, изучающих историю русского языка. Содержание книги шире ее заглавия.

Обращаясь специально к историческому изучению языка, автор говорит о необходимости строгого разграничения факта и фикции, засвидетельствованного и реконструируемого, и о допустимости в то же время предположений, проецирующих наше знание в доисторию (стр. 11). Индоевропейский праязык должен пониматься не как некоторый язык, но скорее как ряд форм со звездочкой, суммирующих и символизирующих отношения между сохранившимися языками. Далее автор дает сжатые сведения об общиндоевропейском (стр. 13—34) и общеславянском (стр. 34—52) языках, их фонетике, словообразовании, морфологии, синтаксисе, словаре. Дается группировка славянских языков и затронут (но очень бегло) вопрос о балто-славянском праязыке. Приводятся краткие сведения об исторической почве, на которой сложился русский язык.

Затем идут разделы, посвященные письму, орфографии и их истории (начиная с проблемы происхождения славянского письма и установления соответствий между глаголицей и кириллицей и кончая реформой 1917 г.), источникам (т. е. хронологическому обзору памятников). Завершается первая часть характеристикой древнерусского языка эпохи древнейших памятников, т. е. XI в.

Звуковая и морфологическая система общиндоевропейского языка изложена сжато и вместе с тем достаточно ясно. В этом разделе автор, являющийся специалистом

именно по русскому языку, особенной оригинальности не проявляет. Следует, пожалуй, лишь отметить, что Метьюс принимает и три ряда заднебных согласных (многие исследователи ограничиваются двумя), и глухие придыхательные (а не только звонкие; многие современные исследователи не считают глухие придыхательные согласные принадлежащими общиндоевропейской системе). В систему также включена ларингальная *h* и неопределенная индоевропейская гласная (*schwa indogermanicum*) *a*, причем поставлен вопрос о двух вариантах этой гласной — *schwa primum* и *schwa secundum*. В систему включены и «аллофоны». К ним отнесены, впрочем, в таблице согласных (в таблице гласных их вообще нет) лишь **z* (по-видимому, как аллофон **s*), **h* и **h* (как аллофоны **n*). Несомненно, первоначально «аллофоном» должно было быть и **a*, поскольку оно возникло в результате редукции некоторых гласных в безударном положении, но для позднего периода развития общиндоевропейского языка, который здесь имеется в виду, оно уже не было связано с позицией.

Не ограничиваясь поздним периодом общиндоевропейского языка, автор стремится восстановить и протоиндоевропейскую систему более раннего периода (стр. 20, примеч. 1), следуя Э. Х. Стертеванту, А. Хану и У. Ф. Леману.

Останавливаясь на различии в употреблении звуков в конечной и не конечной позиции, автор специально обращает внимание на общеславянский язык, утративший все конечные согласные, являвшиеся в то же время окончаниями индоевропейских форм (стр. 21—22). Едва ли не большие последствия имели изменения гласных конечных слогов до утраты конечных согласных, о чем почему-то здесь ничего не сказано. Говоря о развитии акцентных отношений, автор с полным основанием указывает на наличие в общиндоевропейском языке двух типов — «хроматического (тонового) акцента» и динамического ударения — при преобладании каждого из них в различные эпохи. Однако не сказано, как распределяются они во времени (а в этом отношении, как известно, существуют различные точки зрения), не показана вся сложность проблемы «преобладания» типа при таких трудно, хотя все же и соизмеримых величинах, как отношения по высоте основного тона и отношения по силе. Боль-

шое значение при разграничении типов имеют фонологические отношения, которые здесь совсем не затронуты. Говоря о сохранении, хотя и в измененном виде, «хроматического акцента» (музыкального ударения) в некоторых позднейших языках, в том числе и современных, автор не учитывает того, что по крайней мере в части случаев речь идет о вновь сложившихся отношениях, лишь в какой-то мере напоминающих древние. В первую очередь это относится к сербскохорватскому языку.

При рассмотрении фонологической системы общеславянского языка автор в удобной форме дает схемы отношений общиндоевропейских и общеславянских гласных (стр. 35) и согласных (стр. 37). Встает вопрос о правомерности включения в эту систему носовых гласных *ǫ* и *ǫ̃*, образование которых относится, по-видимому, к сравнительно позднему времени, наличие же их позиционно обусловлено и находится в позиционном чередовании с сочетаниями гласных с носовыми согласными в том случае, если члены этого сочетания распределяются между различными слогами. Рассматривая систему общеславянского консонантизма, автор высказывает предположение, что так называемые II и III палатализации осуществились одновременно (стр. 39). Действительно, как предположение, что вторая предшествовала третьей, так и предположение, что третья предшествовала второй, наталкиваются на определенные противоречия. В целом недостаточное внимание уделено относительно-хронологической оценке рассматриваемых явлений.

В слишком общем виде говорится об установлении открытых слогов (стр. 41). Между тем структура слога, столь характерная для общеславянского языка, а также и для отдельных славянских языков в их древнейшем состоянии, вырабатывалась постепенно, тенденция к открытости слога усиливалась в результате различных частных и неодновременных изменений, и было бы заблуждением предполагать, что обязательная открытость слога установилась как-то сразу.

В вопросе об образовании первоначального русского государства с центром в Киеве автор придерживается традиционной норманской теории. Но несмотря на то, что эта теория неоднократно оспаривалась отдельными русскими, а затем советскими исследователями, скандинавское происхождение имен древнейших русских князей, а также тех названий днепровских порогов у Константина Багрянородного, которые он приводит как «русские», несомненно. Существенно, что скандинавский элемент на Руси очень быстро растворился в славянском, не оставив в дальнейшем сколько-нибудь заметных следов.

К сожалению, перечисляя древние восточнославянские племена и указывая на важнейшие городские центры, автор совершенно оставляет в стороне именно те вопросы, которые представляют интерес в лингвистическом отношении; он ничего не говорит о племенных диалектах и их

возможной группировке, об отношении племенных диалектов к диалектам позднейших областей феодального периода. Между тем в этом отношении и раньше высказывались интересные, хотя и спорные соображения (ср., например, шахматовскую теорию образования современных восточнославянских языков и их диалектов), а в настоящее время намечаются пути решения проблемы на основе диалектных материалов, собранных и систематизированных в процессе работы над диалектологическими атласами народных русских говоров. Лишь очень сжато говорит автор об образовании современных восточнославянских языков — русского, областью выработки характерных черт которого явилась Москва (собственно «Московия») как средоточие Великороссии, украинского и белорусского. В связи с этим он возражает против привлечения смоленских и полоцких памятников XIII в., а также остальной литературы, непосредственно связанной с Киевом, Черниговом и Галичем (имеется в виду Галич на Украине), в качестве материала для истории русского языка, поскольку они скорее характеризуют ранние этапы развития соответственно белорусского и украинского языков (стр. 66). Впрочем с этим вряд ли можно целиком согласиться, поскольку древнерусский язык, характерный (лишь с некоторыми видоизменениями) и для севера, и для запада, и для юго-запада, явился источником всех трех современных восточнославянских языков.

Раздел, посвященный письму и орфографии, содержит возражения против теории самобытного происхождения письма, используемого восточными славянами, а также очень раннего его существования (чуть ли не во времена антов). Автор с полным основанием обращается к традиционному изложению проблемы письма, использовавшегося в древней Руси. Разбирая различные мнения по поводу происхождения кириллицы и глаголицы и их использования в древней Руси, автор приходит к выводу, который вряд ли может оспариваться и большинством ученых теперь принимается, о большей древности глаголицы сравнительно с кириллицей и о знакомстве древних русских книжников как с той, так и с другой, хотя обычно они пользовались кириллицей. Укажем лишь на две неточности в отношении рукописей толковых пророков Уныря Лихого, привлекаемой в качестве одного из доказательств знакомства русских писцов и с глаголицей (стр. 73—74). Во-первых, этот памятник, в подлиннике до нас, как известно, не дошедший, квалифицируется как текст двенадцати малых пророков. Во-вторых, говорится, что текст сохранился лишь в рукописях XVI в. «Книгами двенадцати малых пророков» эту рукопись иногда называют (так ее назвал Н. Л. Туницкий, предпринявший издание ее и выпустивший в свет первый выпуск). Но в действительности она содержит не двенадцать, а шестнадцать пророков, так как включает также и четырех так называемых великих пророков,

только текст последних в отличие от современного канонического текста Библии, идет после текста малых пророков. Самая запись попа Упыря Лихого, сохранившаяся в части позднейших списков, помещена после текста пророка Даниила, т. е. одного из великих пророков. Затем некоторые списки этого памятника относятся не к XV, а к XVI в., один из них датируется 1489 г. Кроме того, в большей части тот же текст, что у Упыря Лихого, содержится в тексте пророков (только выброшена большая часть толкований) в составе Геннадиевской Библии 1499 г. И даже запись Упыря Лихого там сохранена в конце книги пророка Даниила, хотя порядок следования пророков изменен (малые следуют за великими и, следовательно, запись Упыря Лихого находится не в конце, а в середине текста пророков). Сама же Геннадиевская Библия в этой части списана не прямо с памятника XI в., а с какого-то из текстов, близких по времени. Это опять-таки указывает на XV, а не на XVI в.

Следующий за рассмотренным разделом обзор памятников, рукописных и (начиная с XVI в.) печатных, особых замечаний не требует. Поскольку автор не ставит своей задачей дать полный перечень сохранившихся рукописей и старопечатных книг, может идти речь лишь о том, в какой мере удачно произведен отбор. Можно пожалеть, что для XV в. из памятников церковно-религиозной литературы указаны лишь оригинальные, а не упомянуты такие переводные памятники, которые представляют частью новое редактирование уже известных, частью содержат новые переводы — в первую очередь таким памятником является Геннадиевская Библия. Для XV в. и главным образом для последующих веков желательно было бы в большем объеме указать памятники переводной литературы «научного» характера, тем более что некоторые из этих памятников на славянской почве известны исключительно или почти исключительно в русских списках (различные лечебники или травники, разные списки Космографии Козьмы Индикоплова, сохранившиеся от XV—XVII вв. в количестве нескольких десятков в разных редакциях, и т. п.).

Наибольший интерес в первой части книги представляет завершающий эту часть раздел, посвященный характеристике древнерусского языка древнейшей эпохи (по-видимому, имеется в виду эпоха, непосредственно предшествующая дошедшим до нас памятникам, а также эпоха древнейших памятников, т. е. XI и отчасти XII в.). Большая заслуга автора в том, что он ограничивается представить этот язык как «организованный комплекс фонологии, морфологии, синтаксиса, словаря и стиля» (стр. 94).

Для раздела «Фонология» (который в целом лучше было бы озаглавить «Фонетика») также как несомненную заслугу автора следует отметить его стремление определить фонемные отношения древнерусских звуков, гласных и согласных, их позиционные возможности, качество отдельных звуков (фонем) с артикуляторной точки зре-

ния, а также звуковую структуру слога в целом (пользуясь терминологией автора, дистрибуцию фонем в слоге, см. стр. 97—98). В этом отношении высказано много интересных соображений. Но в то же время кое-что спорно, кое-что вызывает определенные возражения.

В области фонемных отношений прежде всего следует остановиться на отношениях и и ы. Метьюкс считает ы вариантом фонемы и уже для древнерусского языка, ссылаясь на позиционное изменение и в ы в памятнике XII в. (в каком?—П. Ж.). (*в ынабѣгобластѣхъ*). В литературе подобные примеры, и то редкие, отмечаются лишь начиная с XIII в. Вопрос может быть решен лишь с точки зрения относительной хронологии. Необходимыми предпосылками объединения и и ы в пределах одной фонемы являются падение редуцированных и утрата фонетических различий между так называемыми мягкими и полумягкими согласными.

Обращает на себя внимание тот факт, что в системе гласных древнерусского языка, приводимых в таблице на стр. 95, отсутствует ѣ (ѣ). В связи с этим встает вопрос, таблица каких элементов, звуков или фонем, здесь дана, если приводится ы, но не приводится ѣ. Видимо, автор предполагает, что ѣ в звуковом отношении не отличается от какого-то другого из приведенных здесь гласных. И действительно, далее автор на основании имеющихся в памятниках колебаний в написании между е и ѣ высказывает мысль об общем произношении в древнерусском языке для этих двух некогда различавшихся фонем (стр. 95—96).

Можно ли согласиться с той артикуляционной характеристикой, которую автор дает гласным древнерусского языка? В таблице гласные распределяются по трем рядам — переднему, среднему и заднему. В передний ряд помещены и, ѣ, е, в средний ѣ, а, в задний ы, у, о. Для древнерусского языка сколько-нибудь определенно может быть установлено лишь различие переднего и не переднего или заднего ряда (последний включает в себя и собственно задний и средний ряд). Для древнерусского (как и для старославянского) ѣ нет никаких оснований, которые позволили бы его включить в средний, а не в задний ряд: в общеславянском языке он является наследником общендоевропейского (или общеславянобалтийского) и, т. е. гласного заднего ряда. В восточнославянской области, в случае проношения в сильной позиции, он дал о, т. е. опять-таки гласный заднего ряда. Правда, в части славянских языков он изменился в гласные среднего и даже переднего ряда. Есть ли основания для отнесения к заднему (а не среднему) ряду ы? В современном московском произношении ы является гласным среднего, а не заднего ряда.

Возвращаясь к вопросу о произношении ѣ(ѣ), необходимо отметить имеющееся в книге противоречие. Автор считает, что общее произношение для е и ѣ было представлено «полукрытым» е, в конечной же позиции специально для ѣ возможен

вариант *ж* (стр. 96), т. е. утверждается различное произношение *е* и *ѣ*¹.

Можно привести ряд древнерусских памятников, и древнейших и более поздних (во всяком случае XIV в.), где *е* и *ѣ* строго разграничивались, а если и смешивались, то лишь в некоторых вполне определенных условиях. Конечно, в любых памятниках можно отметить колебания в написании *е* и *ѣ* в словах и формах, заимствованных из старославянского языка. Еще Н. Н. Дурново обратил внимание на регулярное употребление некоторыми нашими древнейшими памятниками форм *тобѣ*, *собѣ* (дат., местн.) при колебаниях в тех же местоименных формах *тебѣ*, *себѣ* наряду с *тебе*, *себе*. Факты некоторых наших древних памятников, как и дальнейшая судьба *ѣ* по говорам, говорят о закрытом, а не открытом характере этого гласного в древнерусском языке. Что же касается колебаний между *ѣ*, *я*, *ь* и *а* (последнее возможно лишь после шипящих и *ц*) в написаниях известных форм на конце слова, то в данном случае речь идет лишь о русифицированной передаче старославянской формы с носовым *е* на конце, употребляющейся наряду с живой русской формой, оканчивающейся на *-ѣ*.

Сомнения вызывает предположение автора, что уже в древнейший период истории русского языка редуцированные *ѣ* и *ь* частью уже утратились, частью изменились в *о* и *е* (между тем в таблицу гласных *ѣ* и *ь* включены). Автор считает, что уже древнейшие памятники XI и XII вв. дают примеры как утраты, так и прояснения *ѣ* и *ь*. Между тем ряд памятников древнейшего периода свидетельствует о несомненном сохранении *ѣ* и *ь* как особых звуков (и особых фонем) не только в XI, но и в XII в. (можно предполагать, что кое-где они сохраняются даже в начале XIII в.). Случай же утраты и прояснения *ѣ* и *ь* в древнейших памятниках, если они не вызваны в некоторых случаях южнославянскими оригиналами наших памятников, все связаны с особыми и строго определенными условиями.

Очень сжато изложена древнерусская система согласных (стр. 96—97). В некоторых деталях она не вызывает возражений, хотя кое-что и является спорным (так, не может быть доказано наличие фрикативного звонкого задненебного согласного *у* в части восточнославянских наречий уже в эпоху, предшествующую дошедшим до нас памятникам, и даже в эпоху древнейших памятников, т. е. в XI в.). Вместе с тем некоторые вопросы изложены упрощенно, ср. изложение вопроса об отношениях твердых и мягких согласных, где ничего не говорится о времени объединения полумягких согласных и собственно мягких².

¹ См. также W. K. Matthews, The phonetic value of *Jai'* in Old Russian, «Slavistična revija», III, 3—4, 1950.

² См., например: Л. Л. Васильев, С каким звуком могла ассоциироваться буква «нейогированный юс малый» (*я*) в сознании писцов некоторых древнейших русских памятников?, РФВ, LXIX,

Непонятно, почему, рассматривая позиционную мягкость, автор говорит о фонемах.

Структура слога рассматривается исключительно с точки зрения различных видов последовательности гласных и согласных, причем как те, так и другие берутся недифференцированно (т. е. без разбиения на различные типы внутри этих двух основных классов звуков), в результате чего и получаются такие схематические изображения структуры слога, как V «а», VC «изъ», CV «до» и т. д. (стр. 98). Такие схемы структуры слога с целыми группами замыкающих слог согласных, как, например CCCVCC (*страсть*), VCCC (*остръ*), до падения редуцированных существовать не могли. В большей степени, чем разграничение гласных и согласных, для рассматриваемой эпохи существенно разграничение слоговых и неслоговых звуков, которое лишь частично совпадает с разграничением гласных и согласных. Совершенно не затронут такой вопрос, как отношения в слове по мягкости-твердости или передне-задней артикуляции.

Говоря об ударении, автор почему-то скептически относится к использованию диалектного материала. Совершенно не поставлен вопрос о возможном политонизме древнерусского ударения, а также об отношении его к ударению общеславянскому, основанному по существу на иных принципах.

Следовало бы обратить внимание на возможное несовпадение морфемного и слогового членения слова в древнерусском языке. В части «Морфофонология» в качестве примера двусложной морфемы (основы) приведена форма дат. падежа ед. числа *матери*. Но граница морфемы, представляющей основу, не совпадает с границей второго слога, она отходит к третьему слогу (морфемное деление *матер-и*, слоговое деление *ма-те-ри*), т. е. морфема распределяется между тремя слогами, хотя и не совпадает целиком с последовательностью трех слогов.

В разделе, посвященном морфологии, автор стремится выявить основные формально различающиеся категории древнерусского языка. В качестве примера можно указать на схему отношений, характеризующих систему формальных категорий глагола. В этой системе участвуют лишь простые формы, притом формы одного глагола, вследствие чего за пределами этой схемы остаются и видовые категории, и сложные (аналитические) формы, т. е. формы, представляющие собой не отдельные слова (или словоформы), а сочетания слов (или словоформ). Вся система глагольных форм подразделяется на три отдела (личные глаголы, формы с согласованием в роде, формы без согласования), каждый из которых в свою очередь под-

1 и 2, 1913; Н. Дурново, Очерк истории русского языка, [М., 1924], стр. 144 и сл.; Л. Э. Калнынь, Развитие корреляции твердых и мягких согласных фонем в славянских языках, М., 1961.

разделяется, частью многостепенно, по принципу двойной классификации. Аналитические формы рассматриваются отдельно. Дихотомический принцип проводится автором и при классификации типов глаголов по структуре их основы. Автор определяет обычные пять классов, но указывает при этом на возможность, положив в основу формы императива, получить два главных типа — твердый *ѣ*-тип и мягкий *и*-тип (стр. 125).

Автор стремится прежде всего дать морфологическую систему в синхронном плане, что заслуживает всяческого внимания и одобрения. Но именно с этой точки зрения вызывает возражения как количество устанавливаемых в книге основных типов именного склонения, так и принимаемые для этих типов названия (стр. 102 и сл.). Автор устанавливает традиционные шесть типов, определяемые по концу основы — *ā/jā, o/jo, u, i, ū* и различные согласные (*n, s, t, r*) основы. Однако даже для общеславянской (праславянской) системы тип с основой на *-j* по существу не отличается от основ на согласные (по своим падежным формам) и может быть определен по неслоговой ступени заканчивающего основу сонанта. Затем указанные концы основ перестали быть таковыми еще в ранний период развития общеславянского языка (в результате различных фонетических, а частью и морфологических процессов). Если ставить задачей чисто синхронное определение системы склонения в древнерусском языке, правильнее было бы пойти по тому пути, по которому пошел Н. С. Трубеткой в своей старославянской грамматике³.

Некоторых замечаний требует падежная система, устанавливаемая Метьюсом для древнерусского языка. Включая в систему падежей также и звательный как форму, обозначающую изоляцию слова от синтагмы, автор указывает на наличие максимальной парадигмы из семи падежей, добавляя, однако, что устанавливаемые теоретически различные падежные формы не всегда различаются в фонетическом отношении — т. е. некоторые из них между собою омонимичны (стр. 102). Но из сказанного неясно, может ли существовать для какого-нибудь числа какого бы то ни было склонения система из семи формально различных падежных форм, а если не может, то правомерно ли говорить о семипадежной системе. Видимо, единственная парадигма, где может быть предположена система семи различных форм, — это единственное число так называемого склонения с основой на *-ā*, но и то лишь в том случае, если будет доказано акцентное различие форм дательного и местного падежей, что частью лингвистов признается, а частью оспаривается⁴. Это различие отражается в сербском языке (ср. дат. падеж ед. чис-

ла *глави*, местн. падеж ед. числа *глави*), но встает вопрос, является ли оно аналогическим новообразованием на сербской почве или унаследовано от общеславянского языка и характерно было также для древнерусского. Так или иначе, но семипадежная система для древнерусского языка в целом несомненна, если, как это делает автор, различие двух разных падежей устанавливается для всех тех случаев, где два разных отношения склоняемого слова к остальной синтагме обозначены хотя бы для каких-то слов разными формами.

Некоторые категории определены недостаточно точно применительно к той эпохе, система которой дается. Прежде всего это относится к категории одушевленности (стр. 103, 105). С одной стороны, говорится о различии (падеж одушевленных) форм им. и вып. падежей (причем приводятся формы *конь — коня*). С другой стороны, говорится о неполном развитии этой категории. Нигде не сказано о том, что для древнерусского языка по существу в становлении находится еще категория лица, а не одушевленности и что лишь в дальнейшем развивается категория собственно одушевленности.

Недостаточно точно и четко изложен вопрос о виде глагола и формальных способах его выражения. Так, на стр. 125—126 говорится о чередовании корневого гласного *е/о* как возможном наиболее обычном формальном средстве разграничения видов (aspects), причем задний гласный рассматривается как обозначающий длительность или несовершенство. Здесь ярко выступает недостаточное понимание автором основных видовых различий, характерных для славянских языков и, в частности, для древнерусского, различий совершенности и несовершенности как различий собственно видовых (аспектных) и различий линейности — величественности движения как различий типа Aktionsart (или, по А. А. Потебне, различий степеней длительности). Эти различия представляют последовательные этапы в развитии славянской видовой системы, причем более древние различия категорий Aktionsart сохраняются, частью пережиточно, и включаются в новую дихотомическую систему собственно видовых противопоставлений. Такие формы, как *устьх-ну-ти*, рассматриваются как пример усиления приставочной формы суффиксом для дифференциации вида (в смысле aspect) (стр. 126), причем упускается из виду, что здесь речь идет о другом показателе, чем тот, который выступает у глаголов типа *тъкнути*.

В некоторых случаях не определены достаточно точно формы, характерные именно для древнерусского языка (и отличающие его, в частности, от старославянского). Окончания форм твор. падежа ед. числа склонения с основой на *-o* определены в таблице как *-омь, -емь* (см. стр. 104), а далее лишь указано, что эти окончания имеют варианты *-омь, -емь*, причем вариант *-емь* преобладает у существительных мужского рода и отражает влияние *и-*

³ См. N. S. Trubetzkoy, *Alt-kirchenslavische Grammatik*, Wien, 1954.

⁴ См. Л. А. Булаховский, *Грамматическая индукция в славянском склонении*, ВЯ, 1957, 3.

основ (стр. 105). Между тем именно эти «варианты» и являются характерным для древнерусского языка окончанием (см. совр. укр. *солом*, а не **селім*).

При рассмотрении сложных (местоименных) прилагательных не указано на позднейшее происхождение (под влиянием указательных местоимений) такой формы, как род. падеж ед. числа *нового*, в древнейших русских памятниках совершенно отсутствующей. На стр. 119 формы дат. и местн. падежей личного и возвратного местоимения *тобѣ*, *собѣ* приведены лишь как варианты к формам *тебѣ*, *себѣ*, но не сказано, что именно формы с *о* в основе являются собственно древнерусскими, что доказал еще Н. Н. Дурново⁵. Впрочем этого доказательства Метьюс, возможно, не приводит потому, что оно противоречило бы его взглядам на природу *ѣ* (см. выше).

В разделе, посвященном древнерусскому синтаксису, рассматриваются главным образом различные вопросы, связанные с простым предложением. Особо здесь следует, пожалуй, остановиться лишь на проблеме порядка слов, сложной и требующей большой осмотрительности в вынесении того или иного окончательного суждения о преобладании тех или иных видов словорасположения, что связано с общей неграмматикализованностью древнерусского (и вообще русского) порядка слов. Одно из типических расположений автор рассматривает на примере группы «существительное + определяющее его прилагательное», причем указывает на возможность постпозиции прилагательного под влиянием старославянского языка и на преобладание препозиции его в специально русских текстах (стр. 132, 136)⁶. В последнее время на основании исследования ряда древнерусских оригинальных памятников и фактов многих современных русских говоров был получен вывод о первоначальной (а кое-где сохранившейся и теперь) постпозиции прилагательного как нормальной и для живого языка⁷.

В очень сжатой форме даны сведения о словаре. Наибольшее внимание уделено рассмотрению заимствований из разных языков. Следует сказать, что структурные особенности, характеризующие заимствования, пришедшие различными путями, исследованы недостаточно.

В небольшом разделе, специально посвященном стилю, ставится проблема литературного языка древней Руси. Анализ особенностей различных стилей проведен в очень общем виде и поверхностно. Так, например, останавливаясь на библейском и «патристическом» стиле, характерном

для церковной литературы, на который сильное влияние оказал язык греческой (византийской) христианской литературы, автор приводит для сравнения отрывок из евангельского текста на греческом, английском и древнецерковнославянском (русском изводе) языке и показывает близость церковнославянского текста греческому, при некоторых все же различиях, но обращает при этом внимание лишь на некоторые частицы, идиомы, оставляя в стороне такую существенную черту, свидетельствующую о языковом своеобразии славянского перевода евангельского текста, как регулярную передачу (за исключением некоторых вполне определенных условий) греческого род. падежа принадлежности славянским притяжательным прилагательным, примеры чего имеются и в приводимом отрывке; ср.: τὰ ἔργα τοῦ θεοῦ — *дѣла божия*, εἰς τὴν κολυβίτηραν τοῦ Σιλωάμ — *въ кълелѣ силуамствѣ* (стр. 142—143).

Вторая часть книги открывается небольшим разделом, посвященным проблеме периодизации истории русского языка (стр. 148—152). Подразделение на три основных периода — древний, средний и новый, соответствующее подразделению на три основных периода европейской истории, восходящее еще к Я. Гримму, находит отражение в ряде работ последнего времени⁸. Автор показывает искусственность и произвольность такого хронологического подразделения с лингвистической точки зрения как для западноевропейских языков, так и для русского (стр. 149 и 150). И в этом он прав. Вместе с тем автор указывает на то, что в истории русского языка должна быть принята скорее дихотомия, чем трихотомия, подразделение на древнерусский язык и современный русский, причем основная линия раздела должна проходить между XVII и XVIII вв. До XVII в. включительно нормой литературного языка являлся, правда, русифицированный и по-разному представленный в памятниках различных жанров церковнославянский язык, начиная же с XVIII в. идет формирование русского литературного языка на живой национальной основе. Если же взять живые диалекты, картина может оказаться совсем другой. Даже XV в. в языковом отношении (по крайней мере для многих говоров) окажется ближе к современному состоянию, чем XI—XII вв. Автор как будто понимает различие между литературным языком и диалектами и иногда даже приписывает ему большие расхождения, чем есть основания предполагать, но сосредоточивает свое внимание на литературном языке. Так, он ограничивает для XI—XIII вв. привлекаемый материал чисто новгородским или «оноворожденным» киевским, исходя из указанного уже выше положения о том, что Новгород, Киев и Смоленск уже в раннее время являлись соответствен-

⁵ См. Н. Н. Дурново, указ. соч., стр. 257—258.

⁶ На этой точке зрения стоят многие исследователи. См., например, M. W i d n à s, La position de l'adjectif épithète en vieux russe, Helsingfors, 1952.

⁷ См. О. А. Лаптева, Расположение древнерусского одиночного атрибутивного прилагательного, сб. «Славянское языкознание», М., 1959.

⁸ Ср., например: W. J. Entwistle, W. A. Morison, Russian and the Slavonic languages, London, 1949.

но центрами русской (великорусской), украинской и белорусской культуры и, по-видимому, из допущения большего, чем это можно предполагать на основании памятников, диалектного различия между областями, тяготеющими ко всем этим центрам. В дальнейшем изложении исторического развития различных сторон языка автор отказывается от расположения изменений, происходящих в них, по некоторым основным периодам и располагает их хронологически по векам (в фонологии) или же в порядке определенных категорий (в морфологии, синтаксисе, словаре). Такое расположение не представляется особенно удобным, так как приводит к неизбежным повторениям и заставляет порой терять из виду общие линии развития структуры языка. Кроме того, одни и те же явления могут произойти в одной диалектной области раньше, в другой позже. Следует сказать, что материал, приводимый автором в разделе фонологии, не представляет собой расположенных по векам синхронных срезов звуковой или фонологической системы языка, но просто содержит фиксацию тех изменений, которые, по мнению автора, произошли в соответствующем веке.

Основным недостатком, представляющим собой в известной мере следствие такого расположения, является отсутствие стройного изложения развития звуковой системы языка в целом, с изменением и преобразованием фонемных отношений и с различными фонетическими изменениями более частного характера, но подчиняющимися некоторым общим принципам.

Что касается самого изложения рассматриваемых звуковых явлений, то автор преимущественно констатирует те или иные изменения, не стремясь проникнуть в самую механику их и не уделяя должного внимания взаимосвязи различных явлений. В этом отношении он ближе стоит к А. И. Соболевскому, чем к А. А. Шахматову, Л. Л. Васильеву и другим, позднейшим, лингвистам.

Некоторые существенные явления остаются вообще не рассмотренными, в особенности если они носят диалектный характер и не проникают в общерусский литературный язык. Это объясняется тем, что автор вообще ограничивается памятниками и почти не привлекает богатого современного диалектного материала для истолкования даже тех явлений, которые нашли себе место в книге. К таким явлениям относятся, например, цоканье.

Трактовка некоторых вопросов исторической фонетики вызывает замечания. Говоря об изменениях редуцированных, автор не делает никакого разграничения между тем вторым полногласием, которое отражается уже в древнейших памятниках и, возможно, первоначально являлось просто графическим приемом, и тем, которое отразилось в различных восточнославянских диалектах после падения редуцированных и обусловлено, как предполагает А. А. Шахматов, сильной позицией редуцированного.

Много замечаний вызывает трактовка явлений безударного вокализма и, в первую очередь, так называемого аканья. Прежде всего неточно самое определение аканья как *a*-артикуляции в безударном положении (см. стр. 164). Такая трактовка аканья может объясняться лишь тем, что автор опирается в описании явления исключительно на показания смещения безударных *a* и *o* в памятниках. Между тем гораздо существенней здесь показание диалектов. Привлечение этих данных показало бы, что *a* вместо *o* в безударном положении ограничено лишь определенными условиями и что в безударном положении как на месте *a*, так и на месте *o* (а если принять во внимание и положение гласных после мягких согласных, то и на месте некоторых других гласных) могут являться и другие гласные (именно различного рода редуцированные и др.). О такой возможности автор говорит, но лишь применительно к XIX в., когда рассматриваются орфоэпические нормы русского литературного языка (стр. 176—177). И именно привлечение диалектного материала позволило бы наметить последовательность развития и хронологию этого интересного и сложного явления. Говоря об установлении аканья как орфоэпической нормы литературного языка, автор пишет, что аканье было признано лишь академической грамматикой 1802 г. и что Ломоносов в публичных речах и при чтении вслух придерживался окающей нормы (стр. 174). Но Ломоносов, если и поддерживал оканье, то лишь в высоком штиле; он считал московский диалект (характеризовавшийся аканьем) «главным» (среди остальных русских диалектов), и именно ему принадлежат следующие слова: «Великая Москва в языке толь нежна, что *a* произносить за *o* велит она...».

Наконец, в связи с безударным вокализмом некоторых замечаний требует так называемое иканье. Можно думать, что в московское просторечье оно проникает раньше, чем в XIX в., как думает автор, но тоже не очень задолго до этого времени. Интересный материал в этом отношении дают очень неустойчивые в орфографическом отношении и ярко отражающие московское просторечье и подмосковную диалектную речь подписи под лубочными картинками XVIII и начала XIX в.: при всей неустойчивости и прямо «фонетичности» их орфографии иканье отражается в них лишь в начале XIX в., весь же XVIII в. свидетельствует о еканье⁹.

Не следует думать, что любое явление относится именно к тому времени, когда оно случайно зафиксировано в памятнике. Автор порой такую ошибку делает. Так, например, в разделе, посвященном XV в., приведено такое явление, как утрата конечного *a* после согласного. В качестве

⁹ См. З. М. Волоцкая, Некоторые явления безударного вокализма московского говора XVIII — начала XIX века, сб. «Исследования по лексикологии и грамматике русского языка», М., 1961.

примера дано *рекъ* вместо *реклъ* из Московской грамоты 1490 г. (стр. 166). Но утрада конечного *л* является одним из непосредственных последствий падения редуцированных. К тому же пример, приведенный здесь, не вполне удачен. Во-первых, форму *реклъ* с утраченным *л* трудно отграничить от старого *рекъ* (согласуемого действительного причастия прошедшего времени), во-вторых, самый глагол — книжный, вряд ли он был свойствен живому языку конца XV в. Правда, автор оговаривает, что факт лишь становится более распространенным в это время, а не появляется впервые. Точно так же *х* вместо *с* в формах местоимения *вься* рассматривается в разделе, посвященном XII в., на том основании, что форма *еху* вместо *вьсю* отмечена в духовной грамоте Варлаама Хутынского (стр. 158).

Между тем наличие *х*, трудно объяснимое какой-либо аналогией, конечно, восходит к далеким дописанным временам. Грамота же, из которой приведен пример, возможно, писана и не в конце XII в., а в начале XIII в. (хронологически она относится к отрезку времени от 1192 до 1230 г.). Помимо этого примера и примера из первой новгородской летописи, на который автор здесь же делает ссылку, в настоящее время может быть указан еще пример с *х* вместо *с* в одной из новгородских берестяных грамот¹⁰.

Необходимо указать еще на следующие неточности. При рассмотрении полногласия в качестве примера приводится форма род. падежа ед. числа *серебра* из Святославова изборника 1073 г. (см. стр. 154), восходящая к первоначальному *сьребра*. Употребление *и* вместо *ѣ* в духовной грамоте Ивана Калиты рассматривается как написание, отражающее фонетическое явление (стр. 162). Но вряд ли такое изменение можно ожидать в московском говоре XIV в. Несомненно, это явление морфологическое, так как *и* вместо *ѣ* представлено в форме *со всми*, где *и* могло явиться аналогически под влиянием *вси*.

Говоря об ударении, автор утверждает, что оно уже в XI—XII вв. в древнерусском языке по своему характеру было приблизительно то же, что в современном языке. Основание для этого, по его мнению, представляет раннее падение редуцированных (стр. 179). Но ведь редуцированные пали во всех славянских языках, причем слабые позиции их были определены одними и теми же условиями; между тем в части славянских языков ударение в эпоху падения носило существенно иной характер, чем в русском.

Некоторых замечаний требуют рассматриваемые автором морфологические изменения. Прежде всего, сюда попали некоторые явления, которые должны были бы быть отнесены к синтаксису или к фонетике. Так, на стр. 195 рассматривается

употребление им. падежа ед. числа вместо винительного у существительных на *-а* в сочетании с инфинитивом; имеется в виду конструкция типа *жена пустити*, широко известная многим современным северновеликорусским говорам. Но это явление, поскольку речь идет не вообще об отсутствии особой формы винительного падежа, а об употреблении именительного лишь в особом синтаксическом сочетании (с инфинитивом), следовало бы рассмотреть в разделе, посвященном синтаксису. Кстати сказать, здесь же автор (и с известным основанием) ссылается на наличие подобной конструкции в западиофинских языках, что и могло если не вызвать, то во всяком случае поддержать использование этой конструкции в наших северных говорах. Это тоже скорее говорит за отнесение явления к синтаксису, а не к морфологии. Иноязычные воздействия легче и шире осуществляются в синтаксисе, чем в морфологии.

При рассмотрении взаимодействия между твердой и мягкой разновидностью в склонении с основой на *-о* форму *народѣ* в сочетании *народѣ угнѣтють тя* из Новгородского евангелия 1362 г. автор рассматривает как результат обратного влияния мягкой разновидности на твердую (стр. 189). Но встает вопрос, не объясняется ли данный случай фонетическим колебанием между *ѣ* и *и*, обусловленным изменением *ѣ* в *и*, поскольку это новгородский памятник XIV в. Если же это явление морфологическое (а в памятнике нет смешения *ѣ* и *и*), то ведь здесь идет речь не только о влиянии мягкой разновидности на твердую, но и об употреблении винительного падежа вместо именительного, или формы, свойственной существительному женского рода, вместо формы, свойственной существительному мужского рода.

Некоторые вопросы изложены слишком сжато или без должной дифференциации фактов различного типа. Здесь отметим лишь, что при рассмотрении развития вида излишне сжато и без должной дифференциации рассмотрены древнерусские и позднейшие глагольные образования с суффиксом *-ива-/-ыва-* (стр. 209).

Рассмотрены вместе и приставочные и бесприставочные образования (ср. *кашиваль* и *не посылывали*). Не уделено внимания значению этих образований. Они названы, правда, фреквентативно-итеративными глаголами, но неясно, относится ли это название как к бесприставочным, так и к приставочным образованиям этого типа. Не рассмотрено временное значение этих образований и не обращено внимание на различные категории приставочных образований с этим суффиксом.

Вызывает возражения объяснение появления твердого *т* в окончании 3-го лица настоящего времени глаголов; автор считает, что в слепе *т* мягкого *т* твердым проявилось стремление избежать омофонии с формой инфинитива, утратившей свой конечный гласный, но сохранившей мягкость конечного согласного (см. стр. 204). Впрочем такое объяснение выдвигал еще П. Р. Черных. Но в таком слу-

¹⁰ См. В. И. Борковский, Фонетико-морфологические заметки о грамотах на бересте из раскопок 1953—1954 г., ВЯ, 1957, 4.

чае непоятно, почему тверде *m* в 3-м лице глаголов развилось лишь в северных говорах (в том числе и в московском, основа которого была северная), между тем как суффикс инфинитива *-ти*, отличный от окончания 3-го лица *-m'*, как раз дольше сохранялся на севере, а кое-где сохранился и до настоящего времени.

Почему-то в разделе, посвященном синтаксическим изменениям, рассматривается вопрос об утрате имперфекта и аориста (стр. 237). При этом не указано, что случаи конкурирующего употребления аориста и перфекта, свидетельствующие о падении аориста, в Лаврентьевской летописи относятся специально к поучению Владимира Мономаха, представляющему сильные отличия от окружающего текста.

Хронология явлений во многих случаях достаточно точно не определена. Так, на стр. 229 говорится о вытеснении конструкции с местным падежом без предлога для обозначения места и времени конструкциями с предлогами *въ, на* (примеры последних даны с XVI в.), но точные хронологические рамки этого вытеснения не определены. Пример предикативного творительного при давнопрошедшем времени приведен из I Новгородской летописи по списку XV в. (стр. 226—227), тогда как этот же пример представлен уже в Лаврентьевской летописи.

Сжато изложены лексические изменения, которым отведен особый раздел (стр. 245—264). Основное место занимают заимствованные слова (стр. 252—264). Автор касается и структуры их, но бегло. Между тем здесь есть много интересного, в особенности если рассмотреть некоторые случаи преобразования заимствованных слов или подравнивания вновь полученных под слова, уже давно бытующие в русском языке, но восходящие к тому же языковому источнику, к которому восходят в конечном счете вновь полученные. В этом отношении большой интерес представляют пришедшие в русский язык различными путями греческие заимствования.

Последний раздел второй части книги посвящен развитию стилей. Автор возражает против теории С. П. Обнорского. Здесь он вновь повторяет свою идею о том, что киевская литература XI в. не является областным источником древнерус-

ского языка, который развился из северного восточнославянского типа, используемого в Новгороде и Москве (стр. 267). Прослеживается стилистическое развитие памятников различных жанров вплоть до наших дней. Нужно сказать, что весь этот раздел изложен очень сжато, многие интересные вопросы совсем не затрагиваются. Составляя же памятники различных жанров в стилистическом отношении, автор почти не анализирует их, а ограничивается приведением примеров и их английских переводов.

Третью часть книги составляют приложения. Первое из них содержит образцы русских текстов от середины XI в. до середины XX в. включительно. На каждый век приведено два образца, относящихся к различным частям века (к началу и концу, началу и середине и т. п.). Оценивая выбор автора, следует пожалеть, что для одного и того же времени не использованы произведения различных жанров. Второе приложение представляет собой сжатый очерк истории разработки исторической грамматики русского языка. Здесь следует заметить, что различные ранние труды лингвистического характера (в основном до XVIII в.) в целом представляют собой лишь источники, откуда мы черпаем сведения по истории русского языка, но не труды, сами по себе посвященные исторической грамматике.

Подводя итог, следует сказать, что хотя рассматриваемая книга представляет собой наиболее полный из вышедших в последнее время за рубежом опыт всестороннего систематического рассмотрения исторического развития русского языка и хотя в ней имеется много интересного и существенного (тем более, что она охватывает и звуковую сторону языка, между тем как и в нашей литературе последнего времени нет труда, который бы полно и на уровне современной науки освещал ее историческое развитие), в целом она построена неравномерно, многие интересные проблемы почти или совсем не затронуты, многие же положения, и именно в тех частях, которые посвящены истории звуковой системы и морфологического строя языка, вызывают серьезные возражения.

П. С. Кузнецов

VI. Georgiev. La toponymie ancienne de la péninsule balkanique et la thèse méditerranéenne. — Sofia, 1961. 61 стр. («Académie Bulgare des sciences. Linguistique balkanique», III, 1)

Новая работа акад. В. И. Георгиева является дальнейшим развитием его общих положений об образовании индоевропейских диалектных групп и о реконструкции языковых черт тех групп, от которых либо вообще не осталось никаких письменных свидетельств, либо имеются лишь собственные имена и единичные нарицательные слова¹. В данной работе автор, как и в

ряде других недавних работ, пытается дать новое обоснование этих общих положений при помощи топонимического (отчасти этнонимического) материала².

нию» (М., 1958), которая озаглавлена «Открытие пеласского языка как пример нового применения сравнительно-исторического метода» (стр. 87—103).

² Ср.: *VI. Georgiev, Die altgriechischen Flußnamen, Sofia, 1958; e o ж e, Българска етимология и ономастика, София, 1960; см. также ряд статей в «Beiträge zur Namenforschung» (1957 и сл.).*

¹ Ср. часть III главы третьей в книге В. И. Георгиева «Исследования по сравнительно-историческому языкозна-

Брошюра состоит из двух глав. В первой главе (стр. 5—34) приводится обширный фактический материал, группированный по семи реконструируемым доисторическим ареалам Балканского полуострова и прилегающих к нему областей: дако-мизийскому, фракийскому, пеласгическому, протогреческому, македонскому, протофригийскому и иллирийскому. Дарданцы относятся автором к дако-мизийской группе, пеоны — к протофригийской, а не к фракийской, как обычно у филологов-классиков³.

Хотя возведение В. И. Георгиевым отдельных топонимов и этнонимов к той или иной доисторической языковой группе и общепанноэвропейские этимологии этих названий (обычно без учета ларингальной теории) во многих случаях являются по меньшей мере дискуссионными, тем не менее в целом эта глава представляет большую научную ценность. Она подкрепляет новыми данными реконструкцию фонетических черт перечисленных выше языковых (*resp.* диалектных) групп, изложенную болгарским ученым уже раньше в заключительной главе книги «Тракийский язык» (София, 1957)⁴.

Иное отношение вызывает к себе вторая глава «Древняя этническая ситуация на Балканском полуострове и средиземноморский тезис» (стр. 35—54). В ней В. И. Георгиев повторяет, уточняет и детализирует свои общие гипотезы, высказанные им уже в ряде работ, начиная с 1954 г.⁵ В качестве аргументов используются факты, приводимые автором в первой главе. Некоторые из этих повторяемых в данной работе положений представляются нам совершенно неправильными и не обоснованными ни материалом, приводимым самим В. И. Георгиевым, ни каким-либо другим фактическим материалом. Вместе с тем полемика с этими неприемлемыми положениями и выводами оказывается очень трудной. Первая трудность заключается в том, что во всех своих последних трудах В. И. Георгиев защищает три основных тезиса, которые, по нашему убеждению, не только являются неоспоримыми, но и должны рассматриваться как предпосылки даль-

нейшего развития «индоевропейской проблемы» по правильному пути. Эти три тезиса сводятся к следующему:

1. «Панмедитерранистические» концепции, основанные на допущении е д и н о г о доиндоевропейского («средиземноморского») языкового субстрата от Иберийского полуострова до Кавказа и от Сицилии и Крита до Альп и Карпат (и даже севернее их), являются пустыми фантазиями и только вредят развитию индоевропеистики.

2. На Балканском полуострове (включая Пелопоннес на юге его и до Савы и Дуная на севере) до появления греков (т. е. в III тысячелетии до н. э.) и позже одновременно с ними (начиная с рубежа III и II тысячелетий до н. э.) существовал (кроме фракийского и иллирийского) ряд других индоевропейских (негреческих) языков и диалектов, заимствованиями из которых полны греческий язык и его ономастика; трактовка этих нарицательных и собственных имен как заимствований из каких-то н е и н д о е в р о п е й с к и х языков, якобы господствовавших на всем Балканском полуострове и в восточном Средиземноморье до появления там греков, фракийцев, иллирийцев и фригийцев, является в подавляющем большинстве случаев неверной и тоже тормозит развитие индоевропеистики⁶.

3. Теория изначального деления индоевропейских диалектов на группы «kentom» и «satəm» не имеет под собой никаких оснований.

С этими тремя неоспоримыми и исключительно важными положениями в последних работах В. И. Георгиева (1954—1961 гг.) переплетается ряд других положений и выводов, частью очень спорных, частью, по нашему мнению, глубоко неверных и опасных для дальнейшего развития науки. Возражать против этих спорных или явно неверных положений приходится с максимальной осторожностью, следя за тем, чтобы полемика с ними не могла бы быть воспринята как постановка под сомнение трех формулированных выше главных тезисов.

Вторая трудность полемики с В. И. Георгиевым заключается в том, что он, с одной стороны, прекрасно осведомлен в новейшей литературе по южноевропейскому неолиту, энеолиту и бронзе и нередко ссылается на археологические работы, как бы стремясь согласовать выводы двух наук, а с другой стороны, он по с у щ е с т в у игнорирует выводы археологии, не заботясь о том, насколько исторически правдоподобны его лингвистические гипотезы. Памятники материальной культуры сами по себе немые и ничего не могут сказать нам о языке их создателей, но только на фоне развития общества в донс-

³ Ср., например: U. von Wi am o l w i t z - M o e l l e n d o r f f, Der Glaube der Hellenen, I, Berlin, 1931 (см. главу «Die Wanderungen der hellenischen Stämme»).

⁴ Эта глава перепечатана в русском переводе в упомянутой книге «Исследования по сравнительно-историческому языковедению» (стр. 112—145). В рецензируемой работе наибольший интерес представляют характеристика основных фонетических черт македонского языка (стр. 24—30), только намеченная в книге о фракийском языке (1957 г.).

⁵ Мы указываем на работы 1954—1961 гг., потому что в них В. И. Георгиев уже отказался от ряда гипотез, развивавшихся им (в разных вариантах) в работах 1938—1953 гг. Критика этих гипотез, не защищаемых уже самим автором, сейчас потеряла всякий смысл.

⁶ К сожалению, этой устаревшей точки зрения придерживаются еще многие видные лингвисты, например, Г. Краэ в книгах: «Die Indogermanisierung Griechenlands und Italiens», Heidelberg, 1949; е г о ж е, Sprache und Vorzeit, Heidelberg, 1954 гл. 18 (стр. 143—160): «Das Griechische und die Aegaeis».

торические эпохи, воссоздаваемого нами по данным археологии, можно правильно оценивать те или иные лингвистические выводы⁷. Как раз этого в работах В. И. Георгиева, к сожалению, нет.

Начнем в качестве примера с первого параграфа 2-й главы, озаглавленного «Хронологические вопросы» (стр. 35—37). Основное в хронологии трактуемого автором комплекса исторических проблем — это установление этапов смены пеласгического языка и этноса греческим языком и этносом в разных частях континентальной Греции. В. И. Георгиев прав, считая, что здесь можно уже переходить от относительной хронологии к абсолютной. Первая остается чисто лингвистической проблемой, и в ней тоже не все еще ясно со стратиграфией древнегреческих диалектных групп, о которой спорят более 50 лет⁸. Вторая (для допсьемных периодов) может быть выведена только из сопоставления лингвистических данных с археологическими. Здесь тоже еще много неясного, но все-таки мы и здесь начинаем выходить из тумана. Сейчас является уже общепризнанным, что в ряде областей континентальной Греции⁹ греческим племенам, мигрировавшим, возможно, из разных областей за пределами Греции, полностью принадлежит вся «среднеэлладская» эпоха (СЭ, примерно 1900—1550 до н. э.), соответствующая «среднеминойскому» периоду на Крите и более или менее синхронная так называемым баденской, бодрогкерестурской и гумельницкой культурам в дунайских областях. Более того, начало проникновения греков в Эпир и Фессалию и даже в северо-восточную часть Аттики (районы Оропа, Псофиды, Рамнуята) некоторые ученые начинают относить еще к концу «раннеэлладской» эпохи (РЭ III, ок. 2050—1900 до н. э.). Может быть, с этим проникновением первых греков («ксифидов», по мифам) в пеласгическую Аттику следует связывать построение первой оборонительной стены в Афинах, относящейся к РЭ III. Геродот (I, 57; II, 51 и др.), некоторые логографы и ряд более поздних авторов с исключительной настойчивостью подчеркивают, что население Аттики — это пеласги и что ни-

каких массовых переселений не было. Но откуда эти пеласги должны были получить греческий язык? По-видимому, проникновение греков туда было в общем мирным¹⁰. Однако, может быть, окончательная эллинизация Афин относится только к XII в. до н. э., когда в Аттику хлынули потоки ахейско-ионийских беженцев из Пелопоннеса¹¹, спасшихся от дорийского разгрома (от Гераклидов — по генеалогическим легендам афинских родов), и пеласгическая династия Кекропа — Тезея сменилась мессенской династией Меланфа — Кодра¹².

Из этих фактов следует, что еще в конце III тысячелетия до н. э. должны были полностью завершиться объединение и территориальный отрыв «протогреческих» диалектов от «юго-восточной» общности индоевропейских диалектов, т. е. от той диалектной общности, из которой вышли греческий, армянский и индоиранские языки и которую лингвисты конца XIX и начала XX в. и принимали за «индоевропейский праязык», относя в него никогда не существовавшие в нем грамматические категории, формы и парадигмы¹³.

Единство обособившихся от «юго-восточной» зоны «протогреческих» диалектов, в рамках которого выработались языковые черты, общие им всем и отличающие их от индоиранских и армянского (а также фригийского) языков, надо локализовать где-то довольно далеко от Греции. Как правильно отмечал Г. Краз, эта локализация (vorägäische Heimat des Griechischen) остается до сих пор *suih'om* индоевропеистики¹⁴. Принятие гипотезы о «юго-

¹⁰ Ср. миф о прибытии изгнанного из Фессалии Кеуфа и женитьбе его на дочери пеласга Эреффея. (Пс.-Аполлодор, I, 7, 3).

¹¹ Мы имеем в виду ионийцев из Кипурии и додорийской Мегариды, может быть также из Трезены [которая, правда, уже в «каталоге кораблей» подчинена Аргосу (см. Ил. II, 561), что не исключает ионийского характера основной массы покоренного ахейцами населения].

¹² Ср. T. Webster, *From Mysene to Homer*, London, 1959.

¹³ Как указывается в ряде других наших работ, эта «юго-восточная» общность (точнее — «зона») должна была образоваться после обособления анатолийских (хетто-лувийских) диалектов, а также «северо-западных» диалектов, из которых развились италийские, кельтские, германские, балтийские, славянские, тохарские и другие языки. Это положение в целом принимает и В. И. Георгиев («Исследования...», стр. 23—24 и passim).

¹⁴ Ср. H. Krahe, *Sprache und Vorzeit*, стр. 144. Некоторые сходства с умбским языком и ряд других соображений позволяют сделать осторожное предположение о бассейне Дравы и Савы и районе ниже по Дунаю (до впадения Тиссы). Однако принимавшаяся некоторыми учеными (в том числе и пишущим эти строки до начала 50-х гг.) связь обособления «про-

⁷ Подробнее о принципах координации лингвистических и археологических выводов в см. в нашей статье «Актуальные задачи индоевропеистики в свете современных задач общего языкознания» (ИАН ОЛЯ, 1960, 6, стр. 457 и сл., пункт 16).

⁸ Эти споры идут непрерывно, начиная со статьи П. Кермера «Zur Geschichte der griechischen Dialekte» («Glotta», I, 1909), где впервые была поставлена проблема стратиграфии древнегреческих диалектов и хронологии их образования. С момента расшифровки линейного письма Б как греческого эти споры обострились. Ср. ниже о «теории Порцига — Риша».

⁹ Наибольшую трудность представляет вопрос об Аттике и Аркадии (см. об этом ниже).

восточной зоне» еще более осложняет вопрос, так как надо локализовать и зону тесного соприкосновения протогреков с языковыми предками индо-иранцев. Археология пока ничем не может помочь в определении путей распространения «протогреков» откуда-то с востока к среднему или хотя бы нижнему Дунаю в эпоху до образования изоглоссы «satam».

При прежней точке зрения (отнесение греков к исконной группе «kentom» в месте с «северо-западными» диалектами) дело обстояло, может быть, проще, но это не должно ни в какой степени служить оправданием окончательно опровергнутой теории, против которой так решительно выступает и В. И. Георгиев¹⁵.

Из этой неопределимой пока с достаточною точностью географической области «протогреческого» языкового (и, может быть, отчасти и религиозно-мифологического) единства отдельные группы «протогреческих» племен разными и путями и в разное время проникали в Эгейду. Наряду с двумя беспорядочными путями этого проникновения (через Македонию и Фессалию и через Эпир и Этолию) необходимо допустить и третий (окольный) путь — из Европы в северо-западную Малую Азию и отсюда в Среднюю Грецию («минийский» Орхомен, характеризующийся так называемой «серой керамикой» малоазиатского типа, которая по многим соотношениям не могла быть импортной, и другими «восточными» чертами). Упоминаемые несколько в рецензируемой работе обобщающие исследования Дж. Меллаарта конца 50-х гг. дают новые веские основания в пользу присутствия «протогреческого» этнического элемента вместе с лувийцами в Малой Азии до вторжения туда хеттов-неситов (т. е. в конце III тысячелетия до н. э.) и в пользу того, что часть этого элемента отхлынула обратно на европейский континент после культурного разгрома, учиненного неситами¹⁶.

Носители того языка, который В. И. Георгиев и А. Ван-Виндекенс восстанавливают под именем «пеласгического», должны были попасть в Грецию раньше наиболее ранних «протогреческих» иммигрантов, т. е. еще в III тысячелетии до н. э. *Terminus post quem* остается неясным, но

тогреков» с неолитической культурой Бутмир в этих местностях и южнее (в Боснии) не может быть серьезно обоснована. Эта культура является слишком ранней, чтобы допустить в ее время обособление «протогреков».

¹⁵ См. «Исследования...», гл. II, § 6 (стр. 53 и сл., где перечислены и главные лувийские работы, отвергающие эту ложную теорию).

¹⁶ После работ Дж. Меллаарта приходится решительно отказаться от защищаемого в наших прежних работах утверждения, что вторжения хеттов-неситов в Малую Азию археологически проследить нельзя (так как они втянулись в «анаатолийскую» культуру раньше вторжения).

его, вопреки тенденции В. И. Георгиева, едва ли можно отодвигать дальше середины этого тысячелетия. Были ли пеласги первыми индоевропейцами в Греции или нет — этого мы не знаем, но возможность более раннего появления каких-то других индоевропейцев (с языком, отражающим стадию развития, более близкую к хетто-лувийским языкам)¹⁷ не исключена по крайней мере для Фессалии (см. ниже о культуре Димини).

Как пеласгический, так и фракийский и дако-мизийский языки по некоторым своим чертам и корневым морфемам, реконструируемым названными учеными, могут в своем происхождении восходить к переходной зоне между «юго-восточными» и «северо-западными» индоевропейскими диалектами. Эта зона должна была находиться севернее первоначального «протогреческого» ареала, и только передвижение последнего на запад (как указано выше, предположительно по направлению к бассейнам Дравы и Савы) могло открыть «протопеласгам» и «протофракийцам» дорогу на юг (в Грецию) и на юго-запад (в Халкидику и в Геллеспонту), куда они и могли начать двигаться раньше первых греческих племен, тогда как двигавшиеся по более западному пути (предположительно из Паннонии) иллирийские племена могли двинуться на юг только после греков, стоявших на их пути.

Все эти наши соображения нисколько не противоречат концепции В. И. Георгиева, излагаемой в рецензируемой книге. Однако он включает в общее с пеласгами раннее (догреческое) движение на юг также и «дако-мизийские» племена, язык которых по своим фонетическим чертам сближается с языком то иллирийцев, то фракийцев. И здесь у него с хронологией не все обстоит благополучно.

В принципе, конечно, вполне возможно, что из переходной диалектной зоны где-то в дунайских областях вместе с пеласгами и протофракийцами двинулись и другие племена, например «протомисийцы» и дардавы. В. И. Георгиев пытается разграничить пеласгический и дардано-мизийский вклад в топонимику Греции по различию в звуковом видоизменении индоевропейских корней. Так, например, и.-е. *b, *d переходят в пеласг. p, t, но в дако-миз. — в b, d; и.-е. *g переходит в пеласг. в ur, но в дако-миз. — в ri и т. д., хотя иногда такого различия и нет (например, и.-е.

¹⁷ Пеласгическая фонетика и некоторые принципы словообразования отражают уже значительное развитие, общее и другим группам индоевропейских диалектов после обособления хетто-лувийских языков. Это говорит против тезиса Ван-Виндекенса («Le pélasgique», 1952, стр. 159) о синхронности обособления анатолийцев и пеласгов, а кроме того, анатолийское обособление имело, по крайней мере, два этапа, едва ли полностью сводимые к одному языку-основе: лувийский (условно) этап и этап неситский. О стратификации иероглифическо-хеттского и палайского языков пока говорить нельзя.

*bh, *dh дают и в пеласгическом, и в дако-мизийском b, d; ср. *Aidepsos, Thebai*).

Никаких «дако-мизийских» топонимов из Фессалии автор нам не сообщает, но это не мешает ему сделать (стр. 35) совершенно невероятный вывод: «дако-мизийцы» вторглись в северную Фессалию в III тысячелетии до н. э. и принесли туда так называемую культуру Димини. Каковы же основания для такого утверждения? Их два: 1) культура Димини близка к так называемому «вардар-моравскому комплексу» неолита (по Г. Чайльду); 2) «дако-мизийцы» двигались по долине реки Аксия (ныне Вардар), которая имела «дако-мизийское» название (это утверждается автором на стр. 7, но не аргументируется), и тот же гидроним встречается в Дакии (приток Дуная).

Такой вывод должен вызвать по меньшей мере два недоумения: 1) если даже мигдновы долины Аксия — это действительно мизийцы (этимология *Mygdones* из *Mus(ōm)-ghdhōn, т. е. «мизов земля»), то все равно они не распространялись южнее р. Галиакмона, и фессалийский неолит тут ни при чем; 2) чем можно доказать, что в начале III тысячелетия (ок. 2800 г., по Георгиеву¹⁸) в западной Дакии, т. е. где-то на стыке между ареалами будущей и бодрокерестурской и гумельницкой (энеолитических) культур существовали уже обособившиеся «дако-мизийцы» (с переходами *ē > ie, *e > a, ei, *eu > e, *h, *g > s, z и т. п.)?

Но эти недоумения могут только возрасти, если обратиться к дальнейшему тексту того же параграфа. В. И. Георгиев с полным основанием обращается к показаниям стратиграфии многослойного поселения Караново (в Болгарии), которое сейчас играет для Балканского полуострова ту же роль, какую играл холм Гисарлык (Троя) для всей Эгеиды, начиная с конца XIX века (стратиграфия Дёрпфельда). Он связывает культуры Караново I—III (точнее было бы I—II)¹⁹ с синхронными (по его мнению) македонско-фессалийски-

¹⁸ На самом деле еще раньше, так как Димини синхронно, по В. Микову, культуре Караново I В., которое даже по поздним датировкам этого археолога определяется как 2800—2600 гг., а для передвижения с Дуная в Фессалию требовалось время. В действительности возникновение культуры Димини надо относить ко времени до 3000 г. до н. э. Ср. ниже об отношении Димини к «ларисской культуре» в той же Фессалии (по Микову, синхронной культуре Караново I А.).

¹⁹ См. схему В. Микова («Советская археология», 1958, 1, стр. 54—55). По Микову, на которого ссылается Георгиев, Караново III — это тонкий слой, датируемый 2300—2200 гг. и характеризующийся переходом к энеолиту. Датировки Микова (Караново I—II — 3000—2300 до н. э.) и Георгиева (Караново I—III—V/IV тысячелетия до н. э.) резко расходятся. Миков, по-видимому, слишком осторожен (см. ниже о телле Отцаки-Магула), но и Георгиев ничем не обосновывает своих дат.

ми неолитическими культурами Сервия I, Ларисса I и «досескловскими» (Pré-Sesklo). Само Караново I—III он соотносит без всякой аргументации с фракийцами, которые, якобы, могли существовать уже в IV тысячелетии до н. э. (I), а упомянутые македонско-фессалийские культуры — со слоем топонимов с суффиксами -nth - и -(s)- (стр. 51—52), хотя выше (стр. 45 и сл.) последний суффикс рассматривался автором и как лувийский, и как этрусский (т. е. «дако-мизийский» по происхождению, если этруски — это мигрировавшие в Италию дардапы).

Неопределенный термин «Pré-Sesklo» едва ли уже следует употреблять. В. И. Георгиев, который часто ссылается на Ф. Шахермейера и полемизирует с ним, не может не знать о ведущемся при его участии уже более 8 лет исследовании В. Милойичем многослойного поселения Отцаки-Магула (в Фессалии), нижние слои которого уже без всякого сомнения уходят в V тысячелетие до н. э. Стратиграфия этого телья, когда она будет окончательно уточнена²⁰, может быть, сыграет еще большую роль, чем стратиграфия Каранова. Она может изменить все наши представления о начале неолита в юго-восточной Европе, и, если ее удастся связать с культурой одиноко стоявшего до сих пор Мариупольского могильника в Причерноморье и недавно открыто В. П. Даниленко «южнобужской культурой», то встанет вопрос о единообразном характере раннеэнеолитической культуры на огромном ареале, на котором на рубеже IV и III тысячелетий до н. э. возникли земледельческо-скотоводческие культуры «трипольского типа» (культуры крашеной керамики), синхронные Триполью А.

Этот комплекс проблем в соединении с новыми данными о культуре Кёрёш-Старчево в нижнедунайских областях (тоже уходящей вглубь V тысячелетия до н. э.) может дать совершенно новый археологический фон для решения проблемы становления индоевропейского языкового единства. Но к приурочению пластов балканской и эгейско-малоазиатской топонимии к пеласгам, «дакомизийцам», фракийцам и т. п. это не имеет никакого отношения. Такое хронологическое смещение может только дискредитировать многие правильные выводы В. И. Георгиева.

В. И. Георгиев, утверждавший в других своих работах (ср., например, «Исследования...», стр. 281—282), что в IV—III тысячелетии до н. э. уже сложились основные группы индоевропейских диалектов, и считающий, что существовали «индоевропейские племена» в докерами-

²⁰ См. «Vorberichte» В. Милойича, печатающиеся в «Archäologischer Anzeiger» с 1954 г. В. И. Георгиев не учел и прочного вывода В. Милойича, что «ларисская культура» моложе Димини (а не синхронна Сескло и тем более «досескловским» культурам).

ческом неолите²¹, которые «были ското-водами и примитивными земледельцами, но не гончарами» (там же, стр. 243)²², упорно отводит от себя проблему становления индоевропейского языкового единства, ограничиваясь критикой «нордических» гипотез, которых сейчас почти никто не защищает и на Западе (даже в ФРГ).

Но этот отказ не делает более убедительным утверждение, что «доиндоевропейского» населения на Балканском полуострове и, в частности, в Греции никогда не было. Как мы писали более семи лет назад (ВЯ, 1954, 2, стр. 116), этого тезиса В. И. Георгиев ничем доказать не может. Весь археологический материал против него, так как резкая грань между культурами Сескло и Димини, Караново I—II и Караново IV—V (III — это краткий переходный период), между «доминийским» и «минийским» Орхоменом и т. п. — это и есть появление сложившихся как целое в придунайских и северобалканских областях и двгавшихся затем на юг индоевропейцев. Для В. И. Георгиева такой взгляд — «атавизм концепций XIX в.» (стр. 52), но доказательств этого у него нет.

Решительное отвержение недоказуемого тезиса В. И. Георгиева о том, что и на юге Балканского полуострова никогда не было «доиндоевропейского» (т. е. принадлежащего к другим языковым семьям) населения, отнюдь не противоречит принятию многих других его конкретных выводов. В частности, нет основания возражать против вывода, что топонимы с суффиксами *-nth-* и *-(s)s-* и некоторые топонимы других типов принадлежали той части протоиндоевропейских племен, из которой (и ранее III тысячелетия до н. э.) начали складываться пеласги, фракийцы, мизийцы, «протофригийцы» и другие племенные группы и которая, может быть, в каком-то отношении была близка одной части аналитийских племен (протолувийцев).

В эту смешанную племенную среду, которая заняла в конце III тысячелетия до н. э. весь Балканский полуостров до самого юга (и, конечно, ассимилировала к этому времени почти все неиндоевропейское население на континенте)²³,

²¹ Такой неолит известен и в Фессалии — в Гремессе (Аргиссе) и в Сескло (см. обзор И. Вандерпула в «Archaeology», X, 4, 1958, стр. 242 и сл.).

²² В рецензируемой работе (стр. 52) балканские индоевропейцы, создатели суффиксов *-nth-* и *-(s)s-*, превращаются уже в «собирателей и охотников».

²³ Для предположений об индоевропейизации Крита и Киклад до конца «среднеминойского» (resp. «среднекикладского») периода у нас нет никаких оснований, а на пестром в этническом отношении Крите во II и в начале I тысячелетий до н. э. неиндоевропейские элементы должны были сохраняться почти до начала исторической эпохи (ср. «Одиссею», XIX, 172—177). О возможных остатках неиндоевропейского населения во II тысячелетии до н. э. на континенте см. ниже.

позже (после примерно 2000 г.) стали попадать отдельными частями на протяжении всего II тысячелетия «протогреческие» племена — от первых беотийских минийцев ок. 1900 г. и первых аргондских греков ок. 1700—1600 гг. до дорийских завоевателей 1200—1100 гг.

Раннеэолистическое (неиндоевропейское) подвижное население, очевидно, не оставило следов в топонимике Греции, так как и топонимика в собственном смысле возникает только на определенной стадии культурного развития (resp. развития мышления); до этой стадии существует только микротопонимика (название урочищ), которая, очевидно, в Греции до исторических времен не дошла²⁴.

Определяя первоначальный «протогреческий» ареал на Балканском полуострове, В. И. Георгиев исходит из правильного критерия — не из наличия бесспорных греческих топонимов, которые есть во всех областях Греции и могут быть поздними, а из отсутствия в этом ареале пеласгических и других названий, привлекая лишь как дополнительный аргумент архаичность словообразовательного типа части греческих названий. Путь этот следует признать правильным, и он приводит автора к определению «протогреческого» ареала в пределах южной части Эпира, Акарнании, северной и западной Фессалии (Гестийотиды) и Пизэрии. Эти результаты крайне важны, но допускают разную интерпретацию. В свете новых взглядов на первичную группировку древнегреческих диалектов²⁵ этот ареал (или, вернее, часть его) можно рассматривать как тот очаг, откуда последовательными волнами ми-

²⁴ То немного, что можно извлечь из «Описания Эллады» Павсания, пока еще никем не исследовано.

²⁵ Речь идет о концепции Э. Рипа и близкого к нему В. Порцига (так называемая «теория Порцига — Рипа»), суть которой сводится к следующему: в середине II тысячелетия до н. э. во всем Пелопоннесе, в некоторых частях средней Греции и в юго-восточной Фессалии господствовало одно наречие, являющееся общим предком как ионическо-аттического, так и аркадско-кипрского диалектов (ср.: W. Porzig, Sprachgeographische Untersuchungen zu den altgriechischen Dialekten, IF, LXI, 2—3, 1954, стр. 147—169; E. Risch, Die Gliederung der griechischen Dialekte in neuer Sicht, «Museum Helveticum», XII, 2, 1955, стр. 61—76). Эта концепция встречала возражения и за рубежом, а в СССР она решительно, но без достаточных оснований отвергается Н. С. Гринбаумом (ВЯ, 1959, 6) и С. Я. Лурье (ВЯ, 1961, 2). Нам же она представляется в идее правильной, но, конечно, при условии, что из нее не будет сделан вывод о какой-то эолийско-дорийской общности: эолийская и «северо-западная» (дорийская) миграции должны были иметь разные исходные очаги в рамках «протогреческого» ареала, намеченного Георгиевым (кроме того, что они были отделены друг от друга несколькими веками).

грировали в среднюю Грецию, Пелопоннес и на некоторые острова племени или части племен, ставшие носителями «эолийских»²⁶ и позже «северо-западных» (доорических) диалектов.

К этому можно добавить частное замечание. В Акарнании (не говоря уже об Эпире) и в начале нашей эры существовали негреческие племена, которые Страбон называл «барбарофонами». В данном случае речь идет, наверно, об иллирийцах, но кто такие куреты, занимавшие этолийский Плеврон (в мифе о Мелеагре) и Акарнанию до вторжения туда эолийцев из Пелопоннеса (в мифе об Алкмеоне), мы не знаем. Есть ряд соображений, позволяющих видеть в них остаток неиндоевропейских автохтонов.

В. И. Георгиев, как было указано, несколько упоминает работы Дж. Меллаарта. Неназываемая им статья этого ученого «The end of the bronze age in Anatolia and the Aegean» («American Journal of Archeology», LII, 1, 1958), максимально сжато (на 8 стр.) излагающая новую концепцию, может рассматриваться как такая же эпоха, какую была в 1925 г. статья П. Кречмера «Die protindogermanische Schicht» («Glotta», XIV, ³/₄, 1925, стр. 300—319). При всей опорности некоторых выводов Меллаарта (допущение движения хеттов-неситов в Анатолию через Кавказ, преувеличение роли некоторых культур, например гумельницкой, сомнительность некоторыми датировок и др.) с его исследованиями нельзя не считаться. Но они — против тех выводов В. И. Георгиева, против которых возражаем и мы: всех «протогреков» нельзя загнать в ограниченный ареал вокруг Додонского святилища Зевса, и Меллаарт приводит немало доводов в пользу того, что часть их была вместе с лувийцами в западной Анатолии, а потом вернулась на континент. Не осел ли какой-то их остаток и в Ионии, так что беженцы от дорийского разгрома (ср. легенды о Тисамене, сыне Ореста, об Амфикле на Хиосе и др.) бежали все-таки к «своим», т. е. к своим лидизированным сородичам, как это допускал еще в 1909 г. Хогарт?²⁷

²⁶ Так называемые «эолийские» диалекты, не сводимые к единству, мы давно считали возможным рассматривать как результат очень постепенной инфильтрации с севера небольших племенных (или родовых) групп в период между 1600 и 1450 гг. до н. э. (См. «Историю греческой литературы», I, Изд-во АН СССР, М.—Л., 1946, стр. 34). Их взаимоотношения с племенами и родами, ставшими в средней Греции и в Пелопоннесе основным населением в период между 2000 и 1600 гг. (результат ассимиляции пеласгов), нашли яркое отражение в мифах об Абантидах, о потомстве Амифаона, Крефея, Салмоная (и других «эолидах»), о Пелопидах, о династических связях Иолка, Аргоса и Пилоса и т. д.

В рецензируемой работе, как и в предыдущих, В. И. Георгиев с тем же ожесточением нападает на П. Кречмера, подчеркивая, что его гипотеза о неиндоевропейском языке догреческой Эгеиды и западной Малой Азии, который послужил субстратом для греческого языка и передал грекам древнюю топонимику с суффиксами *-nth-* и *-s(s)-*, сыграла в науке отрицательную и печально роковую (*funeste*) роль. С этим трудно согласиться. Во-первых, гипотеза Кречмера в 1896 г. сыграла большую положительную роль, положив конец как бесплодным попыткам объяснять все греческие собственные имена либо из индоевропейского (в тогдашнем примитивном понимании), либо из семитского, так и преувеличению роли финикийцев (традиции Э. Курпиуса). Ничего другого (более точного) в конце XIX в. выдвинуть было нельзя. Во-вторых, сам Кречмер уже в 1925 г. (в упомянутой статье в XIV т. «Glotta») признал этот язык «протоиндоевропейским», близким по ступени своего развития к хеттскому, который тогда был еще мало изучен. «Неиндоевропейцами» в этой и последующих работах Кречмера оставались только карийцы (лелеги), что и сейчас остается вероятным²⁸.

Как уже указано выше, мы считаем эту статью Кречмера вместе с работами Э. Форрера 20-х гг. важным этапом в развитии «индоевропейской проблемы», хотя многое в этих работах сейчас кажется уже наивным. Но из этого именно этапа родились и все труды В. И. Георгиева, А. Ван-Виндекенса, В. Мерлингена и др., которые развивали и уточняли те же идеи Кречмера и Форрера. Отрицательную роль играли не эти идеи, а долгое упорство многих историков-гиперкритицистов (начиная с Ю. Белоха), не желавших признавать миценскую культуру греческой, считавших пеласгов «мифом» и создавших в свою очередь миф о «темной эпохе» (*dark age*), из которой, как из древнего Хаоса, якобы родилось «греческое чудо»²⁹. Однако незнание нами пеласгической морфологии (системы грамматических категорий) не позволяет делать окончательные выводы как по пеласгической проблеме, так и по многим другим вопросам Греции II тысячелетия до н. э.

Б. В. Горнунга

²⁷ Д. Г. Хогарт, Иония и Восток («Изв. Имп. Археологич. комиссии», LIV, прибавление), СПб. (обл.: Пг.), 1914.

²⁸ Однако В. И. Георгиев хочет и этот почти неизвестный язык сделать индоевропейским (см. «Archiv orientální», XXVIII, 1960, стр. 607 и сл.).

²⁹ Подробнее см. наше изложение в «Истории греческой литературы», I, стр. 15—20.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

ВЫНУЖДЕННОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ

(По поводу рецензии О. Н. Трубачева на «Краткий этимологический словарь русского языка» Н. М. Шанского, В. В. Иванова, Т. В. Шанской*)

Если бы речь шла только о расхождении во взглядах на этимологию отдельных слов между рецензентом и авторами «Краткого этимологического словаря русского языка», я не стал бы вмешиваться в эту полемику. И авторы, и их рецензент О. Н. Трубачев — наши молодые языковеды, с увлечением и не без некоторого успеха работающие в области этимологии. При всем моем уважении к их научной деятельности я не могу сказать, что они уже стали такими авторитетными, маститыми учеными, личное мнение которых по тем или иным научным вопросам невольно привлекало бы внимание рядовых языковедов. Вот почему полемика между ними носит сугубо частный, так сказать, домашний характер и не представляет большого научного интереса.

Но речь идет о неизмеримо более жизненно важных делах, чем, скажем, этимология слова *деревня*. Речь идет: 1) о судьбе популярного пособия для советского учителя и 2) о нравственных принципах нашей научной критики. По этим двум вопросам я хотел бы сказать несколько слов. О. Н. Трубачев прав, когда утверждает, что научно-популярные книги должны быть прежде всего научными, что «писать популярные работы труднее, чем специально научные». Можно в принципе согласиться также с пожеланием, чтобы популярные работы писали крупные ученые, известные своими творческими исследованиями в данной области науки. Однако многолетний опыт русской и советской школы показывает, что руководствоваться только этим принципом невозможно.

Во-первых, не всякий авторитетный ученый может и хочет писать популярные книги. Ведь для того, чтобы писать удовлетворительную книгу, скажем, для учителей, мало еще знать науку, надо также хорошо знать запросы и нужды школы, условия работы в ней. Во-вторых, опытные исследователи, естественно, имеют свои личные научные убеждения, которые они считают единственно правильными и в пропаганде которых они заинтересованы. Учителя же необходимо в первую очередь ознакомить с наиболее распространенными, принятыми многими учеными концепция-

ми и взглядами. Наконец, не случайно, что самые удачные научно-популярные школьные пособия по языкознанию у нас создали не академические ученые, а более скромные, почти неизвестные научному миру работники. Когда в 1914 г. вышел из печати «Русский синтаксис в научном освещении», автор его, А. М. Пешковский, был только скромным учителем гимназии. Этот популярный очерк, выпущенный в качестве пособия для самообразования и школы, в научном отношении был мало оригинален: научным фундаментом книги, как об этом говорит в предисловии автор, послужили университетские курсы Ф. Ф. Фортунатова и В. К. Поржезинского, а также известные синтаксические исследования А. А. Потемкина. Но книга А. М. Пешковского была блестящим популярным пособием, которое вряд ли мог написать сам Ф. Ф. Фортунатов или А. А. Потемкин. Народный учитель, самоучка В. И. Чернышев в свое время выпускал очень полезные для школы популярные книги. Правда, некоторые из них подвергались резкой критике со стороны предшественников (не очень дальновидных) университетской науки. Только благодаря заступничеству таких великих ученых с широкими взглядами и благородным сердцем, как А. А. Шахматов и И. А. Бодуэн де Куртэн, было спасено честное имя скромного труженика В. И. Чернышева. В 20-е годы большую пользу принесли советской школе научно-популярные статьи молодого тогда ученого Л. А. Булаховского. Вообще много интересного и поучительного можно извлечь из истории создания научно-популярной литературы для работников советской школы. Характерно, что, кроме Л. В. Щербы и Д. Н. Ушакова, все наши известные ученые были далеки от жизни школы.

И в наши дни ежегодно издаются десятки научно-популярных книг для учителя, и все они, разные по своему характеру, по глубине и тщательности разработки темы, оказывают определенную помощь учителю в его сложной, но благородной практической работе. Авторами этих научно-популярных работ являются рядовые языковеды и методисты педагогических учебных заведений. Я не сомневаюсь в том, что если какой-нибудь безразличный и высокомерный критик-

* См. ВЯ, 1961, 5.

лингвист, далекий от жизни советской школы, доберется до этих книг, то все они могут быть объявлены «неудачными», даже «вредными». Но бояться таких критиков — значит оставить нашу школу без необходимых пособий. Вот почему трудно согласиться с О. Н. Трубачевым, что полезные популярные работы могут писать только первоклассные исследователи.

Что же касается авторов «Краткого этимологического словаря» (КЭС), то они не такие уж новички в науке, как их склонен представить О. Н. Трубачев. За их плечами десятилетие успешной научно-педагогической работы. Во всяком случае имена и исследовательские труды Н. М. Шанского и В. В. Иванова не менее, а может быть и более известны среди широких кругов советских языковедов, работников филологических вузов и учителей, чем имя их сурового критика. Смее уверить О. Н. Трубачева, что авторам КЭС хорошо известны все те основные источники, из которых он сам черпает свои этимологические познания и сведения. Не может быть сомнения в том, что авторы своей многолетней честной и полезной работой заслужили если не внимательного и чуткого, то по крайней мере элементарно приличного, пристойного отношения к себе как к советским научным работникам, а не того барски-высокомерного и пренебрежительного тона, которым пронизана вся рецензия О. Н. Трубачева.

Когда я, ознакомившись с рукописью «Краткого этимологического словаря», решил взяться за ее редактирование, я хорошо знал, что словарь может вызвать многочисленные критические замечания, поправки, дополнения и пожелания как со стороны его непосредственных потребителей — учителей школы, так и со стороны научных работников — языковедов и методистов. И подбор слов, и характер раскрытия их этимологии, и принципы этимологизации, доступность для массового читателя употребляемой в словаре терминологии — все это и многое другое могло быть предметом серьезного обсуждения и полезных для авторов критических высказываний.

Но в том, что КЭС, при всех возможных недостатках его принесет определенную пользу нашей школе, я не сомневался: ведь более 85% этимологий, содержащихся в словаре, взяты из вполне авторитетных источников, а большая часть остальных этимологий (вернее, историко-словообразовательных толкований), принадлежащих авторам, мне казалась или убедительной, или возможной и вероятной. Кроме того, я исходил из положения, что если в отдельных — сложных и спорных этимологиях наш школьный учитель ошибется вслед за такими языковедами, как Преображенский, Фасмер, Булаховский, Ильинский, Бернекер, Брюкнер, Махек, Славский, Черных, беда в этом нет. Иной раз лучше заблуждаться совместно с известными учеными, чем следовать за домыслами молодого исследователя.

Моя оценка «Краткого этимологического словаря» почти полностью совпала с оценкой такого знатока и исследователя истории русского языка и деятеля нашей высшей школы, как проф. П. Я. Черных. В своей рецензии, содержащей много критических замечаний, значительная часть которых, с моей точки зрения, заслуживает внимания, П. Я. Черных пишет: «Краткий этимологический словарь», в сущности, представляет собой нечто вроде популярного справочника, заключающего конспективное изложение наиболее распространенных мнений относительно этимологии многих русских слов. В своем большинстве эти справки соответствуют современному уровню научных знаний, и это делает новое пособие книжкой, в общем полезной для учителя»¹.

Но что КЭС является полезным для школы справочным пособием, в этом, как ни странно, я окончательно убедился после рецензии О. Н. Трубачева. Несмотря на раздраженно-придирчивое и подчеркнуто враждебное отношение к авторам и к их труду, наш рецензент, по-моему, так и не смог доказать порочность словаря. Из многих его критических замечаний лично я готов принять 8—10 поправок. Остальные или мелочи (явные опечатки, досадные недосмотры), или выражают личные мнения О. Н. Турбачева, не обязательные для всех.

Говоря об этимологическом словаре для школы, необходимо иметь в виду еще следующее. Словарь этот — не только справочное пособие для самого учителя, но и источник, откуда он может черпать материал для классных занятий. С этой точки зрения не все, что включено в словарь, имеет одинаковую ценность. Особенную ценность представляют те этимологии, которые, раскрывая внутреннюю форму слова, имеют познавательное значение, вполне доступны ученику, занимательны и увлекательны. Как бы ни толковать этимологии таких слов, как *кочерыжка*, *ледашки*, *ложка*, *сила*, *идиот*, *обормот*, *калитка*, *флок*, *ковыль*, *ковымага* и т. п., все равно практически они бесполезны: ни один учитель не станет и не сможет ими пользоваться в классных занятиях. Другое дело этимология (образование) таких слов, как *окно*, *около*, *мост*, *пиво*, *палец*, *перстень*, *баранка*, *басня*, *говядина*, *благовоние*, *память*, *долговязый*, *близорукий*, *ошеломить*, *петух* и т. п. Слова этого типа могут и обычно бывают объектом этимологического анализа в школе. При оценке степени практической полезности школьного этимологического словаря, как мне кажется, необходимо разграничить эти два слоя этимологий. В принципе возможен такой этимологический словарь для школы, куда вошли бы только слова второго типа.

Я далек от мысли взять под защиту каждую этимологию, данную в КЭС. Авторы, как и О. Н. Трубачев, имеют свои

¹ «Р. яз. в школе», 1961, 4, стр. 100.

этимологические убеждения. С рядом моих замечаний они не согласились, и это было их право. Я хорошо знаю, что многие этимологии, независимо от того, откуда они взяты, являются проблематичными, недостаточно убедительными, что при более внимательном изучении в КЭС может обнаружиться немало недочетов, погрешностей разного характера. Но я знаю также, что нет на свете такого словаря, не только этимологического, который у специалиста не вызвал бы ряд очень серьезных замечаний и дополнений. Но это, понятно, не значит, что все словари бесполезны или неудачны. Покойный Л. А. Булаховский мне говорил, что почти в каждой странице этимологического словаря М. Фасмера у него имеются свои поправки и исправления. Он даже думал «о временем» выпустить отдельной книгой эти свои дополнения и замечания. Но при всем этом Л. А. Булаховский высоко ставил этот труд М. Фасмера. Иных принципов держится О. Н. Трубачев: то, что вызывает у него возражения, что ему не нравится, он готов объявить вредной стряпней. (Мне могут заметить, что наши авторы — не Фасмеры. Это верно, но и О. Н. Трубачев — не Булаховский. Приличие же надо соблюдать на всяком уровне.)

Основная цель рецензии О. Н. Трубачева — посеять недоверие к книге, подорвать авторитет ее авторов и этим лишить школьного учителя единственного этимологического справочника, где большинство этимологий даны на современном научном уровне (см. выше мнение проф. П. Я. Черных). Поставив перед собой такую завидную цель, О. Н. Трубачев, ничем не стесняясь, прямо идет к ней. Свою рецензию он начинает сентенцией: «Нельзя одновременно оставаться добросовестным и заниматься популяризацией той отрасли науки, которая не стала (!) твоей плотью и кровью». Этой сентенцией О. Н. Трубачев хочет внушить читателю две мысли: 1) что этимологическая наука уже успела войти в его, рецензента, кровь и плоть; 2) что авторы книги недобросовестные и далекие от этимологии люди. Отрекомендовавшись, таким образом, природным этимологом и объявив авторов неучами и невеждами, О. Н. Трубачев чувствует себя совершенно свободным от всякой пристойности: с невеждами и неучами нечего, мол, церемониться — и тут же обрушивается на авторов потоком брани: «наспех написанная стряпня!», «грубая фальсификация!», «воиющий произвол!», «школярские суффиксальные манипуляции!», «угрожающее разнообразие недостатков!», даже «псевдолаконичность». Лишь после такой своеобразной артиллерийской подготовки, когда авторы, казалось, психологически уже подавлены и деморализованы, О. Н. Трубачев переходит к рассмотрению словарных статей.

Не знаю, на кого и на что рассчитывал О. Н. Трубачев, строя именно так свою

рецензию. На меня лично все это произвело удручающее впечатление. С первых же строк рецензии становится ясно, что имешь дело с предубежденным человеком, потерявшим самообладание. Сразу же пропадает охота дальше читать рецензию: ясно, что такой рецензент не может спокойно и объективно оценить книгу. Даже там, где он вынужден сказать что-то положительное об авторах, тут же делается оговорка, которая должна сильно ограничить, почти свести на нет сказанное: «целесообразно выделить отдельные удачи авторов в области этимологии, что, кстати, значительно легче сделать»; «вообще удачно — в отличие от большинства статей — произведен выбор между существующими этимологиями для слова *жерез*». Рецензент не замечает противоречия, в которое он впадает: могут ли люди, далекие от этимологической науки, иметь «отдельные удачи», «удачно производить выбор между существующими этимологиями», «высказать интересные соображения относительно происхождения слова *чепуца*»?

Мне казалось, что времена разнсных рецензий, авторы которых руководствовались не научными или какими-либо деловыми соображениями, а чисто посторонними мотивами, давно прошли. Рецензия О. Н. Трубачева показывает, как глубоко я ошибался. Оказалось, что рецидив заушательской критики, преднамеренно ставящей перед собой задачу во что бы то ни стало опорочить книгу и ее автора, возможен и в наши дни.

Десять лет назад редакция журнала «Вопросы языкознания» обещала оказывать широкую помощь советскому учителю в его практической работе (см. ВЯ, 1952, 1, стр. 38—40). К сожалению, до сих пор ей не удалось реализовать своего обещания. Если опубликование на страницах «Вопросов языкознания» рецензии на школьный этимологический словарь заменует собой новый курс редакции на связь с жизнью, с советской школой, то это можно лишь приветствовать. В связи с этим хочу высказать одну мысль: работникам школы может оказать действительную помощь лишь языковед, с уважением и, главное, дружески относящийся к лицам, которые в меру своих сил и знаний честно стараются помочь учителю в его практической деятельности. Языковеду, страдающему высокомерием и самнением, лучше не вмешиваться в дела народного образования.

Р. С. Как я ни старался писать свое объяснение спокойно, мне этого не удалось. Прошу извинения у читателя за некоторые мои резкие оценочные слова. Думаю, в этом вина О. Н. Трубачева: он и меня частично настроил на свой собственный лад.

С. Г. Бархударов

ПО ПОВОДУ РЕЦЕНЗИИ О. Н. ТРУБАЧЕВА НА «КРАТКИЙ ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ РУССКОГО ЯЗЫКА»

Предлагая читателю «Краткий этимологический словарь русского языка», мы в полной мере сознавали, что в нем не все одинаково удачно, могут быть — совершенно неизбежные, когда предпринимается первая попытка создания научно-популярного этимологического справочника, — недостатки как в подаче материала в целом, так и в объяснении отдельных слов. Поэтому мы с большим вниманием отнеслись ко всем многочисленным откликам на нашу работу, особенно, конечно, к печатным рецензиям. Появившаяся в журнале «Русский язык в школе» (1961, № 4) статья проф. П. Я. Черных содержит не только в общем беспристрастную и объективную оценку нашего словаря в научно-методическом плане, но и целый ряд ценных критических замечаний и советов, продиктованных — что отличает настоящего ученого — стремлением опытного историка русского языка, хорошо знающего запросы школы, помочь своим более молодым коллегам улучшить и сделать совершеннее «в общем полезную для учителя» книгу, этимологические справки в которой «в своем большинстве... соответствуют современному уровню научных знаний» (стр. 100). В надежде встретить то же самое товарищеское отношение и помощь мы обратились и к рецензии на наш словарь О. Н. Трубачева, однако на этот раз были неприятно поражены. Прочитавшие нами за подписью О. Н. Трубачева вообще нельзя назвать рецензией, настолько неприлично в научном отношении и неблагоприятно в своих целях написанное О. Н. Трубачевым, настолько развязна его манера выражаться, настолько бездоказательны и несостоятельны серьезнейшие обвинения, которые бросает он в наш адрес и в адрес редактора. И по форме, и по содержанию «рецензия» О. Н. Трубачева представляется нам образцом той критики, методы которой были давним-давно осуждены нашей общественностью. В ней есть все (брань, окрики, сознательное искажение авторских мыслей и т. д.), за исключением самого главного для рецензии — аргументированного и спокойного критического анализа книги с целью помочь авторам сделать ее лучше. Впрочем в последнем рецензент явно и не был заинтересован. У него нет разбора нашего словаря ни с методической, ни с научной точек зрения именно потому, что единственной целью, которую он перед собою ставил, было стремление дискредитировать наше пособие для учителя. А для этого, как известно, вовсе не нужен серьезный и внимательный анализ книги, товарищеское отношение к авторам.

Что касается разрозненных замечаний по этимологии отдельных слов, то все они представляют собой бездоказательное объявление своей точки зрения единственно правильной и демонстрируют полное неуважение к мнению других. Мы не со-

мневаемся, что непредубежденные читатели уже хорошо знают, что представляет собой «рецензия» О. Н. Трубачева. И все же — имея в виду прежде всего моральные принципы научной критики и важность популяризации лингвистических знаний — мы хотели бы обратить их внимание на эту «рецензию» еще раз. Боясь, что ему не поверят, рецензент прежде всего спешит обвинить нас во всех смертных грехах, которые только могут быть. Однако оценочная часть «рецензии» О. Н. Трубачева находится в явном и полном противоречии с аргументационной. Его конкретные замечания (в том числе и по этимологии отдельных слов) приводят к выводу, что именно у О. Н. Трубачева в его «рецензии» наблюдается «угрожающее разнообразие недостатков», сплошь и рядом встречаются «ошибки, которые в последовательской практике давно принято считать элементарными», именно он не опирается на достижения этимологической науки и именно ему свойствен тот произвол, «с каким множество слов препарируются таким образом, как если бы никакой литературы по этимологии вовсе не существовало». Для того чтобы это видеть, не надо даже останавливаться на всех конкретных замечаниях рецензента по нашей работе, достаточно разобрать лишь некоторые, наиболее показательные для характера «рецензии».

О недобросовестном обращении рецензента с материалом свидетельствует первое же фактическое замечание по нашей работе, касающееся недостатков в подборе словника (отдельные пропуски в этом отношении у нас, действительно, есть). В качестве примеров, доказывающих, что выбор слов «проведен нами крайне неподсудительно», рецензент приводит среди других такие слова, которые в соответствии с известными ограничениями, носившими иногда вынужденный характер (авторы должны были укладываться в установленный Учпедгизом листаж), в словарь не включались, о чем читателю специально сообщалось в разделе «Как пользоваться словарем» (КЭС, стр. 16—17). К таким относятся, например, слова *силос* и *пелла* (они объясняются в «Словаре иностранных слов» И. В. Лехина и Ф. Н. Петрова, изд. 5-е, М., 1955, стр. 635, 526), слова *белесый, белорыбца, белуга, отрава, двигатель, поцелуй, сахар, чертеж* (они и в современном языке соотносительны с *белый, трахать, двинуть, целовать, сухой, чертить*), слова *бердо* и *каганец* (первое из них является техническим термином, а второе — диалектизмом узкого употребления) и т. д. Какое же право имеет рецензент упрекать авторов в том, что в их словаре нет соответствующих слов? Ведь заимствованные слова толкуются в нашем справочнике «только в том случае, если они не объясняются в большом «Словаре иностранных слов» (в настоящее

время это словарь под ред. И. В. Лехина и Ф. Н. Петрова)» (КЭС, стр. 16), ведь в него «не включаются (хотя, естественно, в случае надобности привлекаются для объяснения) слова, так или иначе в своем употреблении ограниченные. К таким прежде всего относятся специальные термины, диалектизмы и арготизмы...» (КЭС, стр. 16), ведь слова типа *чертеж, дозгать, сахар* и т. п. имеют прямые и непосредственные связи с родственными и одноструктурными, и в них этимологический анализ по существу совпадает со словообразовательным (см. об этом КЭС, стр. 17).

Второе конкретное замечание рецензент делает по используемым в нашем словаре пометам при исконно русских словах. Он прежде всего упрекает нас в том, что мы слишком «широко» пользуемся пометой *собственно русское*, однако примеры, которые приводятся им в качестве доказательств этого, показывают, что он просто не понимает разницы, существующей между этимологическим составом слова и реальным появлением слова как определенной значимой единицы в лексической системе, не учитывает различий между словообразовательным переформированием иноязычного слова и переводством исконно русского слова на базе иноязычного в русском языке, механически в ряде случаев отождествляет факты «лингвистической географии» с фактами «лингвистической хронологии».

Отнесение к собственно русским слова *багрец* вполне закономерно, так как это слово возникло в русском литературном языке, а не было заимствовано из старославянского языка, в котором этой лексической единицы, между прочим, никогда и не существовало (ср. отсутствие слова *багрць* в большом пражском словаре¹).

Собственно русским, т. е. возникшим в русском языке, является также и слово *бедстроганов* (хотя, действительно, по структуре, но отнюдь не по лексическому составу, *боец/строганов* — типично французское словосочетание), так как в качестве целостной воспроизводимой значимой единицы оно появилось в нашей речи и, даже более того, только ей и свойственно. Подобное объяснение слова *бедстроганов* находим и в «Словаре современного русского литературного языка» (I, М.—Л., Изд-во АН СССР, 1948, стр. 445). То же, пожалуй, можно сказать и по поводу слова *перманент*, представляющего собой, скорее всего, не прямое заимствование франц. *permanent* «постоянный», а склепанное в одно слово словосочетание *перманентная завивка*, т. е. образование, подобное словам типа *актив* («активные члены»).

Не стоит удивляться, что слово *таблетка* (того же типа и *гашетка*) характеризуется как собственно русское. Дело в

том, что оно не является переформированным при помощи суффикса *-к* (а) франц. *tablette*, как может показаться на первый взгляд и как думает О. Н. Трубачев, а представляет собой образование при помощи суффикса *-к* (а) на базе существительного *таблет* (<франц. *tablette*) (ср. *браслет* — *браслетка*, *виньет* — *виньетка* и т. п.). Существительное *таблет* фиксируется, в частности, «Объяснительным словарем иностранных слов...» Михельсона (изд. 12-е, [СПб.—М.], 1898, стр. 652). Ничего не доказывает и никак не колеблет характеристики слова *набодать* как собственно русского наличие в словарном языке глагола *dojedat*: 1) в последнем отсутствует приставка *на-*, 2) в славянских языках могут быть и параллельные (и тем не менее самостоятельные) образования. Ничего похожего на русск. *набодать* в других славянских языках (даже в украинском и белорусском) мы не находим. Слово *наперсток* является общеславянским и в нашем словаре по недосмотру (возникшему в результате неверной корректорской правки) обозначено как собственно русское ошибочно.

Рецензент дезинформирует читателя, говоря о том, будто авторы «путают такие автономные понятия, как „общеславянское“ и „праславянское“». О том, что мы включаем в понятие «общеславянское», в словаре четко и ясно говорится на стр. 396. Где же О. Н. Трубачев увидел сумбур в содержании пометы «общеславянское», если в нашем словаре (как в следующем своем предложении указывает даже он сам!) мы всюду употребляем помету «общеславянское» как синоним пометы «праславянское», т. е. так же, как это делает, например, А. Мейе в своей книге «Общеславянский язык» (М., 1951)?

По мнению О. Н. Трубачева, является ошибкой отнесение к общеславянским, словам существительных *батог*, *брюго*. «В действительности известных только западным и восточным славянским языкам». Выходит, что если какое-либо слово в настоящее время известно лишь западным и восточным славянам, то оно механически не может быть общеславянским (т. е. праславянским, см. выше)? Но ведь это грубое смешение лингво-географического и лингво-хронологического аспектов. То, в чем рецензент упрекает до этого нас, оказывается свойственным на деле ему самому.

Если говорить о конкретных фактах, то есть все данные считать, что и *брюго* и *батог* были известны также и южнославянским языкам. В болгарских диалектах существует слово *brjuk*, *brjuka*, *bruka* «прыщ», родственное нашему слову и отличающееся от него лишь семантикой (оба значения восходят к значению «выпуклость»). Об этом можно прочесть и у Ф. Славского (со ссылкой на И. Лекова), и у Ст. Младенова, и у В. Маха². Есть это

¹ «Slovník jazyka staroslověnského», Praha, 1959, 3, стр. 68—69 (далее — SJS).

² См.: Fr. Sławski, Słownik etymologiczny języka polskiego, I, Kraków, 1952—1956, стр. 47 (в дальнейшем — S. SEJP); Ст. Младенов, Етимоло-

слово (в экспрессивном переформлении) и в сербскохорватском языке: *трбух* «живот», и в старославянском: *брюхъ*³. Что же касается слова *батог*, то оно фиксируется в памятниках старославянского языка (SJS, стр. 70).

Легкомысленность оценок О. Н. Трубачева по этим вопросам особенно ярко выступает в его замечаниях по поводу слов *дурной* и *дурь*: «Фантастический характер приобретает путаница помет при словах *дурной* и *дурь*, причем первое из этих слов объявляется „общеславянским“, а второе „собственно русским“, в то время как в действительности перед нами исключительно восточнославянские слова, вероятно, праславянской древности». Достаточно обратиться к словарям (конечно, не только к словарю М. Фасмера), чтобы убедиться в том, что слово *дурной* известно не только в восточнославянских языках, но и в западных и южных (ср. польск. *durny*, чеш. *durný*⁴, сербскохорват. *дуран*⁵ и др.). Как общеславянское слово *дурной* интерпретируется, между прочим, и Ф. Славским (S. SEJP, 2, стр. 180). Что касается слова *дурь*, то оно неизвестно ни в одном другом славянском языке и фиксируется в памятниках письменности очень поздно. Если иметь в виду, что безаффиксное образование существительных от прилагательных было в русском языке до XVIII в. довольно активным, то можно думать, что *дурь*, действительно, является собственно русским словом.

Интерпретация фактов, касающихся слов *дурной*, *брюхо*, *батог*⁶, в достаточной степени ясно показывает и знакомство рецензента с языковыми фактами, и его знания этимологической литературы.

Ярким примером искажения того, что наблюдается в нашей работе в действительности, является также и то, как представляет рецензент читателю (за «выделением отдельных удач авторов в области этимологии») тот конкретный материал словаря, которым он оперирует, выступая против «архаического атомизма», каким представляется ему ненавистная «ближняя этимоло-

гически и правописен речник на българския книжовен език, София, 1941, стр. 47; V. M a s h e k, Etymologický slovník jazyka českého a slovenského, Praha, 1957, стр. 48 (в дальнейшем — ESJČS).

³ См. J. H o l u b, Stručný slovník etymologický, Praha, 1937, стр. 23 (в дальнейшем — SSE).

⁴ См.: A. B r ü c k n e r, Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa, 1957, стр. 104 (далее — B. SEJP); S. B. L i n d e, Słownik języka polskiego, I, Lwów, 1854, стр. 558; J. K a r ł o w i c z, Słownik gwar polskich, I, Kraków, 1900, стр. 395.

⁵ См. И. И. Толстой, Сербскохорватско-русский словарь, М., 1957, стр. 162.

⁶ Иного характера, нежели считает рецензент, также слова *морс* и *приют*, на которых здесь мы не останавливаемся.

логия». В стремлении опорочить методы этимологизирования авторов (хотя он и пишет: «В конце концов полезно то или иное уточнение словообразовательной характеристики слова, предпринимаемое авторами словаря») О. Н. Трубачев прибегает к тому, что обычно называется поддержкой: даже реальные слова, указываемые нами в словаре, превращаются под его пером в наши реконструктивные выдумки. В словарных статьях, посвященных объяснению этимологии слов *коченеть*, *письмо*, *супесь*, *обруч*, мы оперируем не «беспочвенными фикциями», а реально существующими словами (диал. *коча*, *пись*⁷, топонимич. *Песь*⁸, словен. *roč*). Обратившись к нашему словарю, читатель увидит это сразу: упомянутые выше слова все даются без звездочки. Рецензент же всюду ставит рядом с этими словами звездочки, причем делает это даже тогда, когда он обязан был знать о существовании слова как определенной лексической единицы. Мы имеем в виду в данном случае слово *коча*, о существовании которого О. Н. Трубачев должен знать хотя бы по упоминанию его в книге П. Я. Черных⁹, которую в свое время он рецензировал. Из разбираемых им примеров только при объяснении этимологии существительного *бестолочь* реконструируется **toločь*, существование которого в прошлом совершенно несомненно: об этом свидетельствует явно префиксальная модель с *без-*, к которой принадлежит слово *бестолочь*.

Совершенно непонятно, если рассматривать уже общие рассуждения О. Н. Трубачева, почему он (пользуясь сам более чем широко реконструкциями даже для восстановления конечных лексических звеньев) отказывает нам в праве на реконструкции для восстановления промежуточных словообразовательных звеньев. Кажется вообще странными все те замечания, которые О. Н. Трубачев бросает по поводу «ближней этимологии», тем более что этот термин ни разу нами в КЭС не употребляется. Никто, кроме О. Н. Трубачева, так нелепо, между прочим, термин «ближняя этимология» и не понимает¹⁰. Совершенно справедливо (это неоднократно подчеркивалось именно Н. М. Шанским), что «принципиальная грань между эти-

⁷ В. Д а л ь, Толковый словарь живого великорусского языка, М., 1955, I — стр. 180, III — стр. 113 (далее — ТС).

⁸ Название станции Кировской железной дороги (следующая станция — Хвойная).

⁹ См. П. Я. Ч е р н ы х, Очерк русской исторической лексикологии, [М.], 1956, стр. 182. На знание рецензентом художественных текстов Н. А. Некрасова (например: «По *кочам*, по *зажоринам*») мы уже не надеемся.

¹⁰ Ср. хотя бы статью Н. М. Ш а н с к о г о «Принципы построения русского этимологического словаря словообразовательно-исторического характера», ВЯ, 1959, 5, стр. 32 и сл.

касается слова *болото*: «*Болото*. Неожиданно это слово оказывается родственным сл. *palus* «болото»». Такое заявление со стороны рецензента является по меньшей мере странным. Достаточно заглянуть в «Русский этимологический словарь» Фасмера и «Этимологический словарь русского языка» Преображенского, чтобы убедиться, что это сближение — с отнесением сюда также северноитал. *palta*, ломб. *palta*, пьемонт. *paulta* — допускается не только нами и нашего открытия не представляет (см. ЭС, стр. 35; REW, I, стр. 104). Как родственное лат. *palus* слово *болото* интерпретируется и И. Голубом (SSE, стр. 15).

В следующем замечании — по слову *бородавка* — рецензент говорит: «Вознодится через **bordava* к **borda* „борода“». Правильнее видеть здесь контаминацию **vordava* (это слово О. Н. Трубачевым не считается „беспочвенной фикцией“, как видно, потому, что оно реконструируется не нами, а им) с **borda*. Даже если то, что утверждается О. Н. Трубачевым в след за Махком, действительно, является более правильным (мы бы сказали скорее — более точным), то что же в нашей словарной статье по этому слову порочного? Как слово, родственное слову *борода* (также без указания на скрещение двух разнокорневых слов), существительное *бородавка* толкуется Бернекером (SEW, I, стр. 73), Преображенским (ЭС, стр. 37), Фасмером (REW, I, стр. 109), Брюкнером (B. SEJP, стр. 40—41) и др. Думаем, что мы в своем научно-популярном словаре для учителя вполне могли идти за ними. Контаминацию **borda* и **vordava* в слове *бородавка* надо еще доказать (как и существование, а не иллюзорность **vordava*), родство же слов *борода* и *бородавка* — факт несомненный.

Замечание о слове *бурун* также выглядит странным и не может быть принято. Есть несколько «*бурунов*», и *бурун* «прибой» (а именно это слово как единственно литературное и общеупотребительное среди четырех омонимов нами в словаре объясняется) правильно относится и Преображенским (ЭС, стр. 154), и Фасмером (REW, I, стр. 150) к *бурлить*, *буркать*: им мы в изложении этимологии этого слова и следовали. Что же касается тюрк. *biḡil* «нос», то оно привело к появлению диал. *бурун* того же значения (см. ТС, I, стр. 144; см. также REW, I, стр. 150).

Объясняя происхождение слова *вазелин* в русском языке, авторы опирались на указания академического «Словаря современного русского литературного языка» (II, стр. 26) и «Этимологического словаря чешского языка» И. Голуба и Ф. Копечного¹⁵.

О слове *вика* рецензент пишет: «Объясняется ошибочно как общеславянское индоевропейского характера... В действительности это слово заимствовано через

польский из др.-в.-нем. *wiccha* от лат. *vicia*. Принимая — как совершенно несомненное и единственное — объяснение, отмечаемое уже Преображенским, О. Н. Трубачев совершенно игнорирует в данном случае другой путь, Преображенским, между прочим, вполне допускаемый [ср.: «Впрочем, м. б., и слав. *ви-ка* исконно инде.» (ЭС, I, стр. 83)]. Кстати, «восстанавливаемое» О. Н. Трубачевым *вица* (отношения *вика* — *вица* могут быть подобными отношениям *черника* — *черница*, *голубика* — *голубица* и т. д.) является реальным словом, в русских диалектах еще известным (см. ТС, I, стр. 209). Так же как исконное слово, представляющее дериват от *вити*, объясняет существительное *вика* (*vikev*) и И. Голуб: «*vikev... rus. vika, pol. wyka, нѣм. Wicke, lat. vicia; asi k viti (rostl. popinava, ie *ceŭ-k-)*» (SSE, стр. 330).

Объяснение слова *винтовка* объявляется несколько упрощенным и прямолинейным, однако неясно, в чем рецензент это усматривает. Если он думает о заимствовании этого слова из украинского или польского языка в XVIII в. (видимо, с этой целью приводятся староукр. *гвинтовка* 1790 г., польск. *gwinówka* XVIII в.), то едва ли это так: слово *винтовка* в русском языке было известно раньше — уже в XVII в.¹⁶

В словарной статье о существительном *деревня* авторы сочли возможным присоединиться к той этимологии этого слова, которая выдвигалась в свое время Миклошичем¹⁷, Брюкнером (B. SEJP, стр. 87) и другими, хотя изложили для читателя также и другое объяснение. Аналогичная этимология слова *деревня* в недавнее время была поддержана Л. А. Булаховским¹⁸. Доказательства, которыми оперирует О. Н. Трубачев, отвергая непосредственные структурно-генетические связи слов *деревя* и *деревня*, вовсе не являются таковыми, так как сами по себе требуют аргументации. Говоря о втором полногласии в слове *деревня*, О. Н. Трубачев восстанавливает более раннюю форму этого слова в виде *дървьня* < *дървьна*. Как видно, это заимствовано у Фасмера (REW, I, стр. 341). Однако не совсем ясно, чем руководствовался Фасмер, приводя подобные формы. Делаемая им ссылка на С. П. Обнорского¹⁹ не совсем понятна, ибо

¹⁵ В документах 1661 г. (см. «Акты Московского государства...», под ред. Д. Я. Самоквасова, III, СПб., 1901, стр. 408). См. также П. Я. Черных, Очерк русской исторической лексикологии, стр. 221.

¹⁷ Fr. Miklosich, Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen, Wien, 1886, стр. 42 (далее — EW).

¹⁸ См. Л. А. Булаховский, Деэтимологизация в русском языке, «Труды Ин-та русского языка [АН СССР]», I, М.—Л., 1949, стр. 155.

¹⁹ См. С. Обнорский, [рец. на кн.:] К. Н. Meyer, Historische Grammatik der russischen Sprache, ИОРЯС, XXX (1925), 1926, стр. 483.

¹⁵ J. Holub, Fr. Korejšný, Etymologický slovník jazyka českého, Praha, 1952, стр. 408 (далее — ESJČ).

С. П. Обнорский восстанавливает форму **derwyna*, р. мн. ч. *derwylъ*, т. е. с исконным *ъ*, а не с *ь*. И здесь, как во многих других случаях, рецензент вновь обнаруживает незнание литературы вопроса и пренебрежительное отношение к мнению многих известных славистов, принадлежащих к инакомыслящим.

В замечании о слове *добрый* («если верить словарю, оно «образовано от *доба**») рецензент упрекает нас в искажении хронологической перспективы, так как он считает это слово индоевропеизмом, однако последнее надо еще доказать. Во всяком случае и Фасмер (REW, I, стр. 356: zu *доба*, *доблестъ*), и Преображенский (ЭС, I, стр. 187: *к доба*, *доблий*) при объяснении этого прилагательного отсылают читателя прежде всего к слову *доба*. Ср. также у Брюкнера: «Prasłowo, Przyrostkiem *-rod dob-*». (В. SEJP, стр. 92). Приводя и.-е. **dhabhro-*, О. Н. Трубачев делает элементарную ошибку, объединяя лат. *faber*, арм. *darbin*, действительно продолжающие и.-е. **dhabhro*, и др.-в.-нем. *tapfar*, продолжающее и.-е. **dhabro-* (см. REW, I, стр. 356).

В замечании о слове *желоб* О. Н. Трубачев говорит, что это существительное следует отделять от диал. *голбец* «подполье, могильный памятник, чула». Однако родство *желоб* и *голбец* и, как нам кажется, не без оснований, признавал уже Ильинский (РФВ, LXXVIII, 3—4, 1917, стр. 198); ср. также у Фасмера (REW, I, стр. 429, 285). В замечании о слове *жидкий* это прилагательное уверенно толкуется О. Н. Трубачевым с привлечением запретной для нас «реконструкции илюзорных слов» как продолжение и.-е. **gheidh-!*/**ghoidh-* или (!?) **geidh-*, хотя никаких убедительных доказательств в пользу поддерживаемого толкования он не приводит (арм. *gē* «сырой» сюда может и не относиться), как не указывает, между прочим, и никаких аргументов (кроме приведенных «беспочвенных фикций») против сближения *жидкий* с *жить*.

В словарной статье о слове *жимолость* в КЭС читателю об этом существительном сообщается не только собственная этимология авторов, но и этимология Преображенского. Между прочим, рецензент напрасно думает, что при построении новой этимологии авторы игнорируют другие славянские формы (ср. не только польск. диал. *zimoliza*, но и чеш. *zimolez*); как раз напротив: они от них отталкивались.

Сербскохорв. *журба* значит не только «поспешность, торопливость», как думает рецензент, но и «теснота, давка» («Словарь русского языка, сост. Вторым отд-нием Имп. Акад. наук», II, 2, СПб., 1898, стр. 625).

В замечании о слове *забор* О. Н. Трубачев пишет: «Единственно приемлемое толкование из *за-братъ*. Предлагаемое Н. М. Шанским сближение с **zabortii* и далее — *бороть(ся)* неправдоподобно». Не будем упрекать О. Н. Трубачева в том, что, оказывается, «этимология не стала его плотью и кровью», а его заключение возникает,

«как если бы никакой литературы по этимологии вовсе не существует», как это он делает по отношению к нам; попросим только читателей посмотреть в «известный своей надежностью» «Этимологический словарь русского языка» А. Преображенского (ЭС, I, стр. 38). Там мы прочтем: «*бороть: борю, борешь; обыкн. бороться*... Сюда же *забор*». Н. М. Шанский не собирается присваивать себе приоритет в сближении слов *забор* и *бороть(ся)*, однако он, действительно, считает высказанное некогда мнение Преображенского единственно правильным и, напротив, уверен в абсолютной ошибочности сближения слов *забор* с *забратъ*. Тем более, что такое же мнение высказывается также Брюкнером (В. SEJP стр. 36) и известным специалистом по индоевропейской этимологии Ю. Покорным²⁰.

Относительно слова *идиот* в нашей работе О. Н. Трубачев делает такое замечание: «греч. *ἰδιώτης* означало «частнолицо, мирянин», а не «невежда, неуч». Однако достаточно взглянуть в древнегреческо-русский словарь, чтобы убедиться, что в нем указываются также значения «несведущий человек; ...несведущий, непрофессиональный, неученный»²¹. В объяснении слова *калитка* авторы не высказывают своего мнения (ср. их слова: «Общепринятой этимологии не имеет. Предполагают, что слово образовано как уменьшительно-ласкательное производное с помощью суффикса *-ка* от *калита* «сума, мешок»... Однако путь развития значения от *калита* к совр. *калитка* не ясен»), а лишь знакомят читателя с наиболее распространенной этимологией Бернекера (SEW, I, стр. 474). Ошибочность этимологии Бернекера и, напротив, правильность этимологии Фасмера надо еще доказать.

В объяснении слова *калитъ* авторы сочли возможным следовать за Горяевым, Бернекером, Вальде-Гофманом, Фасмером, Преображенским и др., которые, по мнению О. Н. Трубачева, «ошибочно» сближают *калитъ* с лат. *calor* «тепло», литов. *šilti* «нагреваться». Сближение с *кал* (ср. эту этимологию в ESJC, стр. 160) показалось нам менее убедительным.

При объяснении слова *конопатить* мы привалял этимологию Д. К. Зеленина, развитую им в рецензии на книгу Мейлена о голландских элементах в русской морской терминологии (см. РФВ, LXIII, 2, 1910, стр. 407—409). Д. К. Зелениным было высказано и серьезно аргументировано мнение о происхождении слова *конопатить* именно от прилагательного *конопатый*. Между прочим, сочувственно эта этимология приводилась и Преображенским (ЭС, I, стр. 346). См. подобное объяснение в «Словаре русского языка, сост. Вторым отд-нием Имп. Акад. наук» (IV,

²⁰ J. Pokorny, Indogermanisches etymologisches Wörterbuch, Lief. 2, Bern, 1949, стр. 135.

²¹ См. И. Х. Дворецкий, Древнегреческо-русский словарь, I, М., 1958, стр. 811.

6, СПб., 1912, стр. 1851): «от прилагательного *конопатый*, б. м. не без некоторого влияния со стороны греч. *καλαφαίω*».

Наиболее вероятное для рецензента объяснение *коваль* как производного от *ковать* (оно указывается в словаре Фасмера) было отброшено авторами по семантическим и лингво-географическим основаниям. Такое решение, между прочим, было принято в свое время и Преображенским (ср.: «Гораздо вероятнее, заимств. из тюрк.», ЭС, I, стр. 280).

Никак нельзя согласиться с рецензентом, считающим связь слов *кочерыжка* и *кочерга* прямыми и непосредственными: для всех, кто серьезно занимается русским словообразованием, ясно, что эти два родственных слова находятся по отношению друг к другу в более сложных и отдаленных связях. Именно это авторы и хотели показать в словарной статье по существенно *кочерыжка*. По поводу слова *кружка* О. Н. Трубачев отмечает лишь следующее: «Кружка. Нем. *Krug* значит не „кружка“, а „кувшин“». Между тем это немецкое слово значит и «кружка», и «кувшин» (см. хотя бы перевод нем. *Krug* в «Немецко-русском словаре» под ред. А. А. Лепинга и Н. П. Страховой, М., 1958, стр. 700).

Польск. *lanysz* (с вместо s — опечатка) в словаре объясняется из *lanie uszko*, поэтому замечание рецензента по данному слову просто странно. Если он хочет сказать, что русск. *ландыш* является заимствованием из польского языка, то где его доказательства (ведь объявление в нашем слове *д* паразитическим ничего не объясняет, даже появление в нем этого самого звука). Упреки непонятны и совершенно неоправданные тем более, что в нашем словаре даются обе этимологии. Сближение *ледащий* «тощий» с *лядеть* объявляется рецензентом «элементарно ошибочным», причем не замечается даже, что объясняется в нашем словаре не слово *ледащий* «нечистый, плохой; черт» (действительно, связываемые с инославянскими формами вроде укр. *леда-это* «всякий», польск. *ladaco* «небрежно, худо», чеш. *leďajak* «кое-как» и т. д.), а слово *ледащий* в значении «тощий» (ср. *худющий, пропащий* и т. п.)²². Взаимоотношение *лиса* (от *лисъ*) и диал. *лисий* для нас не кажется — без специальных разысканий — таким очевидным и простым, каким оно предстает для О. Н. Трубачева; словообразовательный характер прилагательного *лисий*, имеющего непроизводную основу, позволяет предположить здесь и обратный путь (животное названо по цвету шерсти, а не наоборот; ср. *белка, чернобурка, русак* и т. п.).

Слово *ложка* объясняется нами как существительное, связанное чередованием с диал. *лузик* того же значения, вслед

за Потебней (см. РФВ, I, 1, 1879, стр. 76), правда, с корнем **luz-*, **lъz-*, а не с **lug-*, **lъg-* **lyg-*. Что касается «элементарных сведений о происхождении *ложка* из **lug-*, **loug*, «ломать»..., которые были бы (по мнению О. Н. Трубачева) «читателю не бесполезны», то мы их не дали в словаре потому, что это предположение, высказываемое и Фасмером, кажется нам неубедительным. В свете выдвигаемого нами объяснения (с корнем **luz-*, **lъz-*), слово *ложка* более заманчиво было бы сблизить с глаголом *лизать* (**lъzati*), что как возможное допущал и Преображенский (ЭС, I, стр. 465).

Рецензент напрасно приписывает нам одинаковое отношение к двум этимологиям слова *мамонт* в русском языке: формулировки соответствующей словарной статьи ясно говорят о том, что вторая нам кажется предпочтительней. Если бы рассматриваемая статья была простым пересказом соответствующего места словаря Фасмера, мы не указывали бы на греческий язык как на непосредственный источник заимствования. Во всяком случае ранняя фиксация слова *мамонт* в разных фонетических вариантах в русском языке заставляет сильно сомневаться в его восточном происхождении.

Авторам известно, что «скр. *-tt-* соответствует *-st-* иранских, славянских, балтийских и греческого языков»²³. Однако *места* получено все же из **metti* в результате действия закона открытых слогов [ср. у Л. П. Якубинского в «Истории древнерусского языка» (М., 1953, стр. 124): «Звуковое изменение *mtt* > *st* связано с законом открытых слогов». «Таким же образом получалось *мести* < *метти* при *мету* и др.». См. также у С. Б. Бернштейна в «Очерке сравнительной грамматики славянских языков» (М., 1961, стр. 131); на стр. 188—189 он пишет: «Высказывалось предположение, что сочетание [st] возникло на месте [tt] в очень древний период, может быть, еще в дославянский... Однако есть все основания полагать, что в данном случае мы имеем дело с параллельным и независимым процессом в отдельных индоевропейских языках»].

«Неправдоподобное» сближение, по мнению рецензента, слова *мыс* с *мыкать* допущал уже Преображенский (ЭС, I, стр. 574). Что же касается фонетической стороны дела (*ks* > *s*, а не в *x*), то следует иметь в виду как имеющиеся перебои в изменении *s* > *x* после *i, u, r, k*, так и сравнительно поздний, по нашему мнению, характер этимологизируемого деривата. Кстати, такого же рода фонетическое явление мы наблюдаем, например, в слове *тес*, связи которого с и.-е. **teks-* никем, кажется, не оспариваются (см. у В. И. Георгиева: «Русское *тес*, чешское *tes* и т. д. из **tek-s-o*»²⁴). Заметим также, что эти-

²² Ср. *заядащий* от *заядеть* в I томе «Краткого ярославского-юблостного словаря» Г. Г. Мельниченко (Ярославль, 1960, стр. 72. См. там же, стр. 107: *лядель* от *лядеть*).

²³ См. А. Мейс, Общеславянский язык, стр. 108.

²⁴ В. И. Георгиев, Исследования по сравнительно-историческому языкознанию, М., 1958, стр. 49.

мологию слова *мыс* мы даем читателю как возможное, но отнюдь не несомненное решение (словарная статья начинается со слов: «исконно русское неясного происхождения»).

В замечании о слове *накупиться* рецензент без каких-либо доказательств отвергает нашу этимологию этого слова, хотя диалектные данные несомненно говорят в ее пользу (ср. *супость* «гнев, злоба», *супрун* «угрюмый человек» и т. д.). Поддерживаемое Фасмером (в замечании рецензента пересказывается соответствующее место словаря Фасмера) сближение глагола *накупиться* с **zorpъ* «коршун» кажется нам по семантическим основаниям менее убедительным; что же касается соотношений между *петухъ* — *петушиться*, то они носят совершенно иной характер (ср. *крыса* — *окрыситься*).

В замечании о слове *ночь* О. Н. Трубачев упрекает нас в неправильном переводе хет. *nekiz* (ср.: «хет. *nekiz* означает „вечер“, а не „ночь“»), однако этот упрек (если бы он был справедливым) ему следовало бы адресовать Н. Д. Андрееву, переводившему «Индоевропейское именное словообразование» Э. Бенвениста (М., 1955, стр. 207), за которым мы последовали, как нам кажется, совершенно правильно.

В замечании по слову *обиняк* О. Н. Трубачев приписывает нам объяснение этого слова из *обинуться*, хотя соответствующее существительное трактуется нами как суффиксальное производное от *оби* того же значения, представляющего собой отглагольное образование от *обинуться*. Что касается последнего, то оно несомненно является дериватом от *оби* «вокруг, около, об» (по не предлога-приставки, а наречия) и уникальным образованием не является [ср. диал. *околить* «говорить обиняками, ездить, ходить околицей», *околять* «обходить кругом», *кружать* «шугая кружиться около одного места» (ТС, II, стр. 665, 231), литерат. (*приближить* и т. п.)].

Слово *обормот* действительно является очень трудным для объяснения. В нашем словаре мы с оговоркой («вероятно») изложили то, что считаем наиболее удачным из имеющегося в литературе также и Фасмер (REW, II, стр. 243). Высказываемое рецензентом мнение о связи *обормот* с *бормот* [кстати, не исчезнувшим, как думает наш рецензент, а реально существующим (см. ТС, I, стр. 115; ср. также др.-русск. *бърбѣтъ* и т. п.)] требует дополнительной аргументации. Подобность слова *обормот* слову *оболтус* (рецензент, не сообщая об этом читателю, принимает нашу этимологию слова *оболтус*) в словообразовательном отношении несомненна, однако одновременно налицо и их акцентологические расхождения.

Замечание по слову *орало* просто лишнее, поэтому непонятно даже, чем оно вызвано. Рецензент пишет: «Непосредственно из праслав. **ordlo* было получено *рало*». Но ведь в этой словарной статье этимологизируется не *рало*, а *орало*, поэтому

рецензенту следовало бы обратиться к другому месту нашего словаря (см. РЭС, стр. 284, где об этом говорится — под словом *рамай* потому, что *рало* как архаизм отдельно не объясняется). Что же касается *орало*, то оно правильно объясняется как производное от *орати* «пахать». Странно, как рецензент не заметил в конце этой словарной статьи ссылку: «см. *рамай*».

По поводу слова *пекло* рецензент пишет: «Литовск. *pikis* „смола“ заимствовано из немецкого и должно быть исключено из числа родственных форм». Мы «завидуем» нашему рецензенту, обладающему, очевидно, новыми и совершенно неопровержимыми доказательствами немецкого происхождения этого слова в литовском языке. Исконным это слово в литовском языке считал А. Преображенский (ЭС, II, стр. 33); на необоснованность отнесения его к германизмам в недавнее время специально указывал В. Махек (ESJCS, стр. 360).

Замечание рецензента о слове *переборка* является неверным, поскольку словообразовательные связи и семантика соответствующего слова в живом народном языке свидетельствуют о его несомненном родстве с существительным *забор*. Ср. диал. *заборка* «перегородка в избе, комнате» («Словарь русского языка, сост. Вторым отд-нием Имп. Акад. наук», II, 3, 1899, стр. 709), *заборовка* «то же, что переборка» (там же, стр. 711), *забор* «перегородка из свай, кольев и прутьев» (там же, стр. 713) и т. д.

В замечании по слову *пестун* рецензент, характеризую это существительное как отглагольное, совершенно не учитывает фактов славянского словообразования. Как показало исследование соответствующей мочели, суффикс *-ун* в общеславянском языке имел только именное словообразовательные связи и образовывал слова лишь от имен. Что касается глагола *пестовать*, то он является отыменным (от того же *пѣсть* «пища», что и *пестун*).

Объяснение *путать* как глухого варианта *блудать* (кстати, реально существующего в южновеликорусских диалектах) нам кажется значительно более удачным, нежели старые толкования этого глагола как контаминации *путать* и *блудить* (ЭС, II, стр. 79) или *путать* и *плести* (REW, II, стр. 376).

В словарной статье по слову *подлежащее* имеется возникшая в процессе издательской корректуры опечатка. Действительно, вместо *substantivus* надо: «*subjectivus* (*sub-*, «под», *ject-*, «лежащ-», *um-*, «есть»)». Замечание рецензента по слову *подражать* принято нами быть не может. Этимологическая связь слов *подражать* и *дорога* допускалась еще Ф. Шимкевичем (см. «Корнеслов русского языка...», ч. I, СПб., 1842, стр. 65). Так это слово впоследствии как заимствование из старославянского языка объяснял и Преображенский (ЭС, I, стр. 191; под словом *дорога*: «из цсл. *подражать*»). Ср. ту же «крайне невероятную», по мнению рецензента, этимологию, которую он приписывает нам, у И. И. Срезневского: «*драга* — дорога, путь». Ср.

подражати. См. след.²⁵ Между прочим, принимаемое О. Н. Трубачевым объяснение Унбегауна, сближающего слова *подражать* и *разить*, высказывалось еще В. Далем: «по мне, от *ражать*, *разить*: *выражать*, *изображать*, *подражать*» (ТС, III, стр. 199).

Каждому здравомыслящему читателю ясно, что в словарной статье, объясняющей слово *палати*, допущена опечатка: вместо греч. надо лат., о чем свидетельствует и приводимая далее форма *palatium*, и указываемый до этого прототип («из ср.-греч. яз., в котором *palation*»).

В словарной статье по слову *снога* нет никакого «обдогого повторения устаревших этимологий», как пытается заставить читателя поверить ему рецензент. О родстве слов *снога* и *сын* говорится в предположительном плане. Выдаваемое рецензентом за современную точку зрения (причем более распространенную) представляет собой то, о чем в конце XIX в. говорил уже Бругман, а сближение слов. *снога* с **зней* «связывать» вряд ли в достаточной степени убедительно.

В замечании по словарной статье, посвященной слову *сутки*, рецензент заявляет, что *сутки* — «форма мн. числа не от *сутъкъ*, а от **спѣтъкъ* или **спѣтъка*». Как свидетельствуют показания письменных памятников, слово *сутъкъ*²⁶ (это реальное слово рецензент превращает, искажая сообщаемые нами факты, в реконструируемую «беспочвенную фикцию» в полном соответствии с образующим глаголом сохранило первоначально приставку *съ*, а не *сх* (ср. *съсѣждѣ*, *съставѣ*, *съглядѣ* и т. п.). Приводимая в словарной статье по слову *сын* форма *syn* «плод, рождение» действительно является ирландской: искажение возникло в издательстве при перепечатке на машинке (было пропущено соответствующее слово персидского языка и сокращение *ирл.*), а в корректуре, к сожалению, не было замечено.

В замечании по слову *тратить* О. Н. Трубачев говорит о том, что нами не показано непосредственное отношение этого слова к существительному *трата*. Но это, вероятно, необходимо объяснить лишь рецензенту, так как прямые словообразовательные связи этих двух слов ясны для всех, кто знает русский язык. Дальнейшее же родство слова *тратить* с глаголом *терѣть*, менее четкое и очевидное, у нас обозначено. Поэтому упрек рецензента попросту непонятен.

Совет рецензента относительно того, что в словарной статье по слову *шкура* следовало бы указать на польское происхождение формы *скура*, принять нельзя, потому что в последних исследованиях (имеем в виду прежде всего статью А. С. Львова «Шкура», в кн. «Этимологические исследования по русскому языку», III,

1961, стр. 9—14) убедительно доказывает-ся возможность изменения *скура* > *скура* на русской почве.

Исконно русское *шнырать* по своему образованию совершенно иного типа, нежели заимствованный из польского языка глагол *шпарить* (REW, III, стр. 424): о звукоподражательном характере этого глагола говорил еще Преображенский (ЭС, вып. послед., стр. 102).

Разобранные примеры замечаний рецензента по поводу отдельных этимологий слов говорят о том же, о чем ясно и определенно свидетельствуют уже его вводимые и общие замечания: 1) «рецензия» написана О. Н. Трубачевым не для того, чтобы, учитывая учебно-методический и научно-популярный характер нашего словаря, указать на имеющиеся в нем действительные недостатки (это помогло бы нам в работе по подготовке второго издания), а для того, чтобы опорочить его в глазах широкого круга читателей; 2) именно в «рецензии» О. Н. Трубачева наблюдается то «угрожающее разнообразие недостатков», которое он пытается приписать нашей работе (среди этих недостатков особенно серьезным является неосведомленность в этимологической литературе, крайне низкий уровень этимологического анализа и совершенно недобросовестное обращение с материалом). Что касается нас, то, как видит читатель, мы «ошибаемся» вместе с А. Преображенским, М. Фасмером, В. Махком, Ф. Славским, И. Голубом, Л. А. Булаховским, Ю. Покорным, А. А. Потемной, Д. К. Зелениным, П. Я. Черных, Г. А. Ильинским и др. Что же, по нашему твердому убеждению, лучше «ошибаться» с известными специалистами по русской и славянской этимологии, нежели быть «правыми» с О. Н. Трубачевым.

Мы написали все это не в защиту нашего словаря (его положительные стороны, как и определенные недостатки учителя увидит и сам: напрасно рецензент, никогда не работавший в вузе и не знающий школы, так пренебрежительно относится к «среднему читателю»), а для того, чтобы обратить внимание научной общественности на попытку возрождения О. Н. Трубачевым тех методов критики, которые абсолютно негеральды среди советских ученых.

Н. М. Шанский, Вал. В. Иванов,
Т. В. Шанская

От редакции. Публикуя в настоящем номере письма С. Г. Бархударова — редактора «Краткого этимологического словаря русского языка» и Н. М. Шанского, Вал. В. Иванова и Т. В. Шанской — авторов этого словаря, редакция просит читателей журнала при чтении этих писем учитывать следующее.

В своей рецензии на «Краткий этимологический словарь русского языка» (ВЯ, 1961, 5) О. Н. Трубачев правильно, как полагает редакция, указал на ряд несомненных (далеко не всех) ошибок в фактическом материале словаря и вполне обоснованно отметил некоторые случаи спорных и сомнительных этимологий. Вместе с тем в своей критике работы Н. М. Шан-

²⁵ И. И. Срезневский, Материалы для словаря древнерусского языка, I, СПб., 1893, стр. 719.

²⁶ См. И. И. Срезневский, указ. соч., III, 1912, стр. 852.

ского, Вал. В. Иванова и Т. В. Шанской О. Н. Трубачев в некоторых местах допустил тон и оценки, несколько выходящие за рамки необходимых норм научной полемики. Редакция, к сожалению, своевременно не попросила О. Н. Трубачева устранить из его рецензии все, что могло вызвать такое впечатление. Это является недосмотром редакции — тем более при-скорбным, что сохранение в напечатанной рецензии указанных мест сделало возможным появление соответствующих отзвуків и в ответе авторов словаря. Редакция не сочла себя вправе — при такой ситуации — менять форму, содержание и объем ответа и печатает письмо авторов словаря в том виде, в котором оно получено, но это отнюдь не означает, что редакция относится к тону и выражениям, встречающимся в некоторых местах ответа, иначе, чем к сходным местам рецензии.

Касаясь фактического материала словаря и вытекающего отсюда научного значения работы, редакция считает нужным подчеркнуть одну сторону этого вопроса. «Краткий этимологический словарь русского языка» отнесен его авторами к ряду научно-популярных работ. Редакция полагает, что особенности этого научного жанра лежат главным образом в области масштабов разбираемых вопросов и их разработки, манеры изложения и общего научного оформления и никак не относятся к области точности и обоснованности предлагаемых научных положений и способов передачи их конечных результатов. Скорее, наоборот, если в специальной работе, рассчитанной на узкий круг читателей, может быть вполне уместно выдвижение открыто спорных положений при умолчании об общеизвестных фактах, то в работе, обращенной к обширному кругу читателей, в том числе и неспециалистов, научная точность, последовательность и строгая обоснованность выдвигаемых положений особенно необходимы. Как явствует из опубликованных рецензии и писем, с этой мыслью согласны и С. Г. Бархударов, и О. Н. Трубачев, и Н. М. Шанский, и Вал. В. Иванов, и Т. В. Шанская.

В целях правильной информации широкого читателя по конкретному материалу, затронутому в ответном письме, редакция считает своим долгом указать на некоторые неточности и сделать разъяснения по отдельным словам, которые станут ясными в полной мере при сравнении с соответствующими местами рецензии и авторского письма в редакцию.

Апрель. Переход *-иль* > *-ель* остался без объяснения [*априль* > *апрль* > *апрель*: ст.-слав. > др.-русск. новгородск. (и воспринято как рефлекс *ѣ*) > московск. > соврем. русское].

Батог. Слово зафиксировано в памятниках старославянского языка исключительно моравской (западнотславянской) редакции (SJS, стр. 70; см. также стр. LXXIII). Славский указывает на отсутствие этого слова в южнославянских языках (SEJP, стр. 28).

Болото. При рассмотрении этого слова Фасмер не приводит лат. *palus* «болото», а привлекает сев.-итал. *patta*, ломб. *patta*, пьемонт. *paufa* для доказательства иллирийского происхождения алб. *bal'ie* (REW, I, 104). Преображенский (ЭС, I, стр. 35) в статье *болото* приводит лат. *palus* с отсылкой на Вальде, который возводит лат. *palus* к индоевропейскому корню **pel* и отмечает: «также неверно предполагать, что начальный звук в старослав. *blato*, литов. *balà*, др.-в.-нем. *pfuol*, англосакс. *pōl* восходит к и.-е. **pel*» (LEW, стр. 557).

Брюхо. Слово *брюхо* (с суффиксальным образованием *-хо*) в южнославянских языках не зафиксировано. Нет его и в старославянских памятниках (см. словарь Миклошича, Востокова, Садника и Айдечмюллера, пражский SJS). У Голуба (SSE, стр. 23) в первом издании дано слово *brjuchъ* с пометой *sts*, очевидно, ошибочно и устранено во втором издании (совместном с Копечным).

Вика. Русск. диал. *вица* означает не «Vicia», а «розга, хворостина». В качестве отдельных слов *вика* и *вица* даются Далем, Преображенским (ЭС, I, стр. 83, 86), Фасмером (REW, I, стр. 199, 207). Голуб во втором издании своего словаря (совместно с Копечным) отмечает: *Vike*. «Старое заимствование из др.-нем. *wicka* (совр. *Wicke*), из лат. *vicia*» (ESJC, стр. 416).

Горшок. Фасмер и Бернекер не говорят о чередовании *н/ш*, а лишь о взаимосвязанных словообразовательных моделях типа: *камень* : *камешек*; *олень* : *олешек*, *баран* : *барашек*. Винокур говорит (стр. 433), что здесь наблюдается либо «своеобразие» (подчеркнуто нами. — *Ред.*), чередование звуков *н — ш*, ограниченное вполне ясными условиями, либо «варианты суффикса *-ок* и *-шок* и одновременно варианты основ *баран* — *бара*». «Сущность дела, — отмечает Винокур, — и здесь может быть выражена формулой *~ н/шок*, а это только и важно».

Добрый. Отсылка на слово *доба* у Фасмера (REW, I, стр. 356) не означает, что *добрый* — производное от *доба*. Это лишь указание на общность корня **dob-*. То же см. у Преображенского (ЭС, I, 187), Бернекера (SEW, стр. 204, 205), Брюкнера (B.SEJP, стр. 92).

Желоб. Под словом *голубец* Фасмер пишет: «следует отклонить мысль Ильинского о родстве с *желоб*» (REW, I, стр. 285).

Калить. Сближение Горяева с лат. *calère* «быть горячим, пылать» (ср. *calor* «тепло») (ЭС, стр. 129), по мнению Фасмера, «должно быть решительно отвергнуто» (REW, I, стр. 510). Преображенский после материала Горяева дает заключение: «неверно» (ЭС, I, стр. 286). Бернекер под вопросом сопоставляет *калить* с лат. *callere* «становиться твердым, зачерстветь, закоряветь» (SEW, стр. 476). Это сопоставление принимают и Вальде (WEW, стр. 112), и Преображенский (ЭС, I, стр. 286), и Фасмер (REW, I, стр. 510).

Пекло. Литовское *pikis* «смола» Преображенский не отмечает как исконное

(ЭС, II, стр. 33). На заимствование из среднениемецкого указывают Траутман (BSW, стр. 217), Мюленбах — Эндзелин (LVV, III, стр. 214) и Френкель (LEW, стр. 589).

Пестун. Нам неизвестно исследование, показывающее, что суффикс *-ун* в общеславянском языке имел только именные словообразовательные связи и образовывал слова лишь от имен (ср. русск. *реву́н, агун, прыгу́н, лазу́н, полазу́н, грызу́н, плаку́н, скаку́н, таску́н, пачку́н, шалу́н, колу́н* и др.).

Сутки. Исходной формой было **spǫtkъ*, а не *сътъкъ*, на что указывает чеш. *soutka*, польск. топоним. *Sątok*. Форма *сътъкъ* в словаре Срезневского приведена из Иоанна экзарха Болгарского по списку быв. Московской синодальной библиотеки, в основе которого лежит болгарский список. В большинстве болгарских диалектов *o* и *ъ* совпали в одном звуке *ъ*, что нашло отражение и в памятниках.

Сын. В статье к слову *сын* в КЭС указанный корректурный пропуск возможен. Но он невозможен в статье к слову *толк*, так как к нему нет «персидского» соответствия («персидский» — совр. персидский, ср.-персидский, др.-персидский?).

К числу спорных вопросов можно отнести различное толкование этимологических и словообразовательных связей. Безусловно, возможно расхождение во взглядах по поводу того или иного слова, однако едва ли в популярном пособии целесообразно, с одной стороны, игнорировать общепринятые этимологии (например, исконное разграничение для *жидкий* и *жить*, восходящих к разным индоевропейским корням **gheidh-* и **gwei(u)*, и, с другой, оставлять без внимания новую литературу вопроса, дающую уточнения и иные более обоснованные толкования (например *вазелин*; см. M. Ve u, BSLP, XLVIII, 2, 1952, стр. 106).

Едва ли такие слова, как «*белесый, белорыбица, белуга, поцелуй, чертеж*», можно считать словами, входящими в регулярные словообразовательные модели (см. раздел «Как пользоваться словарем», КЭС, стр. 17), тем более что в КЭС дается объяснение слов *рубеж* (от *рубити*), *пятый* (от *пять*), *четыре* (от *четыре*) и т. п.

Весьма спорны пометы «общеславянское», «восточнославянское», «собственно русское» для ряда слов, не говоря вообще о трудности этого вопроса в целом. Это ясно даже из небольшого числа примеров, довольно произвольно изранных рецензентом. Если признать параллельность образований *надоедать* и *dojedat* в русском и словацком языках (на основании какого критерия?), то нужно принять возможность параллельного образования русск. *брюхо* и болг. диал. *брюж* (ср. семантическое расхождение), тем более что их словообразовательные модели различны (см. изолированность русского суффиксального образования с *-хо*). А как объяснить при наличии слова *мотыль* во всех славянских языках помету «собственно русское»? Или «собственно русское» *разговор* при наличии этого слова в болгарском и сербском языках? Или «собственно русское» *сказка* при его наличии в болгарском языке? Если отклонить частный словообразовательный критерий, как в случае с *брюхо*, и ввести корневой (что более целесообразно, и здесь в конкретном случае О. Н. Трубачев окажется неправым), то можно ли отмечать *дурной* как «общеславянское» и *дурь* как «собственно русское»? (здесь также, основываясь на корневом критерии, следует признать неправым и О. Н. Трубачева).

О справедливости или степени необоснованности остальных замечаний рецензента и ответных возражений авторов «Краткого этимологического словаря русского языка» читатель легко сможет судить сам при их сопоставлении.

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ОТДЕЛЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ И ЯЗЫКА АН СССР

17 ноября 1961 г. состоялось общее собрание Отделения литературы и языка АН СССР. С докладом «Решения XXII съезда КПСС и задачи филологической науки» выступил академик-секретарь Отделения акад. В. В. Виноградов. В своем докладе В. В. Виноградов подчеркнул, что XXII съезд Коммунистической партии Советского Союза вошел в историю движения стран социализма по пути к коммунизму как яркий путеводный маяк. Новая Программа КПСС, одобренная Съездом, — это программа реального претворения в жизнь заветов Маркса и Ленина. В Программе выдвинуты конкретно-исторические задачи, стоящие перед советским народом в период построения коммунизма, и указаны важнейшие пути развития советской науки на ближайшие десятилетия. Далее докладчик привел ряд положений из программы КПСС и выступлений некоторых делегатов XXII съезда КПСС, имеющих решающее значение для дальнейшего развития советской филологической науки.

В решениях XXII съезда КПСС подчеркивалось все более возрастающее значение общественных наук. Программа КПСС ставит перед всеми отраслями общественных наук ряд новых проблем, для решения которых требуется глубокое изучение и теоретическое обобщение коренных изменений и новых явлений в соответствующих областях общественной жизни. Новые задачи выдвигаются и в области марксистской теории литературы и теории языка, в области идейного и эстетического воспитания человека коммунистического общества. В докладе была дана характеристика научных направлений, которые определились в институтах ОЛЯ в период подготовки к XXII съезду КПСС и в процессе ознакомления с Программой КПСС и документами XXII съезда КПСС.

В институтах Отделения были рассмотрены планы научно-исследовательской деятельности: исключены мало актуальные темы и выдвинуты темы, приближающие деятельность институтов ОЛЯ к потребностям современного культурного строительства в стране и задачам идейно-эстетического воспитания советского народа. Такими новыми темами по Институту языкознания являются: математическое моделирова-

ние языка поданным речи, вопросы изучения синтаксиса структурными методами, статистические методы изучения лексики, фонема и морфема, методика их анализа и классификация, принципы и методы описания современного языка и т. д.; по Институту русского языка — создание этимологического словаря славянских языков, академического курса русской диалектологии, изучение значения языка Пушкина и его роли в создании стилистической системы русского литературного языка первой половины XIX в., ремесленной терминологии в славянских языках, состава праславянского языка и т. д.

Докладчик остановился на новых формах работы институтов Академии наук СССР. В связи с образованием Государственного комитета по координации научно-исследовательских работ в стране, который плодотворно занимается определением важнейших научно-технических проблем для концентрации на них усилий ученых всей страны, возникла необходимость создания научных советов. Научные советы должны объединять и координировать творческую работу разнообразных научных коллективов по различным теоретическим проблемам естественных и общественных наук, должны осуществлять научно-методическое руководство в работе высших учебных заведений. В Академии наук СССР пока создано 27 таких научных советов, среди них 2 — по Отделению литературы и языка: по литературоведческим проблемам создан научный совет «Закономерности развития мировой литературы в современную эпоху», возглавляемый И. И. Анисимовым, и по языковедческим проблемам — научный совет «Закономерности развития национальных языков в связи с развитием социалистических наций», возглавляемый В. В. Виноградовым.

Советские языковеды, сказал В. В. Виноградов, исходя из основных задач строительства коммунизма, должны уделить особое внимание изучению закономерностей развития языков народов СССР, закономерностей взаимодействия этих языков в современную эпоху, которая характеризуется бурным развитием и обогащением литературных языков народов СССР.

Докладчик ознакомил общее собрание с новыми задачами изучения русского языка. Русский язык как язык межнационального общения имеет огромное влияние на языки народов СССР. Но, к сожалению, в Институте русского языка недостаточно ведется работа над некоторыми актуальными проблемами развития русского языка. Так, мало продуктивно разрабатывается тема «Русский язык и советское общество», недостаточно изучаются процессы взаимодействия диалектов, сближения их с литературным языком. Докладчик считает неправильной установившуюся традицию долгого сбора языковедческого материала: сбор материала должен одновременно сопровождаться его осмыслением и реальными обобщениями.

Далее докладчик осветил важнейшие задачи, стоящие перед языковедческим научным советом. В области изучения русского языка ими являются: изучение места и роли русского языка в общем процессе развития языков народов СССР; изучение отвлеченной лексики, интернациональной терминологии, бытовой речи, организация «службы языка», т. е. систематических наблюдений над новообразованиями в современном русском языке; всестороннее описание стилистики современного русского литературного языка; создание фразеологического и синонимического словарей русского языка; словаря языка советской поэзии; создание полной истории русского языка, включая сюда историческую фонетику, грамматику, лексикологию, фразеологию; создание полной истории русского литературного языка в донациональную эпоху и в эпоху национального развития его; исследование структур русского и славянских языков методами математической лингвистики; разрешение на новой основе проблемы связи языка и мышления и т. д.

В области славяноведения первостепенное значение приобретают проблемы изучения формирования славянских национальных языков в связи с процессом формирования наций, развития славянских национальных языков в период построения социализма и перехода от социализма к коммунизму.

В области языкознания важными являются следующие проблемы: язык как система; теоретические основы сравнительно-исторического метода в языкознании; методы изучения истории литературных языков и диалектов; совместимость структурных и неструктурных методов лингвистического анализа; объект и предмет языкознания; общая теория речевой деятельности; историзм и лингвистология в языкознании и т. д.

Из всего обилия этих новых тем институтам Отделения нужно реализовать в научно-исследовательских работах самые актуальные. К разработке этой проблематики присоединяются и языковедческие институты Отделения исторических наук, одной из важнейших задач которых яв-

ляется изучение становления и развития современного состояния славянских национальных литературных языков и языков народов Азии.

Большое внимание докладчик уделил результатам VII координационного совещания по лексикографии, проходившего в 1961 г. в Риге¹, и подготовке к конференции, посвященной теории знака, которая состоится в Варшаве в 1962 г. Докладчик коснулся вопроса обновления и улучшения кадров институтов Отделения. Кончил свой доклад В. В. Виноградов замечательными словами Н. С. Хрущева: «коммунизм можно построить только трудом, трудом и только трудом миллионов».

С докладом «Новые задачи литературоведения» выступил член-корр. АН СССР И. И. Анисимов.

Выступая в прениях по докладу В. В. Виноградова, член-корр. АН СССР А. Н. Кононов охарактеризовал основные направления научной деятельности Ленинградского отделения Института народов Азии. Член-корр. АН СССР В. М. Жирмунский подчеркнул важность вопроса об улучшении преподавания иностранных языков в нашей стране; коснулся вопроса подготовки кадров; определил задачи, которые стоят перед марксистским сравнительно-историческим языкознанием. Докт. филол. наук С. И. Ожегов осветил те новые задачи исследования путей развития современного русского литературного языка в его новом качестве, которые стоят сейчас перед Институтом русского языка АН СССР. О вредных последствиях культа личности Сталина в области изучения советской марксистско-ленинской науки о языке говорил в своем выступлении проф. Г. П. Сердюченко. Он остановился на проблематике и направлениях советского языкознания, которые должны быть выдвинуты в ближайшее время.

В выступлениях докт. филол. наук Г. О. Ломидзе, членов-корр. АН СССР М. Б. Храпченко, Д. Д. Благого, А. С. Бушмина, А. К. Боровкова, П. Н. Беркова, проф. Я. Е. Эльсберга нашли отражение вопросы состояния задач и перспектив советского литературоведения в свете решений XXII съезда КПСС. В заключительном слове В. В. Виноградов высказал мысль о необходимости создания информационного бюллетеня по филологическим наукам, который извещал бы об основных выходящих книгах.

М. А. Бакина, Г. И. Мисьяевич
(Москва)

¹ См. хроника в следующем номере нашего журнала.

РАБОТЫ ЛЕЙПЦИГСКОЙ ГРУППЫ ТОПОНИМИСТОВ

Лейпцигская группа топонимистов, которая под руководством проф. Р. Фишера исследует славянские и немецкие топонимические названия Саксонии и Тюрингии, опубликовала до сентября 1961 г. более 150 научных работ, рецензий и сообщений в разных журналах ГДР и других стран; библиографические обзоры публиковались в серии «Berichte über die Verhandlungen der Sächsischen Akad. der Wissenschaften zu Leipzig. Philolog.-hist. Klasse» (t. CV, № 1 и t. CVI, № 5).

В серии «Deutsch-Slawische Forschungen zur Namenkunde und Siedlungsgeschichte», издаваемой проф. Т. Фрингом и проф. Р. Фишером, за 1955—1961 гг. вышло 11 томов исследований: R. Fischer, Ortsnamen der Kreise Arnstadt und Ilmenau; E. Ulbricht, Das Flußgebiet der Thüringischen Saale; H. Walther, Die Orts- und Flurnamen des Kreises Rochlitz; E. Eichler, Die Orts- und Flußnamen der Kreise Delitzsch und Eilenburg; «Leipzig Studies. Theodor Frings zum 70. Geburtstag»; E. Müller, Die Ortsnamen des Kreises Heiligenstadt; W. Schenk, Die Ortsnamen der Kreise Zwickau und Werdau; E. Eichler, E. Lea, H. Walther, Die Ortsnamen des Kreises Leipzig; L. Hoffman, Die slawischen Flurnamen des Kreises Löbau; R. Fischer, K. Elbracht, Die Ortsnamen des Kreises Rudolstadt; W. Fleischer, Namen und Mundart im Raum von Dresden. I.

В серии «Berichte über die Verhandlungen der Sächsischen Akad. der Wissenschaften zu Leipzig. Philolog.-hist. Klasse» опубликованы следующие работы по топонимии: R. Fischer, Erkenntnisse und Aufgaben der slawistischen Namenforschung (1959); R. Fischer, E. Eichler, H. Naumann, H. Walther, Leipziger namenkundliche Beiträge (Zum VII. Internat. Kongreß f. Namenforschung in Florenz) (1961).

До сентября 1961 г. дано в набор 5 работ: D. Freydank, Ortsnamen der Kreise Bitterfeld und Gräfenhainichen; H. Naumann, Die Orts- und Flurnamen der Kreise Grimma und Wurzen; A. Richter, Die Ortsnamen des Saalkreises; W. Wenzel, Die Ortsnamen des Schweinitzer Landes; W. Fleischer, Namen und Mundart im Raum von Dresden, II; G. Schlimpert, Slawische Personennamen in mittelalterlichen Quellen Deutschlands.

К печати готовится рукопись: W. Sperber, Die slawischen Flurnamen des Kreises Kamenz (Ostteil).

Заканчивается работа над следующими исследованиями: E. Crome, Die Ortsnamen des Kreises Liebenwerda; W. Fuhrmann, Die Ortsnamen des Kreises Weimar; Eichler, H. Walther, E. Die Ortsnamen des Slawengaus Daleminze; J. Heinrich, Die Ortsnamen der Kreise Görlitz und Zittau; K. Metzner, Die Ortsnamen des Kreises Merseburg; J. Müller, Die Ortsnamen des Kreises Pößneck; W. Schindhelm, Die Ortsnamen der Kreise Neuhaus und Sonneberg; J. Schultheis, Die Ortsnamen der Kreise Roßlau und Zerbst; B. Wie-

ber, Die Ortsnamen des Kreises Torgau; G. Alexander, W. Hein, Die Flurnamen des Kreises Bautzen; K. Elbracht, Die Flur- und Straßennamen von Arnstadt/Thüringen; E. Müller, Die Flurnamen des Kreises Heiligenstadt; F. Redlich, Beiträge zur Siedlungsgeschichte und Namenkunde der Niederlausitz.

Под руководством Р. Фишера сотрудники Лейпцигской группы топонимистов приступили к обобщению проделанных исследований. В своей докторской диссертации «Studien zur Frühgeschichte der slawischen Mundarten zwischen Saale und Neiße» (1961) Э. Эйхлер освещает на основе топонимики проблемы истории славянских языков — вымерших славянских диалектов на древнелужицкой территории между реками Заале и Эльба, с одной стороны, и р. Нейсе, с другой, и верхне- и нижнелужицкого языков. В свете этих исследований выдвинутое Э. Мукке деление территории между реками Эльба и Заале на верхне- и нижнелужицкую области признается необоснованным: диалекты этой территории имели в ряде случаев лишь им присущие особенности фонетики и лексики. Рассматриваются не только звуковая система, но и существующие типы названий и их географическое размещение (в качестве предварительной работы над славянским топонимическим Атласом). Другие исследования посвящены славянским топонимам района Далеминце и славянским заимствованиям в немецких наречиях. Над исследованием микро-топонимии бывшей исконной славянской территории Далеминце работает Х. Науман. Изучение этой области и соседних районов осветит связь между диалектом этой области и ее топонимикой и в первую очередь между развитием общества и заселением этой территории, особенно если учесть совместное существование немецких и славянских крестьян и влияние феодального строя на характер заселения этих районов. Кроме того, заканчивается обобщающая работа о дославянских, славянских и немецких топонимических названиях районов Плисни, Пуонцова и Тухарини (между рр. Заале и Плейсе), ранее густо заселенных славянами.

Продолжаются систематические исследования в области типологии немецких топонимических названий в северной Саксонии и в области образования германославянских названий. Х. Вальтер занимается специально обобщением топонимического материала восточной части Германии с точки зрения истории заселения этих районов. Совместно с Э. Эйхлером он заканчивает исследование топонимии бывшей славянской территории Далеминце в Саксонии. Ряд других работ посвящен прежде всего хронологии и стратиграфии топонимического материала восточной Германии в связи с отдельными периодами общественного развития и развития экономики. Дальнейшие исследования будут посвящены вопросам освоения новых зе-

мель славянами в восточной Германии. Кроме того, Х. Вальтер занимается проблемами картографии топонимического материала Саксонии в связи с освещением истории колонизации этой территории в Историческом атласе Саксонии.

НАД ЧЕМ РАБОТАЮТ УЧЕНЫЕ

1. Закачиваю работу над монографией «Очерк теории машинного перевода», посвященной в основном проблемам перевода через язык-посредник (ЯП) и статистико-комбинаторному моделированию языков. Первая глава этой книги «Общая характеристика машинного перевода» содержит разделы: а) «МП как научно-практическая задача»; б) «Два основных метода МП»; в) «Текст, язык и алгоритм»; г) «Система машинных языков»; д) «Отношение машинных языков к немашинным и проблема универсального кода науки». Вторая глава «Язык-посредник» представляет собой одну из центральных в книге; вокруг этой главы группируется ряд других глав; в нее входят разделы, отведенные анализу способов построения ЯП, словарю первой модели ЯП, ее грамматике, а также эскизу второй модели ЯП. В третьей главе, имеющей название «Символический язык машинного перевода», говорится о трех измерениях семантики, о мета-языке МП, об ортоязыковых единицах и их соотношениях, о распознавателях и преобразователях, о строениях и классификации лингвистических команд и блоков лингвистического алгоритма. Четвертая глава, именуемая «Элементы теории неподобий», рассматривает лексические неподобия сопоставляемых языков и их преодоление в алгоритме, морфологические, синтаксические, смешанные неподобия и их преодоление, алгоритмическое поле ЯП и конструирование словаря ЯП в связи с информационным языком. Предметом пятой главы «Преобразование текстов при заданных языках и алгоритмах» являются алгоритмические словари анализа и синтеза, работа отдельных блоков и блок-схема алгоритмов анализа и синтеза. В шестой главе «Построение алгоритмов при заданных текстах и языках» разбираются вопросы лексической и грамматической статистики в связи с построением специальных алгоритмических словарей и грамматик, выясняется то общее в алгоритмах, которое не зависит от ЯП, то общее в них, что обусловлено посредником, то частное, что обусловлено индивидуальностью немашинных языков, и, наконец, затрагиваются элементы алгоритмической типологии языков. Седьмая глава «Исследование языков при заданных алгоритмах и текстах» посвящена проблематике статистико-комбинаторного моделирования языка; эта глава является другой центральной главой в книге. Здесь сообщаются алгоритмы моделирования морфологии, синтаксиса, словообразования и семантики, излагается методика аппроксимационного анализа, исследуется вопрос

оживленной деятельности Лейцигской группы топонимистов находит свое выражение и в ежегодных научных конференциях.

Р. Фишер (Арнштадт, Тюрингия)

о синхронии, диахронии, таутохронии и следящих алгоритмах. Восьмую главу «Специальные аспекты машинного перевода» образуют разделы, в которых автор касается вопросов построения машины для лингвистических алгоритмов, МП устной речи, проблематики стандартности анализа и синтеза, связи между МП и информационным накоплением. Последняя, девятая глава монографии названа: «Проблемы, возникающие в связи с машинным переводом»; в эту главу вошли разделы: а) «Значение МП для общего языковедения»; б) «Возможности МП художественной литературы»; в) «МП и кибернетика»; г) «Математика, логика, язык»; д) «Информация, энтропия, язык»; е) «Пушкин против Чернышевского: в защиту лирики, творческой мысли и живых языков».

2. В содружестве с проф. Л. Р. Зиндером работаю над другой книгой: «Современные методы в языковедении». Соавторы стремятся дать студентам пособие, которое помогло бы им ориентироваться в литературе как по эффективно применяемым классическим, так и по новым методам исследования языка.

3. Программа IX Международного конгресса языковедов (состоит 27 августа — 1 сентября 1962 г. в Кембридже, США) предусматривает доклад на тему «Лингвистические аспекты перевода»; собираю материалы для этого доклада. Предварительный план доклада охватывает следующие вопросы: а) противопоставление сущности человеческого и машинного перевода (как частный случай противопоставления осмысленных и творческих операций человека сугубо формальным и заранее запрограммированным операциям машины); б) методы сопоставления разноязычных элементов и структур (для различных ярусов языка; при взаимодействии различных ярусов языка; на парадигматической и на синтагматической плоскости; при расхождении, затрагивающем одновременно обе плоскости; для сложных случаев, где сопоставление включает весь ансамбль соотношений); в) проблема инварианта и варибельности при переводе (в связи с подразделением элементов текста на обязательные и избыточные, а также в связи с построением языков-посредников и информационных языков); г) пути перехода от входных структур к выходным (статистический базис трансформационных исчислений и структурная организация их в алгоритмы перевода); д) поле языков и алгоритмическая типология языков относительно поля (использование системы переводческих отношений для исследования свойств языков).

4. К IX Международному конгрессу языковедов редакция «Word» готовит двоянный выпуск, в который должны войти работы, в совокупности дающие представление о спектре современных тенденций в языковедении; мне предложено принять участие в этом сборнике. Выбранная мною тема «Моделирование языка как средство развития лингвистической теории» включает в себя сравнение между собой теоретико-множественных, вероятностных и алгоритмических методов моделирования языка, а затем — сопоставление их с комплексным методом алгоритмического статистико-комбинаторного моделирования. Работая над этой темой, пытаюсь представить себе возможную эволюцию теории нашей науки в ближайшие десятилетия (занятие увлекательное, но весьма неблагодарное в смысле уязвимости для критики).

5. Экспериментальная лаборатория машинного перевода (Ленинградский ун-т), к коллективу которой принадлежу, после первого опыта машинного перевода через ЯП (июль 1960 г.) подготавливает почву для широких полупроизводственных экспериментов в области посреднического перевода текстов по радиоэлектронике (с постановкой этих экспериментов на машинах высокого быстродействия). Интенсивно развертывая работу в области машинного перевода, ЭЛМП начала поисковые исследования по информационному накоплению: уже второй год в содружестве с юристами разрабатывается информационный язык для некоторых отраслей права; недавно лаборатория включилась в исследования по автоматизации обработки языковой диспетчерской информации, необходимой для управления народнохозяйственными транспортными операциями. Сочетание машинного перевода с информационным накоплением представляется мне подходом, наиболее плодотворным для обеих областей кибернетической лингвистики.

6. Весной 1961 г. в Ленинградском отделе Института языкознания АН СССР была создана Группа математической лингвистики (ГМЛ ЛО ИЯ), в деятельности которой я также принимаю участие. Эта группа занята экспериментальной проверкой алгоритмов статистико-комбинаторного моделирования на материале русского и других языков. Уже получены первые положительные результаты: алгоритм моделирования (как известно, не использующий в качестве исходных данных ни лексических, ни грамматических значений) выдал парадигму первого типа — прилагательных твердого склонения в русской морфологии. Только что закончена работа, в итоге которой выделена парадигма второго русского типа — существительных мужского рода твердого склонения, намечаются положительные результаты в применении алгоритма моделирования к английскому и немецкому материалу. Дальнейшие поясны в этом направлении представляются мне чрезвычайно перспективными.

7. В середине 1962 г. планируется выход в свет второго тома «Материалов по математической лингвистике и машинному переводу» (ЭЛМП ЛГУ); в конце года предполагается выпустить первый сборник, посвященный статистико-комбинаторному моделированию (ГМЛ ЛО ИЯ). В мои обязанности входит подготовка к печати обоих этих изданий; данная работа принадлежит к числу тех, о каких говорят: last but not least.

Н. Д. Андреев (Ленинград)

С 1957 г. я вместе с А. Й. Йокки составляю этимологический словарь финского языка. В собирании материала для этого словаря я сам участвовал уже в 1934 г. На нашу долю выпали словарные статьи начиная с буквы *H*, до которой успел пойти первый автор словаря Ю. Х. Тойвонен, скончавшийся в 1956 г. Первый том этого словаря вышел уже в 1955 г., а второй, большую часть которого еще успел подготовить Ю. Х. Тойвонен, в 1958 г. Третий том, который будет содержать 1500—1600 словарных статей на буквы *П* и *Р* и объем которого предполагается около 20 печ. листов, выйдет в начале 1962 г. Имея целью создать словарь финского разговорного языка и просторечия, составители исключили из материала все общеевропейские литературные заимствования, проникшие в наш литературный язык; в словарь включено зато большое количество сравнительно новых заимствований (в восточных говорах это заимствования из русского языка, в западных диалектах — из шведского), которых наш литературный язык вовсе не знает. О распространенности таких заимствований и других сравнительно редких слов, принадлежащих говорам, в нашем труде даются обширные сведения. В отличие от большинства индоевропейских этимологических словарей в нашем словаре под корневым словом будет помещено большое количество производных от него слов. Эти слова как в финском языке, так и в финно-угорских языках имеют большое значение. Производные слова, конечно, сильно увеличивают объем словарных статей. Наш труд объемом около 1500 страниц большого формата будет закончен через 6 или 7 лет.

Кроме этого главного труда, я думаю заняться рядом вопросов из области как морфологии, так и синтаксиса падежей финно-угорских языков, а также намереваюсь дать общее изложение основ современного языкознания в форме справочника. Кроме того, собираюсь написать очерк, выходящий за пределы языкознания, о лапландском фольклоре. Надеюсь, что впоследствии мне удастся начать подготовку словаря лапландского диалекта Инари. Уже собрано около 40 тыс. словарных записей, касающихся этого чрезвычайно интересного восточно-лапландского диалекта, из которых 25 тыс. записей — мои собственные.

Э. Итконен (Хельсинки)

В последние годы я вновь обратился к ряду вопросов, интересовавших меня еще до второй мировой войны. Они касаются проблемы слова в славянских языках с точки зрения его фонологической и типологической структуры. В настоящее время под моим руководством и при моем участии ведется работа над коллективным трудом на эту тему (работа выполняется сотрудниками секции славянского языкознания БАН и членами кафедры славянского языкознания Софийского гос. университета). Собранный подробный материал после его должной систематизации и интерпретации будет корректироваться и дополняться с учетом новых задач теоретического и прикладного славянского языкознания, поскольку названный вопрос все еще остается вплоть до настоящего времени в числе нерешенных. Особенно полезными оказываются данные новых «обратных» словарей славянских языков. В целях предварительного изучения вопроса, мне кажется, можно было бы использовать некоторые результаты уже выполненных мною и изданных в печать в различных зарубежных изданиях и сборники статей на следующие темы: «Длина слова в польском, чешском, словацком и болгарском языках», «Эллипсис и энтропия в болгарском языке», «Акцентирование членной формы в болгарском языке», «Сочетаемость частей речи в болгарском языке сравнительно с другими славянскими языками», «Количественные и качественные изменения слоговых плавных *r* и *l* в польском и болгарском языках», «Звукоподражательные междометия в чешском и болгарском языках» и др.

С исследованиями структуры славянского слова связана и запланированная мною «Краткая сравнительно-историческая и типологическая грамматика славянских языков». Помимо этого, я продолжаю подготовку второго издания коллективного «Толкового словаря болгарского языка», а также редактирую другие словари, например «Словацко-болгарский словарь» БАН; в ближайшее время начну работать над публикациями к V Международному съезду славистов (София, 1963 г.), подготовка которых займет у меня много времени и сил.

Ив. Лехов (София)

Перевод с болгарского

Кафедра польского языка Вроцлавского университета, руководимая мною со дня ее основания (1945 г.), ведет регулярную научно-исследовательскую работу по трем следующим темам: 1) ономастика, особенно применительно к Силезии; 2) история польского языка, особенно применительно к Силезии; 3) изучение говоров Силезии — как в описательном, так и в историческом плане. По этим проблемам за период 1945—1960 гг. я издал свыше 70 работ (вместе с довоенными — свыше 100, не считая популярно-публицистических статей).

В разделе ономастики перечислю следующие наиболее важные мои работы:

1. По словарю географических на-

званий западной и северной Польши: «Słownik nazw geograficznych Polski zachodniej i północnej», I—II, Wrocław—Warszawa, 1951.

2. По славянской ономастике: «Onomastyka słowiańska», «Onomastica», II, 2 — 1956; III, 1 — 1957.

3. По структурно-грамматической классификации славянских географических названий: «Klasyfikacja strukturalno-gramatyczna słowiańskich nazw geograficznych» («Prace Wrocławskiego towarzystwa naukowego», ser. A, 58), 1957.

4. По этническо-языковым связям в Нейском и Немодлинском округах: «Stosunki etniczno-językowe w okręgu Nyskim i Niemodlińskim», «Rozprawy Komisji językowej [Wrocławsk. t-wa naukowego]», I, 1959.

5. По топонимистической стратиграфии: «Stratygrafia toponimiczna», «Z polskich studiów slawistycznych. Prace język. i etnogen...», Warszawa, 1958.

6. В области силезских топонимических исследований: «Śląskie studia toponomastyczne», «Rozprawy Komisji językowej [Wrocławsk. t-wa naukowego]», 1959—1960.

7. В области изучения фамилий силезцев: «Nazwiska Ślązaków», Wrocław, 1960. Из работ по истории польского языка важнейшими были:

1. Исследования по польскому языку XVI в.: «Studia nad językiem polskim XVI wieku» («Prace Wrocławskiego towarzystwa naukowego», ser. A, 20) 1949.

2. Памятники польского языка в Силезии: «Zabytki języka polskiego na Śląsku», Wrocław, 1948.

3. Мазовецкие печатные книги XVI в.: «Druki mazurskie XVI w.», Olsztyn, 1948.

4. Перечень языковых документов, относящихся к истории польского языка в Силезии: «Dzieje języka polskiego na Śląsku», Wrocław, 1948.

5. Исследование языка Флоринского псалтыря: «Psalterz Floriański a tak zwana karta medycka, czyli Świdzińskiego» («Prace Wrocławskiego towarzystwa naukowego», ser. A, 51), 1953.

6. Проблема происхождения польского литературного языка: «Problem genezy polskiego języka literackiego», «Studia staropolskie», III, Wrocław, 1956.

7. История польского языка в Силезии: «Dzieje polszczyzny śląskiej», Wrocław, 1959.

8. Язык и языковое мастерство Я. Кохановского: «Język i artyzm językowy J. Kochanowskiego», Wrocław, 1961.

9. Язык ренессанса и средневековья на основании псалтырно-библейской литературы: «Język renesansu i średniowiecza na podstawie literatury psalterzowo-biblijnej», «Odrodzenie w Polsce», III, 2, Warszawa, 1962.

Из области исторической диалектологии назову следующие работы:

1. Из исследований по истории силезского диалекта: «Z badań nad przeszłością dialektu śląskiego», I («Prace Wrocławskiego towarzystwa naukowego», ser. A, 14), 1948; J. Mayer i St. Rospond, Z badań nad przeszłością dialektu śląskiego, II (там же, 57), 1956.

2. «Księga chrztów z Łącznika 1684—1715». «Česko-polský sborník vědeckých prací», II, Praha, 1955.

3. О мазурении как явлении старого происхождения в свете старопольской графики: «Dawność mazużenia w świetle grafiki staropolskiej» («Prace językoznawcze», 15 [PAN, Komitet językoznawczy]), Wrocław, 1957.

В настоящее время работа по этим трем направлениям продолжается: составляется словарь географических названий Силезии (исторический и этимологический), подготавливается окончательная редакция словаря силезских фамилий (также исторического и этимологического), разрабатываются способы применения структурализма в славянской топонимике. Здесь будет развито высказанное на VII Международном ономастическом конгрессе (Флоренция, 1961) положение о том, что структуральный метод в этимологии названий состоит в фиксации морфотопномастической симметрии или асимметрии названия; это, в свою очередь, опирается на топонимическую типизацию, возможную благодаря стратиграфическим словообразовательным исследованиям, ценность которых автор отмечал еще на II Международном съезде славистов в Варшаве в 1934 г. Именно эти словообразовательно-стратиграфические исследования в общеславянском масштабе, оформленные

в атласы, я и подготавливаю к Международному конгрессу славистов в Софии. В то же время совместно с проф. С. Бонком мною ведется интенсивная работа над диалектным словарем Силезии (по поручению Силезского Института в Ополью). Являюсь также руководителем лексикологической группы XVI в. (по поручению Института литературных исследований).

Моя издательская работа сосредоточена сейчас на подготовке к печати «Старопольской драмы» (совместно с проф. Ю. Кржижановским; издание будет осуществлено в серии «Библиотека польских писателей») и юбилейного издания силезца В. Роздзеньского, автора поэмы «Oficina ferraria» (1612) (работа ведется по поручению Силезского института в Ополью совместно с проф. Р. Полляком; выйдет в свет в серии «Библиотека силезских писателей»).

Как руководитель кафедры польского языка Опольской высшей педагогической школы я участвую в подготовке коллективного научно-исследовательского труда по методике польского языка в начальной и средней школе; разрабатываю проблемы активизации обучения польскому языку, обучения чтению и письму в свете описательной фонетики и т. п.

Ст. Роспанд (Вроцлав)
Перевод с польского

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

IX Международный конгресс лингвистов, как сообщают его Исполнительный комитет и Секретариат, состоится под председательством Э. Хаугена с 27 по 31 августа 1962 г. в Кембридже (Масс.) — в Гарвардском ун-те и в Массачусетском технологическом институте. На конгрессе намечено проведение 5 пленарных и 12 секционных заседаний, а также ряда специальных групповых собраний. Тематика докладов и докладчики на пленарных заседаниях: «О методах внутренней реконструкции» (Е. Курилович), «Уровни лингвистического анализа» (Э. Бенвенист), «Структурная вариация в языке» (А. Мартине), «Логические основы лингвистической теории» (Н. Хомский), «Лингвистические аспекты перевода» (докладчик будет объявлен позже). На секционных собраниях (на каждом из них будут заслушаны 4 доклада) предварительно намечено обсуждение проблем по следующим областям: математическая лингвистика, фонетика и фонемика, лингвистическая география, стилистика, морфология и морфофонемика, технология и лингвистика, лингвистические изменения, проблемы синтаксиса, методы и материалы преподавания языка, международные языки, структурная семантика, язык и общество.

Доклады, которые не могут быть прочитаны на секционных заседаниях или которые посвящены проблемам, не запланированным для секционного обсуждения, будут зачитаны на специальных групповых собраниях. Просьба к лицам, заинтересованным в получении официального извещения о конгрессе, писать в Секретариат IX Международного конгресса лингвистов, Кембридж (Массачусетс, США), Массачусетский технологический ин-т, комн. 14 N-307.

С 19 по 21 июня 1961 г. в Кишиневе состоялось первое Всесоюзное совещание по романскому языкознанию, организованное Институтом языкознания АН СССР, Московским университетом и Институтом языка и литературы АН Молд. ССР. В совещании приняли участие более 400 специалистов по романскому языкознанию, прибывших из разных городов Советского Союза. На пленарных и секционных совещаниях было прочитано 35 докладов.

Совещание открыл директор Института языка и литературы АН Молд. ССР И. К. Ватиан. На первом пленарном заседании было сделано четыре доклада. Р. А. Бу-

дагов (Москва) выступил с докладом «Проблемы сравнительной семасиологии», который был посвящен обобщению опыта и указанию путей сравнительного изучения лексики романских языков. В своем докладе «К вопросу о взаимоотношении неродственных языков» Т. П. Ильшиенко (Кишинев) остановилась на славяно-молдавских отношениях в плане взаимодействия неродственных языков. Доклад Д. Е. Михальчи (Москва) «Из истории советской романистики» был посвящен выдающимся русским и советским романистам. Е. А. Реферовская (Ленинград) в докладе «Из истории развития предложных конструкций в латинском языке позднего периода» рассмотрела процесс постепенного вытеснения падежных форм в их синтаксической функции допущения предложными конструкциями.

На секции грамматики и фонетики большинство докладов было посвящено проблемам диахронического и синхронического изучения романских языков. В докладе Н. Д. Арутюповой, Е. М. Вольф, Ю. А. Карулина и Л. И. Лухт (Москва) «Опыт сопоставительного изучения синтаксиса романских языков» были намечены принципы, этапы и уровни сопоставления синтаксических систем современных романских языков. О. К. Васильева-Шведе (Ленинград) в докладе «Некоторые закономерности грамматического строя иберо-романских языков» на примере причастных форм показала взаимоотношение глагольного и именного начала в системе этих языков. Некоторые общие для разных языков тенденции, в частности тенденции развития от синкретизма к дифференцированности, а затем к качественно новому синтезу (на материале латинского, старофранцузского и баскского языков), осветила Е. В. Ройзенблит (Москва) в докладе «К вопросу о сущности и формах некоторых грамматических процессов». Доклады Н. А. Голубевой (Орел) «Простое прошедшее в испанском, французском и румынском языке», Н. Д. Раевского (Кишинев) «К вопросу о возвратных глаголах в молдавском языке» и Е. Г. Голубевой (Ленинград) «Употребление форм молдавского кондиционализма в сравнении с другими романскими языками» были посвящены выяснению особенностей функционирования глагольных форм в романских языках.

Отдельные вопросы синтаксиса сложного предложения осветил И. И. Краченко (Рязань) в докладе «Некоторые итоги исследований сложноподчиненного предложения с придаточной дополнительной частью в старом и современном французском языке». В докладах С. В. Аппель (Курск) «К вопросу о грамматизации предлога *pre* при прямом дополнении в румынском языке» и А. Н. Копылова (Москва) «О функции предлога в словосочетании и в предложении» освещались проблемы, связанные со спецификой грамматического значения предлога. Одному из этапов истории развития грамматической мысли

во Франции посвятила свой доклад «Вопрос о словосочетаниях в теоретических работах по языку во Франции в XVI—XVII вв.» З. В. Гуконская (Ленинград). О новых тенденциях, возникших в фонетической системе балканской латыни, рассказала в своем докладе «Развитие фонологической системы в балканской латыни» Д. В. Широкова (Черновцы).

На секции литературных языков и диалектов были рассмотрены некоторые проблемы развития национальных языков, их стилистические особенности, вопросы диалектологии и семасиологии. М. И. Былинкина (Москва) в докладе «Основные черты семантической эволюции испанского языка в Латинской Америке» на примере аргентинской лексики предприняла попытку выявить особенности латиноамериканских неологизмов. В докладе Н. В. Гачечпладзе (Бельцы) «О методах изучения взаимодействия языков» рассматривалась методика изучения лингвистических контактов. О результатах своих исследований сообщила И. А. Короленко (Ленинград) в докладе «Испанские заимствования в русском языке».

В докладе Э. И. Левинтовой, Е. М. Вольф и Н. А. Мовшович (Москва) «Некоторые вопросы испанской фразеологии» были рассмотрены такие проблемы, как определение границ устойчивого словосочетания и тождество фразеологизма. Изучению фразеологических единиц был посвящен также доклад З. Н. Левита (Минск) «Фразеологические единицы в системе лексики французского языка». Грамматическая форма словосочетаний была предметом доклада С. И. Канонич (Москва) «О понятии грамматической фразеологии». А. А. Касаткин (Ленинград) в докладе «Язык и диалект в современной Италии» говорил о важности изучения конкретных форм взаимодействия языка и диалекта. В. Г. Гак (Москва) в докладе «Некоторые национальные стилистические особенности французского языка» остановился на стилистических особенностях французского языка сравнительно с русским¹. Г. П. Шекуров (Рязань) в докладе «Арготизмы в современном французском языке» рассматривал вопросы происхождения и стилистических особенностей этих лексических единиц. В докладе «Из истории молдавской филологии» А. Т. Борщ (Кишинев) изложил лингвистические взгляды, содержащиеся в трудах летописцев Гр. Уреке и М. Костина и известного молдавского ученого Д. Кантемира.

М. А. Бородинна (Ленинград) в докладе «О понятии диалекта в свете лингвогеографических исследований» на примере лотарингского диалекта показала сложность выделения диалектов национального языка². В докладе Г. Ф. Давыдова и Р. Г. Пиотровского (Ленин-

¹ Ср. В. Г. Гак, [реп. на кн.:] J.-P. Vinay, J. Darbelnet, *Stylistique comparée du français et de l'anglais*, ВЯ, 1961, 3.

² Ср. М. А. Бородинна, *Обзор статей* в

град) «История языка и структурные модели диалекта» была сделана попытка использования структуральных методов в диалектологии³. С применением статистических методов были проведены исследования словарного состава, о которых рассказали в своих докладах Е. В. Глейбман (Бельцы) «Семантические модели румынского научного текста» и Л. А. Новак (Бельцы) «Некоторые статистические особенности лексики балкано-романских и французского языков». В. В. Макаров (Калинин) в докладе «Об изучении лексико-семантической дифференциации романских языков» выделил ряд типов расхождений между ними⁴.

На заключительном пленарном заседании с докладами выступили М. С. Гурьчева (Москва) «О некоторых тенденциях развития синтаксического строя во французском языке» и Н. Г. Корляту (Кипинев) «Принципы построения словаря языка писателя (на материале произведений И. Крянга)». В своем выступлении М. С. Гурьчева отметила такие характерные черты синтаксического строя французского языка, как образование устойчивых словосочетаний, функциональная дифференциация наречий и предлогов, распространение аналитических словосочетаний, превращение одночленных глагольных предложений в двучленные. Н. Г. Корляту рассказал о принципах, которые легли в основу составляемого им словаря молдавского писателя XIX в. И. Крянга.

Совещание приняло резолюцию, в которой указывается на необходимость создания в Советском Союзе специального научного журнала по романско-германской филологии и расширения издания учебной литературы по романским языкам (особенно по испанскому, итальянскому, и португальскому); была отмечена целесообразность регулярного (не реже одного раза в три года) проведения совещаний романистов. Ближайшее совещание предполагается провести в 1964 г. в Ленинграде с обсуждением следующих проблем: методы синхронного описания романских языков; применение лингво-математических методов к романскому языковому материалу; сравнительно-историческое и сравнительно-типологическое изучение романских языков; проблемы развития литературных и национальных языков; своеобразие романских языков в странах Латинской Америки; романские языки за пределами романских стран.

Ф. С. Котельник и Н. М. Печек (Кипинев),
Ю. А. Карулин (Москва)

журнале «Revue de linguistique romane» (1954—1958 гг.), ВЯ, 1959, 4.

³ Ср. Р. Г. Пиотровский, Структурализм и языковедческая практика (Возможна ли структуральная диалектология?), ВЯ, 1957, 4.

⁴ Ср. В. В. Макаров, [реп. на кн.] G. Rohlf's, Die lexikalische Differenzierung der romanischen Sprachen, ВЯ, 1958, 6.

Состоявшийся 20—21 июня 1961 г. в Ленинграде Первый объединенный семинар по исторической фонологии показал, что число тех, кто занимается у нас этой областью науки, постепенно растет. Хотя семинар был создан кафедрами английской и скандинавской филологий Ленинградского университета, три доклада из шести зачитали представители вузов Петрозаводска и Харькова. Кроме ленинградцев, семинар привлек также гостей из Москвы, Харькова.

Во вступительном слове М. И. Стеблин-Каменский (Ленинград) предостерег фонологов от увлечения одними только общими проблемами, призвал участников семинара заниматься конкретными исследованиями, отталкиваясь от которых можно будет решать и общие вопросы.

Первым был заслушан доклад В. Я. Плоткина (Петрозаводск) «Синхронный анализ в диахронической фонологии». Специфика такого синхронного анализа вытекает уже из того, что диахроническая фонология вынуждена довольствоваться гораздо меньшей степенью точности, чем синхроническая фонология живых языков. Поэтому подлинная точность достигается здесь методом «округления» — с учетом величины функциональной нагрузки и ограничением массового от индивидуального. Синхронный срез при этом хронологически должен охватывать одно-два столетия, а территориально — весь ареал единой фонологической эволюции, что предполагает наличие обобщающей фонологической системы и ее конкретных реализаций в более узких хронологических и территориальных рамках. Выступавшие в прениях отмечали чрезмерную отвлеченность доклада. Между тем, сказал М. И. Стеблин-Каменский, на практике приходится брать синхронные срезы, имеющиеся в традиционных грамматиках. Как оценить их, как интерпретировать фонологически — вот что интересует фонолога. По мнению П. П. Ивово́й (Ленинград), иметь предложенный в докладе срез — великолепно, но вряд ли возможно. А как же поступить при неясности ряда вопросов? Ошибки тех, кто до сих пор изучал древнеанглийские «краткие дифтонги», связаны с пренебрежением системными связями. Но нужно ли в данном случае привлекать всю систему согласных? По-видимому, нужны лишь заднеязычные.

С подготовкой синхронного среза был по сути дела связан и доклад В. В. Кощкина (Ленинград) «К вопросу о моно- или полифонемности сочетания двух звуков». По Н. Трубецкому, определяющими здесь являются как фонологические, так и фонетические критерии, по А. Мартине — только фонологические. Фонетические условия Трубецкого не нужны для решения вопроса: понятие «слоговой границы» не является определенным и может иметь значение лишь в случае совпадения с границей морфемы; характер артикуляции и долгота сочетания не поддаются учету и определению. Фонологические же условия Трубецкого приемлемы с двумя поправками:

фонологической (Мартине), согласно которой основным критерием является заменяемость, и фонетико-фонологической (Хинце). Докладчик считает, что в спорных случаях следует опираться на данные инструментальной фонетики (ср. нем. *Apfel* — *Abfahrt*) или же, наконец, учитывать удобство построения системы (как в случае с немецким *ts*).

Эту последнюю мысль докладчик уточнил следующим образом: если система не стройна, то надо привести ее к стройности искусственно и проверить, совпадает ли она с реальностью; если окажется, что нет, — надо строить другую систему. Но, как заметила И. П. И в а н о в а, все это будет верно лишь при одном неизвестном; если же их больше, то подобные построения легко могут оказаться нереальными. В. Н. Я р ц е в а (Москва) обратила внимание на важность учитывать частотность сочетаний фонем при определении их устойчивости в системе. М. И. С т е б л и н-К а м е н с к и й указал на тот до сих пор недостаточно учитывавшийся факт, что различные признаки фонемы не всегда синхронизированы и в различной степени связаны между собой. Надо искать отношения различительных признаков к фонемам языка. Установив более четкое понимание различительного признака, придем и к лучшему пониманию фонемы. По мнению В. Я. Плоткина, в древнеанглийских *sp*, *st*, *sk* было что-то от монофонем, *sk* затем даже реализовалось в монофонему. Повидимому, и современные английские *nd*, *mb*, *ng* ведут себя как «кандидаты в монофонемы». При определенных фонетических и структурных условиях в таких сочетаниях могут появиться «центростремительные» силы. В древнеанглийских *sp*, *st* условия для ассимиляции были неблагоприятными, тогда как в случае *sk* созданы условия для оттяжения *s* назад и продвижения *k* вперед. Но дело, видимо, не только в фонетических условиях: в романском *sk* обратные, «центробежные» силы приводили к образованию протетического *e*. М. М. Ра е в с к и й (Петрозаводск) полагает, что с точки зрения синхронической естественно считать древнеанглийские *sp*, *st* сочетаниями фонем, тогда как с диахронической точки зрения их можно считать и едиными фонемами. По мнению М. И. С т е б л и н а-К а м е н с к о г о, в вопросе «одна или две фонемы» диахронический подход не дает и не может дать решения, но он подсказывает возможность той или иной трактовки на плоскости синхронии.

С докладом «К историко-фонологическим реконструкциям» выступил Я. Б. К р у п а т к и н. Рассматривая случаи, когда один и тот же конкретный вопрос получает у фонологов различные толкования, можно заметить, что усилия исследователей направлены на достижение последовательного причинного объяснения. Такое объяснение диктуется сущностью самого метода исторической фонологии. Поскольку реконструкция звукового изменения требует выяснения причин предшествовавшего ему

изменения, а реконструкция звуковой формы требует выяснения причин последующего ее развития, то именно причинность связывает оба вида реконструкций. Вот почему причинность следует признать неотъемлемым элементом всякой реконструкции.

В докладе М. В. Раевского «Веллярный носовой в германских языках, его происхождение и место в фонологических системах отдельных языков» было отмечено, что хотя звук /ŋ/ есть во всех германских языках, его функциональная значимость в разных языках различна: он может быть и самостоятельной фонемой, и комбинаторным вариантом фонемы (п) — причем их позиционное распределение различно. Фонетически фонема /ŋ/ возникает в результате упрощения группы *ng*. Фонологически это был процесс заполнения «пустой клетки». Колебания в функционировании фонемы /ŋ/ в английском и немецком языках и особая трактовка группы *ng* в исландском отражают, видимо, различные стадии становления фонемы /ŋ/. Тенденция к заполнению свободного места в ряду заднеязычных еще не реализовалась окончательно. М. И. С т е б л и н-К а м е н с к и й и В. Я. П л о т к и н упрекнули доклад в недостаточной «историчности», отсутствии причинных решений для каждого языка.

И. П. И в а н о в а зачитала доклад «Заднеязычные спиранты в среднеанглийском». Исчезновение заднеязычного спиранта *x/g* начинается с вокализации звонкого варианта *g* путем его лабиализации. Глухой же *x* лабиализуется позднее (не ранее XV в.), причем эта лабиализация может проходить двойным способом: через образование пазвука *u* перед *x* или через переход *x > j* (ср. написания *broughte-brofte*). Единая сущность процесса лабиализации подтверждается отсутствием форм с двумя лабиальными типами **broujfte*. Лабиализация проходила интенсивнее на севере и юго-западе, для центральных диалектов характерны написания *brohte*. Сохранившийся в центре без лабиализации, глухой вариант оказался, по-видимому, изолированным в системе согласных и выпал с компенсационным удлинением предшествующего гласного. Современное *brought* отражает лабиализованный вариант в написании и нелабиализованный в произношении.

С докладом «Сущность германских передвижений согласных» выступил М. И. С т е б л и н-К а м е н с к и й. В каждом передвижении согласных докладчик различает: 1) смену корреляции, 2) последующее фонетическое изменение в положении релевантности новой оппозиции и 3) фонетическое изменение в положении ее нейтрализации. Установить сущность отдельного передвижения — значит разграничить эти три момента и определить характер связи между ними. Сущность самого молодого — исландского передвижения в том, что корреляция звонкости в смычных уступила место корреляции придыхания, вследствие чего в положении

релевантности, т. е. в начале слова, все бывшие звонкие смычные оглушились, а в положении нейтрализации обязательно оказывается непридыхательный, т. е. немаркированный член оппозиции. В более древних передвижениях (датском, верхне-немецком) также различаются эти связанные между собой три момента. В отличие от них, общегерманское передвижение было сменой по меньшей мере двух корреляций — с установлением корреляции смычности и с установлением (а не устранением) корреляции звонкости. Эти смены корреляций должны были повлечь за собой два фонетических процесса утери старого различительного признака в положении релевантности, которым являлось здесь также и поствокальное положение. В положении же нейтрализации фонетические изменения (превращение звонкого в глухой и т. д.) определялись только свойствами самого положения, процессами ассимиляции или диссимиляции, а не внутренними закономерностями данной оппозиции, как в более поздних передвижениях. Поэтому то Е. Курилович неправ, когда хочет все объяснить изменениями в положении нейтрализации: в общегерманском это положение ничего не доказывает.

В прениях по докладу В. Н. Ярцева поставила вопрос, нельзя ли в германских языках найти некоторый единый внутренний фактор, переворачивающий всю систему. В придыхании и образовании аффрикаты из глухого смычного М. В. Р а е в с к и й видит две возможности усиления глухого в положении релевантности — следствии германского слогового ударения. Возражая ему, И. П. Иванова обращает внимание на то, что фонологизация такого усиления прошла не везде. По ее мнению, удачной стороной доклада является отграничение общегерманского передвижения от последующих передвижений. Для выяснения причин и условий передвижений, по мнению И. П. Ивановой, стоило бы присмотреться и к тем языкам, которые не провели передвижений.

Участники семинара решили провести следующую встречу в Ленинграде весной 1962 г.

Я. Б. Крупаткин (Севастополь)

26—30 июня 1961 г. в Петрозаводске состоялось VI Всесоюзное совещание по вопросам финно-угорской филологии, проведенное Институтом языкознания АН СССР и Институтом языка, литературы и истории Карельского филиала АН СССР. В работе совещания, кроме научных сотрудников указанных институтов, приняли также участие филологи Ленинграда, Эстонской ССР, Карельской, Коми, Марийской, Мордовской, Удмуртской АССР, Коми-Пермяцкого национального округа, Закарпатской области и др. — всего около двухсот участников.

Совещание открыл председатель Президиума Карельского филиала АН СССР проф. В. П. Д а д ы к и н. Всего на совещании было заслушано около 80 докладов, из них 5 — на пленарных заседаниях,

остальные — на заседаниях четырех секций: грамматики, фонетики и диалектологии, лексикологии и топонимики и секции фольклора.

В обширном докладе члена-корр. АН СССР Б. А. Серебrenникова (Москва) «Об основных проблемах советского финно-угроведения» была дана общая характеристика исторических этапов развития отечественной и зарубежной финно-угристики и определены следующие очередные задачи в этой области науки: 1) описание грамматического строя финно-угорских и самодийских языков, причем не столько в виде грамматик общего типа, сколько в плане детальных описаний отдельных особенностей грамматического строя уральских языков; 2) исследование мало изученных или совершенно не изученных диалектов уральских языков. Необходимы монографические описания отдельных диалектов, групп диалектов и составление диалектологических словарей; 3) создание этимологических словарей, необходимой базой для которых должно явиться наряду с составлением диалектологических словарей также и развертывание широкого фронта работ по этимологизированию отдельных слов; 4) изучение истории уральских языков. Ощущается острая необходимость дальнейшего изучения проблемы родства финно-угорских и самодийских языков; 5) изучение финно-угорской топонимики. Эта запущенная область в последнее время получает у нас некоторое движение (работы А. К. Матвеева и др.); 6) изучение финно-угорских и самодийских лексических элементов в языках других систем. К этой области исследований тесно примыкает изучение в финно-угорских языках лексического вклада других языков, родственных по происхождению, результатов лексического взаимодействия между обско-угорскими и самодийскими языками, лексики пограничных диалектов и говоров и т. д.; 7) изучение процессов взаимодействия между финно-угорскими и самодийскими языками и языками иных систем. В качестве большой темы выдвигается проблема «Влияние русского языка на финно-угорские языки»; 8) изучение истории литературных языков. Более или менее регулярно исследование в этой области ведутся лишь в Эстонии. В других республиках они пока не начаты; 9) решение общезыковедческих проблем на материале уральских языков. В финно-угроведческой литературе совершенно не затрагивается проблема методов исследования уральских языков. В связи с этим следует признать желательной организацию специальных исследований с применением методов структурализма в финно-угриктике; 10) проблемы прикладного языкознания.

В заключение Б. А. Серебrenников подчеркнул необходимость форсированного описания финно-угорских языков и их диалектов в тех районах нашей страны, где процесс естественного обрусения финно-угорского населения происходит особенно быстро. Выдвинутая в докладе Б. А. Серебrenникова проблематика участниками со-

вещания воспринята как программа деятельности советских финно-угроведов на ближайшие годы.

В своем докладе «Основные задачи исследования финно-угорской и самодийской топонимики СССР» доктор исторических наук А. И. Попов (Ленинград) обратил внимание специалистов на три возможных направления исследований: а) установление древнего распространения географических имен, связанных с ныне существующими финно-угорскими и самодийскими языками; б) определение областей, в которых некогда обитали племена, говорившие на финно-угорских языках, до нас не дошедших; в) выяснение возможностей, связанных с допущением иной древней речи в некоторых областях Севера, имеющей не финно-угорское и не самодийское происхождение.

Доктор филол. наук В. И. Лыткин (Москва) в докладе «Карельско-вепские заимствования в коми языке» на основе анализа большого фактического материала пришел к двум выводам, имеющим важное значение для исторической лексикологии и исторической фонетики пермских и прибалтийско-финских языков: а) в коми-зырянских диалектах в период рассматриваемых заимствований уже не было звука *ä*, поскольку карельско-вепское *ä* передавалось в коми языке через *a*, а не через *ä*, перешедшее впоследствии в *ö*; б) соприкосновения коми с карело-вепскими начались еще до озвончения согласных между гласными или сонорными, наблюдаемого в современных вепском и карельском языках.

Детальной характеристике типов повтора как изобразительного средства усиления дистрибутивности и видовых значений в финно-угорских языках был посвящен доклад доктора филол. наук К. Е. Майтиской (Москва). На пленарном заседании был заслушан также большой доклад доктора филол. наук В. Я. Евсеева (Петрозаводск) «Сравнительно-историческое изучение фольклора финно-угорских народов».

На секции грамматики состоялись интересные сообщения канд. филол. наук Н. М. Терещенко (Ленинград) «Выражение сложной мысли средствами простого предложения (на материале венецкого языка)», канд. филол. наук А. С. Кривошековой-Гантман (Пермь) «Место изобразительных слов в системе частей речи коми-пермяцкого языка», канд. филол. наук К. Контта (Таллин) «О переходности и непереходности в употреблении глаголов в финно-угорских языках», П. Кокла (Таллин) «О притяжательных суффиксах в инфинитиве марийского языка», канд. филол. наук М. П. Чхайдзе (Тбилиси) «Видовая характеристика заимствованных русских глаголов в марийском языке», М. И. Муллонов (Петрозаводск) «Разграничение неопределенно-личных и обобщенно-личных предложений в финском языке» и др. На этой секции много внимания было

уделено обсуждению вопросов синтаксиса финно-угорских языков.

На секции фонетики и диалектологии были заслушаны четыре группы докладов и сообщений. Первая группа сообщений была посвящена описанию современного состояния ряда диалектов отдельных финно-угорских языков. Сюда относятся выступления канд. филол. наук В. Д. Обьедкина (Саранск) «Фонетические особенности говора села Мордовское-Давыдово Мордовской АССР», Е. И. Ромбандеевой (Ленинград) «Фонетические особенности в диалектах северных маис» и др. Вторая группа сообщений касалась вопросов исторической фонетики: «К проблеме происхождения вторичного *s* в марийском языке» Б. А. Серебренникова, «Переход глухих *k, t, p, s* в звонкие в карельском и вепском языках» М. М. Хьямяляйнена (Петрозаводск), «О происхождении гласного переднего ряда *ä* в калталинском говоре марийского языка» канд. филол. наук Н. И. Исабаева (Йошкар-Ола), «К истории развития неслогового *ü* в удмуртском языке» канд. филол. наук И. В. Тараканова (Ижевск) и др. К третьей группе относятся сообщения, посвященные характеристике исчезающих диалектов: «О диалектном делении ижорского языка» канд. филол. наук А. Ланеста (Таллин), «Некоторые особенности ингерманландской речи (савакский диалект)» канд. филол. наук З. М. Дубровиной (Ленинград), «Эстонские языковые островки на территории Латвийской ССР» канд. филол. наук С. Ниголь (Таллин) и др. И четвертая группа докладов и сообщений на этой секции была посвящена общим вопросам фонетики финно-угорских языков: «Финно-угорская транскрипция» канд. филол. наук В. Халлапа (Таллин), «Гармония гласных в финно-угорских языках» канд. филол. наук А. М. Рота (Ужгород) и др.

На секции лексикологии и топонимики было заслушано 13 докладов и сообщений. Большой интерес здесь вызвали выступления канд. филол. наук А. Универе (Таллин) «О проблемах составления словаря эстонского народного языка», канд. филол. наук А. К. Матвеева (Свердловск) «Проблемы происхождения севернорусской топонимики», канд. филол. наук М. Норвика (Таллин) «Изменения в эстонской топонимике (по историческим причинам)» и др. Был обсужден проект программы собирания сведений по мордовской ономастике канд. филол. наук А. П. Феоктистова (Москва).

Около 20 докладов и сообщений состоялось на секции фольклора. С большим вниманием были заслушаны выступления доктора филол. наук А. Аннеста (Таллин) «О связях между карельскими и эстонскими преданиями о Калеве», доктора филол. наук В. М. Сидельникова (Москва) «К изучению „Калевалы“ в Советском Союзе», канд. филол. наук А. И. Маскаева (Саранск) «Особенности мордовского эпоса»,

канд. истор. наук И. М. Корсаков (Саранск) «Фольклор мордовского народа как историко-этнографический источник» и др.

Впервые на совещании по вопросам финно-угорской филологии приняли участие музыковеды. На секция фольклора состоялись сообщения музыковедов Е. В. Гиппуса (Москва) «Народная инструментальная музыка манси», В. Ф. Кукаль (Ленинград) «Изучение мелодики марийской народной песни», Б. С. Урицкой (Ленинград) «О некоторых чертах мордовских напевов» и др.

Руководители секций — К. Е. Майтинская, В. И. Лыткин, А. К. Матвеев и В. Я. Евсеев, — подводя итоги секционной работы, отметили, что доклады по общим вопросам финно-угорской филологии на совещании сочтались с сообщениями по частным вопросам грамматического строя отдельных языков и устного творчества финно-угорских народов. Участники совещания проявили большую активность в обсуждении поставленных докладов и сообщений. Отдельные выступления, например по вопросам топонимики и диалектологии, вызвали большую дискуссию, что несомненно свидетельствовало о своевременности выдвигания тем, вынесенных на обсуждение. Следующее совещание по вопросам финно-угорской филологии решено провести в 1963 г. в Ужгороде. Выбран Оргкомитет, которому поручено выработать программу этого совещания.

А. П. Феокистов (Москва)

С 3 по 12 июля 1961 г. в Ленинграде проходил IV Всесоюзный математический съезд. Хотя на съезде не было специальной секции математической (структурной) лингвистики, вопросы теории языка и применения математических методов в языковедении обсуждались во многих докладах и в прениях — на секции математической логики и оснований математики, а также в той или иной мере — на заседаниях других секций. Им был посвящен вынесенный на пленарное заседание доклад Вяч. В. Иванова «Математическая лингвистика». Много интересного для лингвистов было в докладах, посвященных вопросам кибернетики и теории автоматов. Лингвисты давно пытались в своей теории использовать математические методы, но за исключением отдельных случаев применения статистики эти попытки были мало эффективными. Это объясняется, в частности, тем, что математика до сих пор имела дело с совокупностями, состоящими из приблизительно однородных элементов, в то время как язык представляет собой гетерогенную систему. Теперь, как говорилось в докладе И. М. Гельфанда «Некоторые общие вопросы современного функционального анализа», центр тяжести применения математических методов перемещается с физики на биологию, на системы, представляющие собой большие, сложно организованные совокупности различных (неоднородных) элементов. Отношения между этими элемен-

тами настолько сложны и многообразны, что «такие функции проще не вычислять» (доклад А. Н. Колмогорова «Дискретные автоматы и конечные алгоритмы»). Так, решение даже такой относительно простой задачи, как сохранение равновесия живым существом, заданной в виде системы дифференциальных уравнений, требует столько времени, что, когда задача будет решена, решение ее уже теряет смысл. В связи с этим вырабатываются другие способы подхода к разрешению задач описания сложных систем и их функционирования. Сами живые существа разрешают указанные задачи достаточно быстро, даже не будучи наделенными естественным или электронным мозгом, следовательно не прибегая к системе дифференциальных уравнений.

В докладе И. М. Гельфанда рассматривались способы нахождения решения подобных задач без изоморфного описания. Человек обычно создает «организующую гипотезу»; он ставит такую задачу, которая вносит организацию в материал. Например, целясь в бильярдный шар, человек помещает его в центре воображаемого круга, что позволяет ему попасть в этот шар с точностью, превышающей разрешающую способность глаза. С этой точки зрения И. М. Гельфанд остановился на разборе работ Л. А. Чистович по слуховому восприятию, в частности, на вопросах, связанных с восприятием речи.

С расширением области интерпретируемых математикой объектов изменяются и сами основания математики. И. М. Гельфанд подчеркнул, что «развитие гомологической алгебры привело к перестройке математического мышления». В докладе приводился пример динамической системы, изучать которую гораздо выгоднее методами именно гомологической алгебры.

В лингвистике математические методы меньше всего применялись к истории языка, диахронии, т. е. к динамической системе. Это было связано с тем, что и в самой математике не было теории изменяющейся сложной системы. А. Н. Колмогоров в докладе на идегарном заседании «Дискретные автоматы и конечные алгоритмы» предложил модель сложной системы, состоящей из неоднородных элементов. Система рассматривается в процессе изменения (меняется число элементов и отношения между ними). В докладе была намечена также теория оценки сложности задачи, выполняемой автоматами. В заключение А. Н. Колмогоров сказал, что «по-видимому, вся высшая деятельность человека может быть с сохранением ее существенных черт моделирована в таких дискретных автоматах... Своеобразие жизни и сознания не отменяется, а переносится в область больших дискретных систем».

Собственно описанию языка на съезде был посвящен доклад М. В. Ломковской, Е. В. Падучевой, В. А. Успенского «Лингвистические исчисления». В докладе рассматривались три модели порождения, предложенные Н. Хом-

ским, а также модель В. Ингве, учитывающая объем запоминающего устройства. В прениях Н. А. Шанин предложил использовать для описания языка универсальную каноническую систему преобразований Поста. Ему возражал Г. С. Цейтин, считая, что эта система неэффективна для описания языка, так как проблема тождества в исчислении Поста неразрешима. В докладе Г. С. Цейтина «Промежуточный логический язык для перехода от естественного языка к языку узкого исчисления предикатов» предлагался опыт алгоритмического перевода с естественных языков на язык формальной теории. Такой перевод позволил бы лучше разобраться в семантике естественных языков, выразить меру специфичности каждого языка. Естественные языки больше отличаются от искусственных, чем друг от друга. Это требует переноса на формальный язык-посредник таких особенностей естественных языков, как аналоги прилагательных, категории числа и др.

Связь лингвистики с математикой выражается не только в применении математических методов в лингвистике, но и в том, что математика сама сталкивается с необходимостью изучения лингвистических, точнее семиотических проблем, разрешение которых требуется развитием этой науки.

Перед математикой остро встала проблема знака, его отношения к обозначаемому, определение основного словаря (инвентаря элементарных единиц) и др. Лингвистика благодаря формализации становится наукой о языке, понятие которого, как показал съезд, очень расширилось в последнее время. Это — и язык человека, и язык автомата (программа), и язык науки (теория). Язык понимается как обозначенная символами программа для совершения каких-либо операций. Вопросы наиболее экономного построения языка (программы) и наиболее простой схемы его действия обсуждались во многих докладах и в прениях на секциях вычислительной математики. Спор конструктивистов с классиками в области оснований математики касается вопросов, интересных и для лингвистов. В частности, это вопрос о том, какого уровня и каким образом абстракции должны включаться в язык математики. Математика имеет дело с абстракцией очень высоких степеней. С. А. Яновская в докладе «Об основных современных направлениях в основаниях математики» высказалась за включение в язык науки только таких абстракций, которые можно исключить по определенным правилам, подставив какое-то более конкретное значение, например значение аргумента в функцию. Сконструировать язык — это значит задать правила образования и исключения абстракций. В прениях Н. А. Шанин, А. А. Марков и А. С. Есенин-Вольпин приводили примеры, когда нельзя в этом смысле исключать абстракции. На это С. А. Яновская ответила, что важнейшим способом исключения абстракции является формализация, которая, однако, имеет смысл

только в том случае, когда теория допускает и другое — содержательное — толкование.

Конструирование языка оказалось тесным образом связанным с автопрограммированием, с созданием языка для автопрограмм. Каким должен быть этот язык: универсальным, на котором можно записать любое задание, описать любую ситуацию (точка зрения А. Н. Колмогорова, Н. А. Шанина) или — специализированным, предназначенным для описания определенных ситуаций, записи заданий из определенной области, например шахмат, линейной алгебры (доклад А. А. Ляпунова «О теоретических вопросах программирования»). В прениях по докладу А. А. Ляпунова Н. А. Шанин указывал на то, что у специализированных языков имеется большая общая часть. А. А. Ляпунов настаивал на необходимости в практических целях разбиения программирования на несколько шагов. На первом этапе человек выбирает подходящий специализированный язык (программу).

В связи с запросами автоматки, теории связи и других смежных научных и технических дисциплин перед лингвистикой встают новые проблемы. Основным проблематическим лингвистики был посвящен вышеуказанный доклад В. Я. В. Иванов «Математическая (структурная) лингвистика (или точное описание языка на основе простых исходных понятий) стала необходимой благодаря современным требованиям практики, развитию автоматки в различных областях. Для этого следует формально описать языковую интуицию человека. Объективные данные о ней можно получить на основе опроса достаточно большого числа людей. Грамматическая структура языка может быть выявлена путем разбиения всех форм языка на классы эквивалентных форм также с использованием метода опроса испытуемых. Человек может отличить грамматически правильное предложение от грамматически неправильного. Одну и ту же совокупность форм языка можно описать при помощи различных лингвистических моделей. Выбор модели зависит от устройства, работающего по этой модели, и от цели работы. Раньше таким устройством был только человек, а целью — обучение иностранному или родному письменному языку, поэтому и модель фактически была одна — так называемая классическая грамматика. Теперь такими устройствами могут быть самые различные автоматы, используемые в самых различных целях. В связи со сказанным, в частности, возникает задача описания в единых терминах человеческого языка, человека и технической элементов связи, задача, решаемая при помощи теории информации.

Следующий круг проблем лингвистики связан с дешифровкой. Когда по данному сообщению восстанавливается код, то мы фактически сталкиваемся с несформулированными общими свойствами языков, которые проявляются как в том, что дешифровщик может расшифровать текст

на любом языке, если имеется сообщение достаточной длины, так и в том, что ребенок усваивает с равной степенью легкости любой язык. В отношении фонологического уровня работа по выявлению общих черт всех языков мира уже начата (выделено 12 фонологических дифференциальных признаков). Если провести такие исследования на всех уровнях, то можно научно ставить вопрос о том, как реально бы выглядел единый язык человечества.

Другая важная проблема, выделенная в докладе, — это реконструкция правил построения данного сообщения, т. е. анализ, проводимый посредством синтеза. Последние экспериментальные работы Л. А. Чистович показали, что, например, распознавание устной речи происходит на основе обратной связи с системой команд, по которым строится сообщение, т. е. акустический анализ производится человеком на основе произносительных работ. В принципе таким же образом может осуществляться автоматическое чтение текста. Для осуществления синтаксического анализа через синтез необходимо создать логическую теорию построения предложения.

Следующая проблема, стоящая перед лингвистикой, — это описание смысла. Осмысленность предложения понимается как зависящая от внеязыковых факторов, а не от языка. Несколько данных предложений могут иметь один и тот же смысл. На этой основе построена трансформационная грамматика Н. Хомского. К проблеме описания смысла относится и задача создания искусственного языка-посредника для записи смысла.

В связи с проблемой количественного исследования языка была отмечена задача выявления элементарных количественных соотношений между основными единицами языка: фонемами, морфемами, словами. Например, число фонем любого языка обычно равно 10—80, число морфем 10^3 — 10^4 , слов— 10^4 . Уже по таким простым соотношениям можно определить, например, характер письменности.

На учете соотношения элементов → фонем, слов, морфем — построена система дешифровки Ю. В. Кнорозова. Другие исследования посвящены вычислению энтропии на букву, фонему, избыточность в разных языках. В число простых статистических задач входит методика датировки разделения родственных языков. Наконец, для лингвистики также актуален вопрос построения языка своей теории. Например, система стандартных операторов в машинном переводе позволяет точно описывать некоторые грамматические явления. Необходимо выработать аналогичный язык и для других разделов лингвистики.

В прениях по докладу Вяч. В. Иванова А. Н. Колмогоров подчеркнул «чрезвычайно слабый статистический» характер языковой интуиции человека, а также остановился на понятии адекватности перевода и роли непрерывного, а не дискретного применительно к художествен-

ному переводу. Хотя при переводе логические понятия берутся за исходные, исторически они являются результатом позднего развития; мышление человека, прежде чем стать логическим, долгое время остается языковым. А. А. Ляпунов указывал на важность практических приложений математической лингвистики. На основе идей математической лингвистики разрабатывается машинный перевод и машинная дешифровка текстов.

С докладом «Об экспериментах по машинному переводу и о машинной выработке переводческих алгоритмов» выступила О. С. Кудалгина. Большой доклад С. А. Соболева был посвящен машинной дешифровке письменности майя, проведенной в Сибирском филиале АН СССР. Он подчеркнул большое теоретическое значение этой работы.

Съезд показал, что математические методы начинают применяться и в других науках филологического цикла. Так, большой интерес представляет математическая теория стиха, разрабатываемая под руководством А. Н. Колмогорова, о которой на съезде сообщалось в докладе С. Прохорова и Н. Г. Рычковой «Некоторые вопросы ритмики русского классического стиха». После съезда стало ясно, насколько многообещающи перспективы применения математических методов в лингвистике и в других филологических науках. Однако для правильного применения этих методов необходима последовательная формализация лингвистики.

М. И. Бурлакова (Москва)

С 23 по 27 сентября 1961 г. в Горьком проходило научное совещание, посвященное применению математических методов при изучении языка художественных произведений. Совещание было создано Горьковским университетом и Горьковским домом ученых. Совещание открылось лекцией акад. А. Н. Колмогорова (Москва) «Комбинаторика, статистика и теория вероятностей в стиховедении». А. Н. Колмогоров показал, что учет комбинаторных возможностей позволяет уточнить некоторые основные понятия стиховедения, как, например, ямба, дольник и т. п., учесть все возможные формы (возникающие в связи с пропуском того или иного ударения) и варианты форм (возникающие в связи с тем или иным расположением слоговразделов). Применение статистики и теории вероятностей дает возможность установить основные закономерности в стихе, выявить норму и отклонения от них. В связи с этим удается охарактеризовать общую окраску и индивидуальные приемы. Высоко оценив работы по стиховедению 10-х и 20-х годов, А. Н. Колмогоров остановился на отдельных ошибках (Г. Шенгели и других стиховедов), связанных с неверным применением статистических законов.

На втором и третьем заседаниях были заслушаны доклады А. Н. Колмогорова и его группы, занимающейся статистическим анализом стиха на кафедре теории вероятностей механико-

математического факультета МГУ. В докладе А. П. Савчук (Москва) «Экспериментальное определение энтропии русского языка» были охарактеризованы трудности, возникающие при определении энтропии известным методом К. Шэннона⁵. Шэннон предложил две оценки энтропии получаемые на основе анализа угадывания продолжения текста. Однако условия, накладываемые Шэнноном на язык, слишком жестки, и в реальном языке получаются очень большие расхождения между верхней и нижней оценкой. Кроме того, метод Шэннона очень трудоемок и утомляет угадывателя. В докладе Н. Г. Рычкова о й (Москва) «Оценка энтропии речи при помощи опытов по угадыванию продолжения текста» излагался новый метод оценки энтропии, предложенный А. Н. Колмогоровым. Этот метод основан на предположении, что каждый человек, владеющий данным языком, располагает для любого места текста знанием о том, каковы вероятности появления здесь каждой из букв русского алфавита⁶.

В докладе «Энтропия речи и стихосложение» А. Н. Колмогоров говорил о том, что энтропия есть мера, показывающая, сколько разных текстов данной длины можно построить в определенном языке. Возникает возможность количественно оценить те ограничения, которые налагают требования метра, ритма, рифмы и т. д. Оказалось, что эти ограничения весьма существенны, и если поэт может в пределах данных ограничений выразить нужную мысль, то это объясняется тем, что большая доля разнообразия расходуется в языке не на передачу разного содержания, а на гибкость выражения, т. е. создание разных форм выражения одного и того же содержания. В связи с этим А. Н. Колмогоров предложил разложить энтропию языка на две составляющие: а) меру разнообразия, расходуемую на передачу внеязыковой (семантической) информации, и б) собственно лингвистическую энтропию. В докладе А. Н. Колмогорова, «Локальный словарь поэта и рифма» был предложен интересный метод, позволяющий определить на основе характера рифм то, что А. Н. Колмогоров назвал «локальным словарем поэта» (т. е. количество слов, проходящих перед мысленным взором поэта при выборе слова в стихе). Анализ пушкинских рифм показывает, что «локальный словарь» Пушкина можно оценить в пределах от 100 до 200 слов. В докладе С. Н. Прохорова (Москва) «К изучению ритмики русского четырехстопного ямба» обсуждались вопросы, связанные с созданием модели «натурального ямба», т. е. такой модели, в которой выясняется

(на основе анализа прозаических текстов) вероятность появления строк данной формы и данного варианта формы. Особое внимание было уделено в докладе проблеме дополнительных ударений.

Доклад Н. Г. Рычковой и А. Н. Колмогорова «Ритмика Багрицкого» был интересен с точки зрения возможности распространения представлений, выработанных при статистическом анализе классического стиха, на исследование стихотворной техники современных поэтов. В докладе описывались характерные метрические типы новой русской поэзии, в частности так называемый «хорошо урегулированный должник» (термин М. Л. Гаспарова) и другие размеры, использованные Маяковским и Багрицким. Докладчики не согласны с представлением о том, что для современных поэтов количество безударных слогов между двумя ударными становится все менее важным. Оказалось, что интуиция точного счета слогов не ослабла. Это особенно характерно для Багрицкого. Как установили докладчики, Багрицкий шире, чем другие поэты, пользуется многосложными (пяти- и даже семисложными) группами безударных слогов в промежутке между двумя ударными и овладевает почти всеми словоразделами, возможными в этих промежутках.

В сообщении Вяч. В. Иванова (Москва) «О ритме поэмы Маяковского „Человек“», излагались результаты описания комбинаций разных размеров в поэме, произведенного по методу А. Н. Колмогорова, который ранее описал таким образом полифоническое строение поэм «Про это» и «Во весь голос». Для ямбических отрывков «Человека» характерно чередование трехстопных и четырехстопных строк, в связи с чем используется отождествление дактилических и женских рифм (типа *идут они — будни*). Из размеров, близких к долнику, отмечается употребление гекзаметрообразного ритма. Ритмические темы, намеченные в предшествующих главах поэмы (четырёхдолжник, трех- и четырехстопный ямб), повторяются в заключительной (предпоследней) главе, где вводится ямб как музыкальная тема без словесного воплощения (*тра-ля-ля-ля, дзин-два* и т. д.).

Четвертое заседание открылось докладом И. И. Ревзина (Москва) «Модель языка с конечным числом состояний и возможности ее применения в поэтике». В докладе обсуждались возможности применения простейших автоматов для изучения явлений цикличности, используемых для создания определенного поэтического приема. С этой целью стихотворение В. Брюсова «Сухие листья», а также ряд пародий на него были представлены как порожденные схемой языка с конечным числом состояний. В докладе Д. М. Сегала (Москва) была изложена попытка применения зависимости Ципфа как критерия для сравнения текстов, принадлежащих к различным функциональным стилям. Докладчик показал, что тексты могут быть сгруппированы по виду гра-

⁵ Ср. материал по обсуждению на ученом совете Института языкознания АН СССР доклада Р. Г. Пиотровского (ВЯ, 1961, 5, стр. 146—148).

⁶ Описание опытов по угадыванию методом А. Н. Колмогорова см. в статье: Н. Рычкова, Лингвистика и математика, «Наука и жизнь», 1961, 9.

фика закона Ципфа, причем в каждую такую группу входят тексты с одинаковым соотношением редких и частых слов. А. К. Жолковскый (Москва) сделал обзор некоторых советских работ по структурной поэтике и поэтическому языку, остановившись главным образом на трудах В. Шкловского, Ю. Тынянова, В. Проппа и С. Эйзенштейна.

Вяч. В. Иванов сделал сообщение «О новых лингвистических теориях поэтического языка». Он отметил, что наиболее эффективными в этой области оказались те работы, в которых продолжают исследоваться связи между закономерностями поэтического и разговорного языка, и остановился на работе Якобсона и Лотца, посвященной аксиоматике мордовского стихосложения. Гораздо меньше сделано для анализа синтаксиса и семантики поэтического языка. Строго формальные методы здесь по самой природе явления должны дополняться интроспекцией (ср. высказывания Н. Бора об аналогии между принципом дошлительности в физике и психологии).

Пятое заседание открылось докладом Ю. В. Кнорозова (Ленинград) на тему «Об изучении фасцинации». Под фасцинацией докладчик понимает такое действие сигнала, при котором ранее принятая информация полностью или частично стирается. В частности, таким фасцинирующим воздействием обладает ритм. Как известно, мозг вырабатывает антирезонансную защиту, поэтому интересно проследить, по каким линиям идет преодоление этой антирезонансной защиты. Докладчик обсудил следующие возможности: а) действуют три ряда раздражителей, например равномерное повторение ударных и безударных слогов, повторение рифм, повторение строфических форм; б) поэт сознательно отходит от заданной метрической схемы; в) применяются замедления и ускорения. Далее докладчик обращается к историческому развитию фасцинации, намечая следующие этапы: 1) раздельная подача фасцинирующих и информмирующих сигналов; 2) повторение фасцинации в каждом сигнале; 3) единицы фасцинирующего ряда не совпадают с единицами сигнального ряда. Эту мысль докладчик иллюстрировал на примере развития инструментальной музыки, пения и поэзии из первобытного синкретизма. В конце доклада Ю. В. Кнорозов остановился на том, что он называет «семантической фасцинацией». Он считает, что неясность, многозначность описания действует как сильнейшее фасцинирующее средство. Искусство собственно и начинается с семантической фасцинации, с того момента, когда человек сделал великое открытие возможности выдумки. В качестве средства семантической фасцинации выступают выдуманные события и мнимые личности.

По поводу первой части доклада Ю. В. Кнорозова А. Н. Колмогоров заметил, что гипнотическое воздействие ритма — явление известное; целый ряд теоретиков и поэтов говорили о «магии стиха». Од-

нако в целом европейская культура подготовила более интеллектуальное восприятие ритма. Чтение стиха есть интеллектуальная деятельность, и это доказывается хотя бы тем, что в физическом звучании речи словоразделы, как правило, не обозначены, в то время как они играют существенную роль при восприятии стиха. То же касается ударений, природа которых весьма разнородна. Другим примером интеллектуализации может служить рифма у Маяковского.

В докладе Вяч. В. Иванова «Сравнительное языкознание и сравнительное литературоведение» обсуждался вопрос о применении сравнительно-исторического метода в поэтике. Этот метод можно прежде всего применять к фольклору, поскольку здесь так же, как и в языке, по традиции передается не текст, а определенная модель и совокупность штампов. Произведение существует в многочисленных реализациях; отсюда возможность применения статистических методов. Докладчик применил сравнительно-исторический метод для анализа севернорусских былин. Как он показал, основная характерная черта индоевропейского метра (клаузула с регулярным соотношением долгих и кратких слогов) сохраняется в преобразованном виде в русском народном стихе, что, в частности, подтверждает и статистическое исследование. В. Ю. Розенцвейг (Москва) в докладе «Перевод и сравнительное литературоведение» предложил использовать при изучении литературных контактов понятия лингвистической теории перевода. Он указал, что элементы художественной модели (образ, декрипция, диалог, стихотворная форма и т. п.), как правило, не могут быть поставлены во взаимнооднозначное соответствие с элементами иной литературной системы. Возможность воссоздания этих элементов, а следовательно и реализации того или иного типа процесса перевода зависит от степени типологической близости двух данных литератур.

На шестом заседании продолжалось обсуждение вопросов поэтики, а также некоторых вопросов статистического анализа. В докладе С. Е. Генкина (Москва) «Информация и проблемы киноязыка» рассматривалась информация, обучающая потребителя какому-нибудь действию. Такая информация, имеет следующий вид: «конкретный пример плюс оператор обобщения». Далее рассматривалась передача такой информации при помощи киноязыка. Конкретным примером в кино служит кинокадр, а оператором обобщения — монтаж. С этой точки зрения докладчик анализировал ряд кинофильмов. В сообщении А. К. Жолковского «Об усилении» было проведено сравнение между понятием усиления в кибернетике (речь идет о свойстве информации, несущей малую энергию, привести в движение неизмеримо большую энергию) и некоторыми свойствами поэтического построения.

Ю. К. Щеглов (Москва) говорил

в своем докладе «Структурный анализ „Метаморфоз“ Овидия» о мире вещей у Овидия, который представлен так, что каждая вещь характеризуется набором довольно простых и общих семантических признаков. Таким описанием уже подготовлена возможность превращений, которые кажутся вполне естественными и завершаются в минимальное число шагов. В прениях по этому докладу А. Н. Колмогоров заметил, что для исследований подобного рода желательнее сравнение с другими произведениями; в частности, полезны были бы подсчеты употребления тех или иных эпитетов у разных авторов того времени. В. П. Григорьев (Москва) указал на возможность использовать имеющуюся конкорданцию к Овидию. В докладе «Образ как информация» В. А. Зарецкий (Курск) высказал мнение, что художественный текст несет в себе специфическую информацию, несводимую к информации другого рода, которую содержит деловой текст. Отрезок речи (сочетание слов или отдельное слово), несущий в себе такую особую информацию, неравнозначную собственному значению данной речи, докладчик определяет как словесный образ, а информацию, содержащуюся в нем, называет образной информацией. Образ — всегда неразложимый сигнал. Первый акт образотворчества — произвольное допущение (но при этом ограниченное определенными рамками). Художник словно спрашивает себя: «А что, если?...» Смысл образного допущения в конечном счете — в соотношении реальных явлений с эстетическим идеалом, а этот идеал воплощает в себе общественное представление о цели, которую ставит себе общество. В прениях по этому докладу А. Н. Колмогоров сказал, что мнение, согласно которому художественная речь несет больше информации, чем нехудожественная, может быть оправдано тем, что в нехудожественной речи энтропия, приходящаяся на гибкость выражения, тратится безрезультатно, а в художественной речи она используется для создания определенного эффекта.

В. А. Аграев (Горький) в своем сообщении «Некоторые вопросы применения счетно-аналитических машин для целей статистического изучения языка» рассказал об основных принципах работы по статистическому обследованию текстов, ведущейся в Горьком. Результаты этих работ были изложены в сообщении В. В. Бородин и К. В. Компрессаровой (Горький) «Опыты статистического обследования текстов на счетно-аналитических машинах». Ряд английских научно-технических текстов по электротехнике исследовался с точки зрения: а) зависимости длины слова от частоты; б) зависимости частоты слов данной группы (например, части речи) от их места в предложении.

На седьмом заседании ведущий кафедрой русского языка филологического факультета РГУ Б. Н. Головин рассказал по просьбе участников совещания о работах, проводимых

на его кафедре по сравнительному анализу синтаксиса Толстого и Тургенева. В частности, сопоставлялось для этих двух авторов количество полизначных слов в позиции второстепенного члена предложения, в причастных и деепричастных оборотах, в сложных синтаксических цепях, в однородных конструкциях. Подсчитывалось также число различных пауз (разделительных, объединительных, однородности и т. п.) на одну разделительную паузу.

Выступая в прениях, А. Н. Колмогоров положительно оценил попытку горьковских исследователей ввести в рассмотрение новые характеристики стиля. Необходимо, однако, выяснить, насколько эти характеристики независимы. В частности, важно было бы узнать, насколько полученные Б. Н. Головиным для Толстого и Тургенева характеристики зависят от средней длины предложения у этих авторов. А. Н. Колмогоров подчеркнул, что стилистические характеристики, составленные только по одной величине (например, по зависимости Ципфа), недостаточны, нужно брать несколько независимых характеристик, например среднюю длину слова и среднюю длину предложения. Кроме частотности слова важно учитывать, сколь «скущенно» или, наоборот, равномерно встречаются слова данного типа. Он указал, что настало время вновь начать статистические исследования по ритму прозы (ср. важные результаты Томашевского по ритму «Пиковой дамы»). Переходя к общему вопросу об организации статистической работы в языковедении и поэтике, А. Н. Колмогоров отметил, что реальный объем текстов, по которым нужно производить усреднение, меньше, чем можно предполагать, поскольку речь идет о различных, которые мы явственно ощущаем (иначе говоря, мы не должны добиваться достоверности для величин с малой вероятностью и поэтому выборка может быть небольшой). Так, выборка в 500—1000 строк для «Евгения Онегина» оказывается вполне достаточной. В этой связи необходимо отметить, что частотный словарь всего данного языка есть фикция. Статистика в лингвистике должна быть предельно дробной. А. Н. Колмогоров отметил, что необходимо сохранять все результаты статистических работ, накопленные отдельными группами, и наладить регулярный обмен этими результатами.

В заключение А. Н. Колмогоров поделился с участниками совещания своими мыслями о значении изучения поэзии для современной кибернетики. Когда понятия кибернетики применяются не к машинам, а к анализу высшей нервной деятельности, то возникает ряд новых проблем. Есть все основания думать, что в принципе дискретные автоматы могут моделировать интеллектуальную деятельность. Поэтому то, что анализируют гуманитарные дисциплины, очень важно для кибернетики. При этом, однако гуманитарные дисциплины должны сосредоточить внимание на менее элементарных, более слож-

ных явлениях. Практически происходит обратное. Те представители гуманитарных наук, которые теперь приобщаются к кибернетическому образу мысли, предпочитают изучать наиболее примитивные схемы (типа циклов в схеме языка с конечным числом состояний).

Между тем кибернетика заинтересована в далеко идущей формализации принципов человеческой интуиции. Нельзя забывать, что искусство есть определенный вид познания действительности и как таковое обладает высокой степенью сложности. Отмечается, что искусство помогает человеку осознать цели своей деятельности. Механизм выработки цели, о котором говорил В. А. Зарецкий, чрезвычайно важен для кибернетики, где возникает вопрос о том, какие самоорганизующиеся системы и каким образом вырабатывают внутреннюю цель системы.

Советские приняло резолюцию, в которой подчеркивается важность статистических работ в области поэтики и лингвистики, необходимость издания литературы по этим вопросам (в частности, переиздания старых работ Б. В. Томашевского и других авторов) и желательность постоянного обмена результатами статистических исследований.

И. И. Резвин (Москва)

С 1961 г. Тувинским научно-исследовательским институтом языка, литературы и истории (ТНИИЯЛИ) и Институтом языка и литературы АН Кирг. ССР организована совместная работа по дальнейшему изучению енисейских памятников древнетюркской письменности. Академик АН Кирг. ССР И. А. Батманов и научный сотрудник Тув. НИИЯЛИ З. Б. Арагачи обследовали ряд памятников, находящихся на территории Тувинской АССР, следили опубликованные тексты с оригиналами, внесли уточнения в их чтение. В результате соответствующей работы З. Б. Ара-

гачи опубликовала новое чтение ранее напечатанного С. Е. Маловым так называемого «Второго памятника у Элегест»⁷.

И. А. Батманов и З. Б. Арагачи провели также большую работу по выявлению местонахождения памятников и передали эти сведения в республиканский краеведческий музей, который в свою очередь организовал сбор памятников. Значительная часть стел республиканским краеведческим музеем, при участии научного сотрудника ленинградского отделения Института языкознания АН СССР А. М. Щербака, перевезена в г. Кызыл. В настоящее время в кызылском музее хранятся 17 памятников с древнетюркской письменностью, 15 из которых привезены в этом году.

В ходе указанной и последующих работ музеем и ТНИИЯЛИ обнаружены новые стелы с древнетюркской письменностью, представляющие большую научную ценность, в пределах Тандинского, Овюрского и Каа-Хемского районов. Одной из этих стел посвящена статья А. М. Щербака⁸. И. А. Батманов, З. Б. Арагачи и Г. Ф. Бабушкин подготовили к печати труд, посвященный вопросу об отношении современных тувинского, киргизского, хакасского, шорского и алтайского языков к языку енисейских памятников. К очерку приложен глоссарий на шести указанных языках, в составлении которого приняли участие, кроме указанных лиц, научные сотрудники Хакасского НИИЯЛИ М. И. Боргояков и Алтайского ИЯЛИ Н. А. Кучигашева и Е. Н. Чунжекова.

Ю. Л. Аранчын (Кызыл)

⁷ З. Б. Арагачи, Памятник с Элегеста, «Уч. зап. ТНИИЯЛИ», IX, 1961; ср. С. Е. Малов, Памятники древнетюркской письменности Монголии и Киргизии, М.—Л., 1959, стр. 70—72.

⁸ А. М. Щербак, Новая руническая надпись на камне, «Уч. зап. ТНИИЯЛИ», IX, 1961.

КНИГИ, ЖУРНАЛЫ, БРОШЮРЫ, ПОСТУПИВШИЕ В РЕДАКЦИЮ

Информационный бюллетень ЮНЕСКО—1961, 103—104.

Ф. А. Абдуллаев. Фонетика хорезмских говоров узбекского языка.—1961. 58 стр. (Автореф. докт. дисс.) [Ин-т языка и лит-ры им. А. С. Пушкина. АН Уз. ССР].

Г. Ф. Благова. К вопросу о подлинности текста «Бабур-наме» по Керовскому списку.— М., 1961. Стр. 89—105. Отд. отт. из «Кратких сообщений ИНА АН СССР». XLIV.]

Г. Булер. Учебник санскритского языка. [Перевод под ред. проф. Ф. И. Щербатского; 2-е дополн. изд. под ред. М. М. Кнороза].— Львов, 1960. 221 стр. [рогапринт].

К. А. Новикова. Проект единой фонетической транскрипции для тунгусо-маньчжурских языков.— М.—Л., 1961. 402 стр. [Ин-т языкознания АН СССР.

Комиссия по унифицированной фонетической транскрипции (УФТ) для языков народов СССР].

Правила лингвистического издания памятников древнерусской письменности.— М., 1961, 64 стр. [АН СССР. {Ин-т русского языка}].

Р. А. Рустамов. Кубинский диалект.— Баку, 1961. 281 стр. [на азерб. яз.].

Сборник диалектологических материалов якутского языка.— Якутск, 1961. 132 стр.

Б. И. Скупский. Лекции по старославянскому языку. Раздел V. Синтаксис. Пособие для студентов-заочников.— Махачкала, 1960. 137 стр.; его же. Спецкурс «Основы русской пунктуации».— Махачкала, 1961. 26 стр.

П. Табахьян. «Тихий Дон» М. Шолохова и вопросы перевода.— Ростов-на-Дону, 1961. 40 стр.

М. П. І в ч е н к о. Сучасна українська літературна мова.— [Київ], 1960. 592 стр.

Э. Б а л е ц к и й. Об изучении истории славяноведения в Венгрии.— Graz-Köln, 1960. Стр. 160—171. [Отд. отт. из «Wiener slavistisches Jahrbuch». VIII].

Beiträge zu einem Handbuch für den Russischlehrer. Lf. 4. Стр. 1—74. [Отд. отт. из «Wissenschaftliche Zeitschrift der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald», Gesellschafts- und sprachwissenschaftliche Reihe, 1. 10, 1961].

М. К. J e n s e n. Tonemicity (A technique for determining the phonemic status of suprasegmental patterns in pairs of lexical units, applied to a group of West Norwegian dialects, and to Faroese).— Bergen — Oslo, [1961]. 197 стр. +5 капт.

В. К á l m á n. Die Russischen Lehnwörter im Wogulischen.— Budapest, 1961. 328 стр.

Radovi [Sveučilišta u Zagrebu, filozofskog fakulteta]. I — Razdio lingvističko-filološki (1), 1959/1960.— Zadar, 1960. 272 стр.

Rozprawy komisji językowej. III.—

Wrocław, 1961. 178 стр.

Slavia orientalis. X, 3.— Warszawa, 1961. Стр. 293—441.

Zpravodaj. Mistopisné komise ČSAY. II, 4. 1961—Praha. Стр. 201—263 [потапрын].

V. B l a n á r. Zo slovenskej historickej lexikológie.— Bratislava, 1961. 338 стр.

О. D u c h á ě k. Les expressions de la beauté provenant de la sphère du surnaturel.— 1961. Стр. 30—38. [Отд. отт. из «Studia neophilologica». XXXIII, 1].

М. K r a v a r. Futur II u našem glagolskom sistemu.— Zadar, 1960. Стр. 30—50. [Отд. отт. из «Radovi» (Sveučilišta u Zagrebu)]; его же. Naš prijevodni heksametar danas.— Skoplje, 1960. Стр. 277—302. [Отд. отт. из «Živa antika». X, 1—2.]

R. W i n t e r. Einige slawische Entlehnungen in den niederdeutschen Mundarten des ehemaligen Hinterpommern. Стр. 271—277. [Отд. отт. из «Wissenschaftliche Zeitschrift der Universität Rostock». 10 (1961), Gesellschafts- und sprachwissenschaftliche Reihe, 2] (Als Manuskript gedruckt).

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ОРГАН АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР «ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ» НА 1962 ГОД

На страницах журнала освещаются вопросы истории, языка, литературы, философии, искусства и других областей культуры армянского народа, важные теоретические проблемы кавказоведения, общей историографии и филологии, политические, экономические и культурные связи армянского народа с другими народами, научные и культурные достижения Советской Армении.

Помимо основных разделов научно-исследовательских статей и сообщений, журнал имеет постоянные разделы: научных дискуссий и обсуждений, публикаций, рецензий, информации, жизни зарубежных армян и научной хроники.

В журнале печатаются материалы на армянском и русском языках. В нем сотрудничают как советские, так и зарубежные прогрессивные ученые.

Журнал выходит один раз в 3 месяца в объеме 20 печ. листов. Годовая подписная цена — 3 р. 20 к. Цена отдельного номера — 80 коп.

Подписка принимается во всех почтовых конторах и отделениях связи, отделами «Союзпечати». Зарубежные читатели для подписки должны обращаться по адресу: Москва, Г-200, Всесоюзное объединение «Международная книга».

СО Д Е Р Ж А Н И Е

XXII съезд КПСС и задачи изучения закономерностей развития современных национальных языков Советского Союза	3
В. И. Григорьев (Москва) Дифференциальные признаки русских гласных /у, ы, и/	10
<i>ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ</i>	
Е. Курилович (Краков). О некоторых фикциях сравнительного языкознания	31
Вяч. В. Иванов (Москва). Об исследовании древнеармянской фонологической системы в ее отношении к индоевропейской	37
О. А. Норк, Э. М. Мурыгина, Л. П. Блохина (Москва). О дифференциальных признаках фонемы (Ответ Р. Г. Пиотровскому)	42
И. И. Ревзин, В. Ю. Розенцвейг (Москва). К обоснованию лингвистической теории перевода	51
Об общеславянском лингвистическом атласе	61
<i>МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ</i>	
Г. С. Кнабе (Москва). Словарные заимствования и этногенез	65
А. С. Богуславский (Варшава). Образования типа <i>белеться</i> и отыменные глаголы	77
Ф. А. Никитина (Киев). Протетические гласные древнегреческого языка как рефлекс индоевропейских щелевых	81
М. С. Михайлов (Москва). Перифрастические формы турецкого глагола	87
<i>ПРИКЛАДНОЕ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ</i>	
Ю. В. Кнорозов (Ленинград). Машинная дешифровка письма майя	91
Г. Г. Белоногов (Москва). О некоторых статистических закономерностях в русской письменной речи	100
<i>КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ</i>	
Рецензии	
Э. В. Севортян, Н. А. Баскаков, Э. Р. Тенишев и др. (Москва). <i>Philologiae turcicae fundamenta</i>	102
П. С. Кузнецов (Москва). <i>W. K. Matthews. Russian historical grammar</i>	118
Б. В. Горнунг (Москва). <i>VI. Georgiev. La toponyme ancienne de la péninsule balkanique et la thèse méditerranéenne</i>	126
<i>ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ</i>	
С. Г. Бархударов (Москва). Вынужденное объяснение (По поводу рецензии О. Н. Трубачева на «Краткий этимологический словарь русского языка»)	132
Н. М. Шанский, В. Л. В. Иванов, Т. В. Шанская (Москва). По поводу рецензии О. Н. Трубачева на «Краткий этимологический словарь русского языка»	136
<i>НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ</i>	
Общее собрание Отделения литературы и языка АН СССР	147
Р. Фишер (Арнштадт, ГДР). Работы Лейпцигской группы топонимистов	148
Над чем работают ученые	150
Хроникальные заметки	153
Книги, журналы и брошюры, поступившие в редакцию	165

Articles: Le XXII Congrès de PGUS et tâches pour l'étude des lois de développement des langues nationales modernes de l'Union Soviétique; V. I. Grigoriev (Moscou). Traits distinctifs des voyelles russes /y, ы, и/; **Discussions:** J. Kuryłowicz (Cracovie). A propos de quelques fictions de linguistique comparée; V. V. Ivanov (Moscou). Sur la relation du système phonologique vieux arménien au système phonologique indo-européen; O. A. Nork, Z. M. Mourygina, L. P. Blokhina (Moscou). Sur les traits distinctifs de la phonème (réponse à R. G. Piotrovskij); I. I. Revzine, V. Y. Rosenzweig (Moscou). Principes d'une théorie linguistique de traduction; Sur l'atlas linguistique slave; **Matériaux et notices:** G. S. Knabe (Moscou). Les emprunts lexiques et l'ethnogenèse; A. Boguslawskij (Varsovie). Formations du type *белеться* et verbes nominaux; F. A. Nikitina (Kiev). Voyelles prothétiques du grec ancien comme reflexes des fricatifs indo-européens; M. S. Mikhailov (Moscou). Formes périphrastiques du verbe turque; **Linguistique appliquée et mathématique:** Y. V. Knorozov (Leningrad). Le déchiffrement de l'écriture maya au moyen de la machine; G. G. Belonogov (Moscou). Sur quelques lois statistiques du russe écrit; **Critique et bibliographie;** **Lettres à la rédaction:** S. G. Barkhoudarov (Moscou). Une explication forcée (à propos du compte-rendu de O. N. Trubačev du «Bref dictionnaire étymologique de la langue russe»); N. M. Šanskij, Val. V. Ivanov, T. V. Šanskaja (Moscou). À propos de compte-rendu de O. N. Trubačev du «Bref dictionnaire étymologique de la langue russe»; **Vie scientifique:** Réunion générale du Département de linguistique et de littérature de l'Académie des Sciences de l'URSS; R. G. Fischer (Arnstadt, République Démocratique Allemande). Le travail du groupe toponymique de Leipzig; Plans de travail des savants.

C O N T E N T S

Articles: The XXII Congress of the CPSU and tasks for the study of development laws of modern national languages of the Soviet Union; V. I. Grigoriev (Moscow). Distinctive features of the vowel phonemes /y, ы, и/ in Russian; **Discussions:** J. Kuryłowicz (Krakow). Concerning some fictions in comparative linguistics; V. V. Ivanov (Moscow). The relation of the old Armenian phonological system to that of Indo-European; O. A. Nork, Z. M. Mourygina, L. P. Blokhina (Moscow). On the distinctive features of the phoneme (a reply to R. G. Piotrovskij); I. I. Revzin, V. Y. Rosenzweig (Moscow). Principles of the linguistic theory of translation; On the Slavonic linguistic atlas; **Materials and notes:** G. S. Knabe (Moscow). Lexical loans and the ethnogenesis; A. Boguslawskij (Warsaw). Formations of the type *белеться* and the nominal verbs; F. A. Nikitina (Kiev). Prothetical vowels of ancient Greek as reflexes of the Indo-European fricatives; M. S. Mikhailov (Moscow). Periphrastic forms of the Turkish verb; **Applied and mathematical linguistics:** Y. V. Knorozov (Leningrad). The decipherment of the Maya-writing by means of machines; G. G. Belonogov (Moscow). On some statistical laws of written Russian; **Critics and bibliography;** **Letters to the editorial office:** S. G. Barkhoudarov (Moscow). A forced explanation (concerning O. N. Trubačev's review of the «Concise etymological dictionary of the Russian language»); N. M. Šanskij, Val. V. Ivanov, T. V. Šanskaja (Moscow). Concerning O. N. Trubačev's review of the «Concise etymological dictionary of the Russian language»; **Scientific life:** General meeting of the Language and literature department of the Academy of Sciences of the USSR; R. G. Fischer (Arnstadt, German Democratic Republic). The work of the Leipzig group on toponymics; Working-plans of scientists.

Технический редактор Д. А. Фрейман-Крупенский

1. Рукописи должны представляться в двух экземплярах, в совершенно готовом для печати виде, хорошо обработанные литературно и подписанные автором. И текст, и подстрочные примечания обязательно должны быть напечатаны на машинке через два интервала.

После подписи указываются сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, место работы, домашний адрес, телефон.

2. Объем статьи не должен превышать 25 стр., объем рецензии — 15 стр. машинописи. Редакция заинтересована в получении кратких сообщений и заметок по конкретной тематике объемом до 15 стр. машинописи.

3. Все цитаты и ссылки в статье должны быть тщательно выверены по первоисточникам. Каждая цитата должна быть авторизована автором.

4. При ссылках (в тексте и сносках) необходимо придерживаться порядка: автор, название книги или статьи, название издания (для статьи), заключенное в кавычки, место издания, год издания, страницы. (Страницы, определяющие границы статьи в издании, указываются лишь в критико-библиографических обзорах.)

5. Все примеры на иностранных языках должны быть снабжены переводами.

Примеры в журнале принято давать курсивом (подчеркивать в рукописи волнистой чертой), а значение их — в кавычках.

6. Непринятые рукописи, как правило, авторам не возвращаются.

7. Статьи, опубликованные или направленные в редакции других журналов, не принимаются (за исключением раздела «По страницам зарубежных журналов»).

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ РУССКИХ И ИНОСТРАННЫХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ И ПРОДОЛЖАЮЩИХСЯ ИЗДАНИЙ, ПРИНЯТЫХ В ЖУРНАЛЕ «ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ»

ВЯ — «Вопросы языкознания»
 ВИ — «Вопросы истории»
 ВСЯ — «Вопросы славянского языкознания»
 ВФ — «Вопросы философии»
 ВДИ — «Вестник древней истории»
 ИАН ОЛЯ — «Известия АН СССР. Отделение литературы и языка»
 ИАН ОТН — «Известия АН СССР. Отделение технических наук»
 «Р. яз. в шк.» — «Русский язык в школе»
 «Ин. яз. в шк.» — «Иностранные языки в школе»
 ФЗ — «Филологические записки»
 РФВ — «Русский филологический вестник»
 ЖМНП — «Журнал Министерства народного просвещения»
 ЗВО РАО — «Записки Восточного отделения Русского археологического общества»
 ИОРЯС — «Известия Отделения русского языка и словесности Имп. Акад. наук /Росс. АН/ АН СССР»
 СБНУ — «Сборник за народни, умовверения»
 AL — «Acta linguistica»
 AfsIph — «Archiv für slavische Philologie»
 BPTJ — «Biuletyn Polskiego towarzystwa jezykoznauczego»
 BSLP — «Bulletin de la Société de linguistique de Paris»
 BCLC — «Bulletin du Cercle linguistique de Copenhague»
 BzNf — «Beiträge zur Namenforschung»
 IF — «Indogermanische Forschungen»
 IJ — «Indo-Iranian journal»
 IJAL — «International journal of American linguistics»

JASA — «Journal of the Acoustical society of America»
 JEGPh — «Journal of English and Germanic philology»
 JRAS — «Journal of the Royal asiatic society»
 JRSS — «Journal of the Royal statistical society»
 JSF — «Journal de la Société finno-ougrienne»
 KZ — «Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung auf dem Gebiete der indogermanischen Sprachen», -hrsg. von A. Kuhn
 PBB — «Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur», hrsg. von H. Paul und B. Brugmann
 PMLA — «Publications of the modern language association of America»
 REG — «Revue des études grecques»
 RESL — «Revue des études slaves»
 RF — «Romanische Forschungen»
 RLR — «Revue de linguistique romane»
 RO — «Rocznik orientalistyczny»
 SaS — «Slovo a slovesnost»
 TCLC — «Travaux du Cercle linguistique de Copenhague»
 TCLP — «Travaux du Cercle linguistique de Prague»
 ZfceltPh — «Zeitschrift für celtische Philologie»
 ZfPh — «Zeitschrift für Phonetik und Allgemeine Sprachwissenschaft»
 ZIS — «Zeitschrift für Slavistik»
 ZIsIph — «Zeitschrift für slavische Philologie»
 ZfromPh — «Zeitschrift für romanische hilogie»